



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

PG3451

A7P76

1908

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

395.

Кн-во „ПРОМЕТЕЙ“

СПб. Пушкинская, 15.

Амфитеатров, А.

А. АМФИТЕАТРОВЪ.

ПРОТИВЪ ТЕЧЕНІЯ.

БИБЛИОТЕКА

При книжномъ магазинѣ

А. А. Иванова.

въ г. Выборгъ.

С. ПЕТЕРБУРГЪ.

1908.



ОГЛАВЛЕНИЕ.

	Стр.
Вре́мена и нравы	1
Лилить и Свинья	16
Мину́ты	33
Номо Sapiens	56
Протестъ В. П. Санина	67
Карьера литератора Въенпупульскаго.	
1) Дебютъ	80
2) Интервью	96
3) Въенпупульскій въ Кіевѣ	109
Записная книжка	123
Vies imaginaïres	154
Надо уняться	164
Талантъ во тьмѣ	176
Списаніе видѣнія Александрова	204
Не ври!	216
Веселые черепа	230
Другъ-читатель	241



Времена и нравы.

Предо мною лежит номеръ столичной газеты. Четыре страницы. На первой—телеграмма объ изнасилованіи отцомъ дочери въ Варшавѣ. На второй—корреспонденція объ орловскихъ «огаркахъ», обществѣ подростковъ, собиравшихся для свальнаго грѣха. На третьей—восторженная корреспонденція изъ Берлина о пьесѣ Ведекинда, изображающей, какъ мальчикъ 15 лѣтъ сдѣлалъ матерью дѣвочку 13 лѣтъ. На четвертой—замѣтка о пьесѣ Соллогуба, изображающей, какъ отецъ отбилъ жениха у дочери, а сія послѣдняя, въ благодарность родителю, снимаетъ «подъ занавѣсъ» *ветхія одежды словъ* и папашѣ своему отдается: «хочу»!!!.

Живя въ Парижѣ, я очень отсталъ было отъ текущей русской литературы. Итальянская глушь дала досугъ возобновить болѣе или менѣе правильное слѣженіе за перлами и адамантами россійской словесности. Выписалъ кучу книгъ и наслаждаюсь. Предо мною—наиболѣе рекламированные въ послѣднее время и наиусерднѣйше смакуемыя критикою, повѣсти и стихотворенія русскихъ авторовъ, изъ коихъ многіе не такъ, чтобы очень молоды, но уже съ сѣдыми волосами на главахъ и въ брадахъ своихъ. Не пугайтесь, читатель мой: я не критическое обозрѣніе писать собираюсь, равно какъ не этическую полемику начинаю. Я просто долженъ дать здѣсь кусочекъ патологической статистики, свидѣтельствующей о томъ, чѣмъ сейчасъ

набита голова у русскаго обывателя литераторствующаго, и что, по коварному тяготѣнію къ сообщничеству — «съ міромъ не стыдно»! — вбиваетъ онъ въ голову русскаго обывателя читательствующаго.

Получается что-то въ родѣ секретнаго отдѣленія въ паноптикумѣ. Съ тою разницею, однако, что паноптикумы открываютъ свои секретныя отдѣленія лишь для взрослыхъ, притомъ для каждаго пола порознь; въ новой же русской литературѣ не практикуются ни «входъ малолѣтнимъ воспрещается», ни «по пятницамъ — только для дамъ». Вали, кто хочетъ, когда хочетъ, и — чѣмъ больше, тѣмъ лучше!

Итакъ, я начинаю.

№ 1. Гдѣ у человѣка растутъ крылья, или англичанинъ, влюбленный въ банщика, и гимназистъ, влюбленный въ англичанина.

№ 2. Семейное счастье двухъ студентовъ, изъ коихъ одинъ былъ мужъ, а другой — жена.

№ 3. Какъ Леля «жила» съ Олею.

№ 4. Какъ Оля «жила» съ Лелею.

№ 5. О крестьянской дѣвицѣ, которая, почитая себя порченною, сожгла своего ребенка, а въ видѣ эпитиміи сошлась въ сожительство съ безносымъ сифилитикомъ, была многожды изнасилована въ розницу и, наконецъ, подверглась насилію оптомъ, каковой марки не выдержала и сладостно скончалась, по смерти же была выброшена въ болото.

№ 6. О братѣ, возжелѣющемъ къ сестрѣ своей и ревнующемъ ее къ офицеру, но тщетно, ибо офицеръ — Гальтморъ.

№ 7. Какъ нимфы любили сатировъ и пастуховъ, но измѣняли имъ для сатирессъ съ козлиными ногами.

№ 8. Уже упомянутый выше скандалъ въ благородномъ семействѣ: родитель, снимающій съ себя ветхія одежды словъ, чтобы сожительствоваъ съ дочерью, отбивъ ее у жениха.

№ 9. О дамѣ, которая любила сидѣть голою въ жарко натопленной комнатѣ, и о дуракахъ, которые находили это занятіе геніальнымъ.

№ 10. Летающій сперматозоидъ, или юнкеръ, способный побѣдить четырехъ дѣвицъ въ четыре минуты.

Читатель извинить меня, если я, въ данномъ реестрикѣ, ограничусь лишь краткимъ изложеніемъ темъ и сюжетовъ, но не назову ни авторовъ, ни заголовковъ ихъ произведеній. По моему глубокому убѣжденію, это—единственный способъ и порядокъ, въ которыхъ можно и должно обсуждать общественную язву мысленнаго и словеснаго разврата, затянувшего русскую литературу въ сѣти порнографіи патологической и промышленной. Ибо всѣ негодованія, какъ притворныя, такъ и дѣйствительныя, всѣ полемики, возгоравшіяся вокругъ именъ и господъ, промышленляющихъ обращеніемъ литературы въ секретное отдѣленіе паноптикума,—въ концѣ концовъ—не болѣе, какъ рекламы имъ, съ другой стороны: рекламы, умышленно или неумышленно обращаемаыя къ той низменной части публики, для которой похабная книжка и картинка дороже всего. До сей поры вся подобная публика изнывала безъ своей «Ванькиной литературы», не зная, гдѣ ее добывать и какія въ ней являются новости. Лѣтъ сто монопольно владѣли вниманіемъ любителей клубнички Барковъ, юношескія прегрѣшенія Пушкина и Лермонтова, да запретныя русскія сказки, заграничный отбросъ знаменитаго Афанасьевского сборника. Оно, конечно, забористо, но примелькалось уже нѣсколько, да и грубовато: тамъ свинья—такъ она и есть свинья, и даже не чушка. А мы теперь стали люди просвѣщенные, и, слѣдовательно, подавай намъ свинью не свиньєю, но свинкою, чушкою, чушечкою, бѣлымъ поросеночкомъ съ голубою ленточкою на шеѣ и золотымъ бубенчикомъ на хвостикѣ. И вотъ—для спеціального обрѣтенія благопотребныхъ порнографической публикѣ просятъ типа «*si jeunes et si bien decorés!*»—завелась въ

периодической печати особая замѣточная критика, каталогъ и указатель поросячьихъ мѣстонахожденій и залежей. Не думайте, чтобы она хвалила ихъ; какъ общественное явленіе,—Боже сохрани! нѣтъ! Да въ этомъ и надобности не имѣется, такъ какъ для обслуживанія идейными похвалами и восторгами декорированное поросячество завело собственные журналы и газеты, весьма къ дѣлу своему ревностные и страстные. Напротивъ, сказанная критика даже поругиваетъ иногда поросячество: что это молъ за безобразіе, право? —ступить стало некуда, все поросята подъ ногами вертятся,—столько въ литературѣ свинства развелось!.. Но, поругивая, никогда не забываетъ выразительно прищуриться однимъ глазкомъ, прищелкнуть языкомъ и заключить:

— Но, по правдѣ молвить, ужъ и поросята! Можно чести приписать! Нигдѣ не найдете подобныхъ! Насквозь саломъ проросли, подлецы... даже смотрѣть противно! Конечно, гадость. Однако, ежели этакого поросенка—на любителя,—пальчики оближетъ. А продается эта гадость такимъ-то и такимъ-то, подъ фирмою такою-то и такою-то.

Что господину такому-то и такому-то, торгующему поросячествомъ подъ фирмою такою-то и такою-то, и требовалось публиковать. На завтра онъ окруженъ Геростратовою славою, и любители поросячества, расхватывъ «литературные» труды его въ книжныхъ лавкахъ, съ любопытствомъ освѣдомляются у продавцовъ:

— А что? Господинъ Пятачковъ не сочиняютъ-ли еще что-нибудь въ семъ-же родѣ? Если какая ихняя книжка выйдетъ, вы, ужъ будьте добры, ее намъ — первымъ деломъ... непременно!

Замѣточная критика заботливо идетъ навстрѣчу и этимъ запасливымъ интересамъ потребителя. Развивая Геростратову славу своихъ кліентовъ, она заранѣе увѣдомляетъ рынокъ, какое новое поросячество печатается, пишется,

даже замышляется, гдѣ, когда, при чемъ содѣйствіи, подъ чьимъ покровительствомъ. Оглашаются біографическія мелочи о мастерахъ пороссячыхъ дѣлъ, ихъ адреса, ихъ интимности. Словомъ, кимвалы и тимпаны, указательные персты и электричествомъ вспыхивающія, буква за буквою, вывѣски—все пущено въ ходъ для того, чтобы поросячій читатель не сбился съ дороги, но прямо и торжественно прослѣдовалъ къ фирмѣ:

— «И вотъ заведеніе!»

* * *

Лѣтъ двѣнадцать тому назадъ плылъ я изъ Константинополя въ Одессу—городъ, мнѣ незнакомый. Случилось, что одесситовъ на пароходѣ было очень мало. Наконецъ, разговорился я съ какимъ-то жизнерадостнымъ субъектомъ, выдававшимъ себя за пшеничнаго экспортера. И не сказали мы другъ другу двухъ словъ, какъ принялся онъ мнѣ Одессу ругать:

— Гнусный нашъ городъ... безнравственный нашъ городъ!.. У мальчишекъ-гимназистовъ съ тринадцати лѣтъ любовницы объявляются... такъ о взрослыхъ что же говорить! Помилуйте! Ну, гдѣ еще въ Россіи вы найдете такой домъ свиданій, какъ подлѣйшую нашу m-me Гольденбергъ?

Онъ назвалъ фамилію знаменитой въ своемъ родѣ одесской посредницы по амурнымъ дѣламъ и быстро рассказъ нѣсколько анекдотовъ объ ея пикантной дѣятельности. Надѣюсь, что не согрѣшаю, и никого не введу въ соблазнъ, называя здѣсь эту фамилію en toutes lettres, такъ какъ, по рассказамъ моихъ знакомыхъ одесситовъ, «фирма» уже прекратила свое существованіе, и хозяйка ея умерла.

— Однако, говорятъ, у васъ въ Одессѣ очень развита общественная жизнь?

— Сказки! Никто ничего не дѣлаетъ. Толкутся на



395.

Кн-во „ПРОМЕТЕЙ“

СПб. Пушкинская, 15.

Амфитеатров, А.

А. АМФИТЕАТРОВЪ.

ПРОТИВЪ ТЕЧЕНІЯ.

БИБЛИОТЕКА

При книжномъ магазинѣ

А. А. Иванова.

въ г. Выборгъ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

1908.

эти плотскіе капризы и вопли слишкомъ наглядно свидѣ-
тельствуютъ о трусливомъ переутомленіи обывателя энту-
зіазмомъ недавнихъ освободительныхъ усилій, о бѣгствѣ
изъ-подъ знамени, о дезертиствѣ съ поля обществен-
ной брани подъ мирной кровъ дома... да, ужъ добро
бы, хоть своего, а то—мы видѣли: едва ли не публич-
наго! Факты налицо, но—кому же лестно сознавать
себя ничтожествомъ, которое—въ то время, какъ «станъ
погибающихъ за великое дѣло любви» истребляется вра-
жескими мечами,—мало, что прячется за бабью юбку,
но еще художнически любуется ея узорами и вос-
хищается струящимися отъ нея ароматами? И вотъ—
является стремленіе подмѣнить обличительныя «низкія
истины» утѣшеніями и подлогами «насъ возвышающаго
обмана». Созидаются хитрыя и заковыристыя тео-
ріи, чтобы оправдать дезертирства и выдать ихъ за
трансформацию служенія свободѣ. Выкрики эгоисти-
ческихъ капризовъ и себялюбивой блажи выдаются за
борьбу и побѣду индивидуалистическихъ началъ. И, па-
родировавъ Магомета, который зеленое знамя Священной
войны сдѣлалъ изъ юбки жены своей Айши, дезертиры
пытаются увѣрять публику, будто узорчатая юбка, за
которыми они спрятались и красоты которыхъ воспѣвають
вычурными фіоритурами любово-страстныхъ темъ, спиты
изъ той же матеріи, что красныя и черныя знамена, а,
слѣдовательно, и приходятся знаменамъ этимъ ближай-
шею роднею. Какое кощунство! Какая недостойная, по-
шлая, вредная ложь!

Это лицемѣріе, эта масочность, старающаяся возвести
скверну въ подвигъ и кощунственно пришивающая къ фри-
гійскому колпаку кокарду съ фаллическимъ значкомъ,—
самая опасная и скверная сторона порнографіи, выдающей
себя за русскую беллетристику «стиля модернъ». Есть — вѣрнѣе сказать: было — стихотвореніе Валерія
Брюсова.

Золотистыя феи
Въ атласномъ саду!
Когда я найду
Ледяныя аллеи?
Влюбленныхъ наядъ
Серебристые всплѣски,
Гдѣ ревнивыя доски
Вамъ путь заградятъ.
Непонятныя вазы
Огнемъ озаря,
Застыла заря
Надъ полетомъ фантазій.

Комментируя сіе загадочное произведеніе, Владимиръ Соловьевъ писалъ когда-то съ тою спокойною насмѣшливостью, что была такъ характерна для него и сверкала подъ перомъ его, какъ убійственное орудіе разрушенія.

— Сюжетъ этихъ стиховъ столько же ясенъ сколько и предосудителенъ. Увлекаемый «полетомъ фантазій» авторъ засматривался въ досчатыя купальни, гдѣ купались лица женскаго пола, которыхъ онъ называетъ «феями» и «наядями». Но можно ли пышными словами загладить поступки гнусныя? И вотъ къ чему въ заключеніе приводитъ символизмъ! Будемъ надѣяться по крайней мѣрѣ, что и ревнивыя доски оказались на высотѣ своего призванія. Въ противномъ случаѣ, «золотистымъ феямъ» оставалось бы только окатить нескромнаго символиста изъ тѣхъ «непонятныхъ вазъ», которыя въ просторѣчій называются шайками и употребляются въ купальняхъ для омовенія ногъ.

Изъ попытокъ украшать словами пышными поступки гнусныя слагаются въ настоящее время всѣ эти «Лики Творчества», спасающіе вселенную «освобожденіемъ плоти». Въ одномъ изъ очерковъ Щедрина является на сцену дѣйствительная статская совѣтница, которая подымлетъ благосостояніе цѣлой волости чрезъ то, что носить на

пояснилъ брилліантовое солнце. Это смѣшно. Но, когда васъ хотятъ серьезно увѣрить, что кровосмѣситель развратомъ своимъ служить прогрессу человѣчества, освобождая плоть отъ ветхой одежды словъ, это уже даже не смѣшно, а просто гадко. Предъ вами невольно встаетъ другой щедринскій персонажъ: поросенокъ, который всячески старался увѣрить публику, что онъ не поросенокъ, а только прыскается пороссячими духами.

Нельзя пѣть марсельезу на мотивъ камаринской безъ пропусковъ. Нельзя «одною рукою крестное знаменіе творить, а другою неистовствовать». И, сколько бы ни лилось пышныхъ словъ къ украшенію гнусныхъ поступковъ, никакимъ «ликамп творчества» не удастся установить родства между публичнымъ домомъ и баррикадою и рабовъ низменной похоти костюмировать сотрудниками освободительной борьбы. Это—не передовые люди, но—реакція, и реакція скверная, опаснѣе иной политической. Исторія не знаетъ народовъ, которые находили свободу свою чрезъ педерастію и лезбійскія игры, но знаетъ безчисленное множество эпохъ, когда деспотическая или тиранническая власть говорила народамъ своимъ:

— Развратничайте и пьянствуйте, какъ хотите,—только чуръ, не мѣшаться въ мою политику!

Я беру эту формулу готовую изъ автобіографіи А. М. Скабичевского, печатающейся въ «Русскомъ Богатствѣ». Именно такимъ назиданіемъ привѣтствовали нѣкогда кіевское студенчество генераль-губернаторъ Бибииковъ. Теперь не столь откровенны, но—къ чему тратить слова? Они—серебро, а краснорѣчивое молчаніе—золото. Публика настолько развилась и преуспѣла, что и безъ многоглаголанія понимаетъ, гдѣ уготованные для нея раки зимуютъ. И, подобно тому, какъ раки ѣдятся и просто вареными, но деликатнѣе ѣсть ихъ подъ соусомъ бордолезъ, такъ и современное распутство рус-

ской жизни и соответствующая ей порнографія находят себѣ соусы «освобожденія плоти», «неисчерпанныхъ возможностей» и прочихъ фразистыхъ оправданій, одѣвающихъ дѣло реакціи въ маски, будто бы, прогресса. И въ оправданіяхъ этихъ—водораздѣлъ похабства: точка, гдѣ цинизмъ доходитъ до граціи. А—махнулъ шибко, перемахнулъ черезъ грацію,—и опять будетъ—«моветонъ» и цинизмъ. По сю сторону будто бы литература: бѣленькое поросячество въ лентахъ и бубенцахъ. По ту сторону—порнографія: откровенная свинья наголо, лубочный рынокъ безграмотнаго сквернословія, громко и безстыже хрюкающій уже безъ всякихъ прикрасъ и обиняковъ:

— Къ намъ пожалуйте. Добросовѣстнѣе нашего свинства найти нигдѣ невозможно. Непристойность всѣхъ сортовъ и на всѣ вкусы! Признано отвратительнымъ во всѣхъ столицахъ Европы! Невозможно читать, не краснѣя! Последнее слово порнографіи! Рекордъ всемірнаго безстыдства!

Собственно говоря, при всей гнусности этого второго рынка, обратившаго книгу въ печатную проститутку, за нимъ, сравнительно съ первымъ, имѣются хоть тѣ два преимущества, что 1) циническій торгъ его — гласный, и 2) пробавляется онъ переводнымъ старьемъ. Сразу видать, съ какою птицею имѣешь дѣло, и не ждешь отъ нея ничего добраго. Это—«убогая» порнографія. «Нарядная», выдающая себя за литературу, гораздо опаснѣе. Она скрываетъ свою истинную профессію, оригинальничаетъ каждый день новыми туалетами,—ядовитая, зараженная и заразная—дама-шикъ въ постоянномъ господскомъ спросѣ.

* * *

Мнѣ, какъ автору «Викторіи Павловны» и «Марьи Лусьевой», никто не сдѣлаетъ упрека въ предвзятой ригидити, а, какъ авторъ «Восьмидесятниковъ», я, надѣюсь.

свободенъ отъ подозрѣній въ наклонности превозвышать прошлое и пѣть хвалы нашему поколѣнiю, въ ущербъ современности. Мы развивались въ жалкое, рабское время о которомъ хотѣлось бы забыть. Мы были заражены микробами и мiазмами наслѣдственного и воспитательнаго рабства въ такой степени, что вспоминать жутко, и во многомъ самихъ себя слѣдовало бы и стараться изгладить изъ памяти. Было поколѣнiе чувственное, эгоистическое, лишенное политическаго аппетита и энтузіазма, равнодушное и бездарное социальное. Но оно не успѣло еще изжить матеріалистическаго наслѣдія шестидесятихъ годовъ, а потому не умѣло изыскивать, съ подмогами мистики, ни союзовъ бордолезъ для порнографическихъ раковъ, ни голубыхъ ленточекъ и золотыхъ бубенчиковъ — для поросятъ, притворяющихся, будто они не поросята, но только прыскаются поросячьими духами. Время и поколѣнiе были безжалостныя, грубыя, циничныя, но еще стояли крѣпкими ногами на твердой землѣ и говорили о земномъ по земному. И кошку называли кошкою, литературу — литературою, а похабщину — похабщиною. И — когда вспомнишь, что къ области послѣдней покойный Н. К. Михайловскій не колебался отнести такіа, по нынѣшнимъ временамъ, невинныя и, по крайней мѣрѣ, ужъ несомнѣнно превосходно написанныя вещи, какъ «Содомъ» и «Аристократію Гостинаго двора», покойнаго Лебедева-Морского, или «Краденое счастье» Василія Ив. Немировича-Данченко! Что же сказалъ бы онъ о цитированныхъ выше десяти номерахъ паноптикума? Ужъ именно, что — «отойди, раба, отъ зла: плюнь и свистни»!..

Воспитанный въ матеріалистическомъ міровоззрѣніи, позитивистъ до мозга костей своихъ, я не только признаю но и проповѣдую широчайшую свободу и власть художественныхъ захватовъ въ реалистическомъ искусствѣ. Нѣтъ рискованныхъ темъ, нѣтъ рискованныхъ сюжетовъ. И, въ совокупности міра, половая сфера — такое же законное

достояніе искусства, какъ и всякая другая, со всѣми ея радостными красотами и со всѣми мрачными пороками. Вѣкъ, имѣвшій Бальзака, Флобера, Гонкуровъ, Зола, Мопассана, Достоевскаго, не можетъ быть груде, и нельзя сконфузить его никакимъ половымъ ужасомъ. Если надо,—все достойно художественнаго изображенія: всѣ излюбленныя темы современной беллетристики—до лезбійскихъ игръ и взаимно-отроческихъ забавъ, до «посестрія» и «отцовщины» включительно. Да въ старой русской беллетристикѣ, эпохи «Отечественныхъ Записокъ», даже и былъ такой романъ—«Посестріе», принадлежащій перу П. Д. Боборыкина, автора далеко не изъ стыдливыхъ, почитавшагося въ свое время русскимъ намѣстникомъ его натуралистическаго величества Эмиля І. Зола и десятки разъ угрызаемаго критикою за дерзость «человѣческихъ документовъ». И, однако, «Посестріе» Боборыкина не только не почтено было порнографическимъ, но даже и сомнѣній на этотъ счетъ не возбуждало, вопреки всей—казалось бы—рискованности сюжета. Да! Но въ томъ-то и дѣло, что—«если надо», въ томъ-то и дѣло, что—какъ и зачѣмъ! Въ «Подлиповцахъ» Рѣшетникова любовь Пилы къ дочери своей Апроськѣ написана съ грубою силою, которая и не снилась нашимъ Соллогубамъ. Но — кто же осмѣлится сказать, что Рѣшетниковъ ввелъ эту не необходимую подробность въ черную темъ «Подлиповцевъ» напрасно, по сладострастному капризу, либо съ злымъ умысломъ доставить любителямъ поросячества порнографическую приманку? И кто, безпристрастный, не скажетъ именно этихъ словъ о блудномъ бредѣ Соллогуба? Порнографія начинается не тамъ, гдѣ изображается грязь человѣческой жизни, но тамъ, гдѣ она возвеличивается, смакуется, возводится въ идеалъ, рекомендуется подъ соусами «неисчерпанныхъ возможностей», какъ смыслъ и сокъ жизни.

Самодовлѣющаго творчества нѣтъ, всякое творчество

пѣлесообразно и нужно постольку, поскольку оно правдиво. Не надо дидактики ни по ту, ни по сю сторону добра и зла, ибо сознательная дидактика — или педантизмъ программной добродѣтели, или — школа академическаго порока, что одинаково противно и мертво. Истинная, внутренняя дидактика литературнаго произведенія, ради которой оно создается, заключена въ строгой правдѣ изображенія, превращающей слово въ зримость и осязаемость. Дидактическія разсужденія Льва Толстого или Максима Горькаго всегда очень скучны и плохи, но Пьеръ Безуховъ, Анна Каренина, Баронъ, Актеръ, Настя — геніально дидактичны. Антонъ Чеховъ, за всю свою карьеру литературную, не сказалъ ни одного умышленно дидактическаго слова, но полное собраніе его сочиненій — самое совершенное дидактическое резюме эпохи, которую онъ отразилъ и похоронилъ.

Если тяжела и тошнотворна художественная дидактика положительныхъ идеаловъ, опирающихся на историческія заслуги преходящихъ культуръ, то дидактика новыхъ отрицаній, съ навязчивостями своихъ оргіазмовъ Діонисова начала, освобожденія плоти, неисчерпанныхъ возможностей и тому подобныхъ псевдонимовъ озлобленія тѣлеснаго, — еще противнѣе въ однообразномъ круженіи соблазновъ своихъ, потому что правды послѣднихъ, въ концѣ-концовъ, скудны и ограничены. Въ древности Геліогабалъ, въ эпоху Возрожденія — Борджіа, говорятъ, платили бѣшенныя деньги изобрѣтателямъ новыхъ формъ и способовъ физической любви. Наши «многообѣщающіе» и «подаватели надеждъ» стараются на свой собственный рискъ, перевертывая «любви пріятный пантоминъ» уже не среди прекраснѣйшихъ долинъ, какъ рекомендовалъ когда-то у Писемскаго Іона Циникъ, но чортъ знаетъ, гдѣ, какъ, когда и въ какомъ сообществѣ. Мы не дождались свободы печати, но печать дождалась свободы сатириазиса. И — на что ужъ, казалось бы, богата сладостраст-

ными картинами греческая мифология, — нѣтъ: русскимъ литературнымъ фавнамъ и кентаврамъ надо было пере-щеголять даже и эту не весьма щекотливую музу! Одинъ пишетъ романъ дѣвственной Діаны съ бѣлымъ козломъ, другой — лезбійскія похождения нимфъ и сати-рессъ. Я готовъ предложить премію тому, кто отыщетъ мнѣ въ античной литературѣ темы этихъ мифологи-ческихъ клеветъ. Грековъ перегречили! Знай нашихъ! Это уже — по эллинскимъ канвамъ пошло вышивать рус-ское распутство. И — канвы мѣняются, но блудъ вообра-женія неистощимъ. Какая-то сплошная и непрерывная оргія, — съ позволенія вашего сказать, — литературнаго онанизма! И, поверхъ, слова пышныя, украшающія по-ступки гнусныя. Бѣлые поросята красуются голубыми лен-точками, звенятъ золотыми бубенчиками и, — притворяясь четвероногими ангелами, лишь въ поросячьихъ духахъ, — даже негодуютъ жестоко, когда кто-либо, не стерпѣвъ аро-мата ихъ, безцеремонно аттестуетъ сей послѣдній, какъ слѣдуетъ, порнографическимъ. И у нихъ есть защитники. И у нихъ есть свой «другъ-читатель». Впрочемъ, кажется мнѣ, не столько «другъ», сколько, что называется, «амико-шонъ»...

Лилитъ и Свинья.

Есть нѣсколько вѣрныхъ средствъ обратиться изъ человѣка въ двуногую свинью, но одно изъ самыхъ дѣйствительныхъ — это — посвятить жизнь свою инстинкту самосохраненія ¹⁾. И, чѣмъ раньше овладѣетъ человѣкомъ, торжествующій во всеядствѣ, инстинктъ этотъ, тѣмъ успѣшнѣе и великолѣпнѣе вырабатывается изъ него со-временемъ надежная свинья, броненосная подъ пластами сала, не токмо хрюканьемъ, но уже однимъ видомъ своимъ вызывающая радостныя привѣтствія аматеровъ:

— Однако, и ветчина!

Когда политическія и общественныя боренія утомляютъ такъ называемаго передового человѣка зрѣлыхъ лѣтъ до готовности впредь плюнуть на все и беречь свое здорье, онъ «идетъ направо», сколько совѣсть не за-зрить. То есть—поскольку онъ въ состояніи обмануть себя, будто не мѣсто красить человѣка, а человѣкъ мѣсто, и — нельзя же, господа, все съ краю, да съ краю! Съ краю молъ строятся только избы, въ которыхъ ничего не знаеть, а надо когда-нибудь двинуться и въ серединку. Скала этихъ середочныхъ компромиссовъ очень велика, ибо въ нихъ—если коготокъ увязъ, то и всей птичкѣ пропасть, и разныя птички увязаютъ въ разной степени, глядя по желанію, совѣсти и сознательности. Г. Милуковъ,

¹⁾ Салтыковъ.

который лично совѣсть не желаетъ вязнуть и весьма совѣстливо барахтается, но подчиняется общему роковому процессу кадетскаго увязанія, погрузъ въ трясину всего по пяточку. Г. Стаховичъ, въ добродушно-маниловскомъ невѣдѣніи добра и зла, увязъ по колѣнцу. Г. Струве, какъ будущій министръ внутреннихъ дѣлъ на лунѣ, застрѣлъ по пупикъ. А вонъ г. Гурляндъ,—когда-то Арсеній Г., чаявшій русскимъ Лассалемъ быти, а нынѣ оберъ-доброволецъ печатной жандармеріи,—такъ хорошо и глубоко опустился, что надъ нимъ уже даже и пузырей не проступаетъ. Сплошная черная трясина, и изъ трясины, какъ оракулъ подземный, хрюкающій гласъ:

— Насъ было трое: Гурьевъ, я

И еще одинъ околоточный надзиратель!

Ниже или выше гг. Гурлянда, Гурьева и К-о лежитъ ликующее ветчинное царство?—сей геологическій вопросъ остается спорнымъ. Люди сострадательные, желающіе жить и мыслить по наставленію Давидову, что «блаженъ мужъ, иже и скоты милуетъ», думаютъ, будто остались еще степени совершенства въ позорѣ, которыхъ эти господа не достигли. Люди, не столько сострадательные, сколько справедливые, полагаютъ напротивъ, что гг. Гурляндъ и Гурьевъ уже всякое совершенство лбами своими протаранили и насквозь, какъ вьюны, проскочили. Такъ что дальше идти имъ некуда, покуда посты Өомы Сейна и М. О. Меньшикова находятся въ сихъ рукахъ, прочныхъ и надежныхъ, а новыхъ равносильныхъ постовъ съ соотвѣтствующими штатами еще не учреждено.

Когда инстинктъ политическаго и общественнаго самосохраненія заговариваетъ въ человѣкѣ не конченномъ, но молодомъ, едва вступающемъ въ жизнь, то совѣсть, по свѣжести и наивности своей, протестуетъ противъ дезертирства изъ-подъ гражданскаго знамени, оппозируя вкрадчивой кандидатурѣ на будущую свинью весьма энергично и краснорѣчиво. Настолько, что, въ собствен-

номъ своемъ видѣ, означенной кандидатурѣ удастся завоевать и покорить себѣ молодыя души лишь въ томъ блистательно-омерзительномъ и привилегированно-подломѣ обществѣ, которое теперь, съ легкой руки С. Я. Елпатовскаго, слыветъ между россіянами подъ выразительною кличкою—«люди нашего круга». Къ другимъ слоямъ юношества свиному идеалу удастся подбираться не иначе, какъ весьма окольными тропами, по длиннымъ гатамъ и хрупкимъ мостикамъ. Но надо признать грустный фактъ, что, въ кружномъ, долгомъ путешествіи своемъ, свиной идеалъ очень часто успѣваетъ настолько умыться, почиститься, принарядиться, позаимствоваться благопристойными псевдонимами, что, при встрѣчѣ съ молодою душою, самъ оказывается душка душкою,—и нужна не малая проницательность, чтобы сразу разглядѣть въ семъ ангелѣ свѣта маскированного аггела тьмы.

Есть пословица, что, куда чортъ самъ не поспѣетъ, туда онъ свою бабу пошлетъ. У чорта въ Россіи теперь такъ много дѣла, что лично ему совершенно некогда возиться съ молодежью. Да онъ же встрѣчи съ Карломъ Марксомъ пуще, чѣмъ ладона, боится, ибо Марксъ его безжалостно отрицаетъ и расточаетъ. Поэтому съ тою,—жалкою и не думаю, чтобы значительною,—частью русской молодежи, въ которой чортъ чувствуетъ тайную тенденцію удрать въ благополучный свинарникъ и промѣнять всѣхъ Марксовъ и Энгельсовъ на любезно вѣрное, самоохранительное житіе, поощряемое улыбкою жандарма и обезпечиваемое поклономъ частнаго пристава,—чортъ предоставляет видаться именно своей бабѣ. Самой могучей и старой изъ бабъ,—той предвѣчной Лилитъ, которую Талмудъ почитаетъ первою женою Адама, которою любовался Фаустъ на шабашѣ Вальпургіевой ночи и въ которой рядъ древнихъ религій и обществъ воплощаль половой вопросъ. Кружа вокругъ душъ молодежи, Лилитъ встрѣтилась съ маскированной свиньей, *les beaux esprits*

сразу поняли другъ друга и заключили союзъ оборонительный и наступательный. Верхомъ на свинѣ Лилить въѣхала въ русское общество. И такая она, Лилить, вкусная, да сдобная, что, глазѣя на тѣлеса ея, общество и совсѣмъ вниманія не обратило, какъ, вмѣстѣ съ Лилить, приняло въ нѣдра свои, ее привезшую, свинью.

Въ Германіи, въ лечебницѣ для душевнобольныхъ, скончался необыкновенно талантливый человѣкъ, бывшій философомъ, то есть профессиональнымъ мыслителемъ, до тѣхъ поръ, пока размягченіе мозга не сдѣлало его идіотомъ. Человѣкъ этотъ написалъ много сочиненій, полныхъ огнемъ генія, вперемежку съ безуміемъ. Они имѣютъ одинъ недостатокъ: такъ какъ никому не извѣстно въ точности, когда именно великій философъ началъ сходить съ ума, то очень трудно разбираться: гдѣ, въ его парадоксахъ, говоритъ его истинная личность, вооруженная логикою здраваго смысла, и гдѣ дурачить публику лукавая, злая, софистически ловкая и привычно изворотливая *folie raisonnante*. Никто и никогда еще не проповѣдывалъ человѣчеству гедоническаго эгоизма съ болѣею красотою, возвышенностью, убѣжденною силою. Философъ сдѣлалъ манію величія религіей своего поколѣнія. Онъ объявилъ культъ сверхчеловѣка: *eritis sicut Deus scientes bonum et malum*. Извѣстно, однако, что дѣбютъ Адама и Евы въ направленіи къ соблазну возвыситься на степень божества чрезъ познаніе добра и зла—былъ не весьма успѣшенъ. Философъ воспользовался историческимъ предостереженіемъ и, проводя человѣка въ боги, преловко шмыгнулъ, вмѣстѣ со своимъ протеже, мимо роковой яблони и очутился въ нейтральномъ хаосѣ—прямо по ту сторону добра и зла.

Логика и этика могучаго Заратустры достигла ушей русскаго общества въ переводахъ «на языкъ родныхъ осинъ»: обрубленными, выпустошенными и, по несовершенству русскаго философскаго языка, почти

затерявшими тѣ увертливя грани между геніемъ и безуміемъ, которыя хранить въ своихъ глубинахъ нѣмецкій текстъ. Если бы Нитцше воскресъ и видѣлъ, что сдѣлали и еще дѣлають съ нимъ русскіе переводчики «по словарю Павловскаго», онъ во второй разъ сошелъ бы съ ума отъ усилій понять себя самого въ неожиданностяхъ, навязываемыхъ ему, положеній. Изъ всего Нитцше русское общество усвоило и запомнило какъ разъ то, чего у него нѣтъ. Изъ красоты гедоническаго эгоизма, мощнаго самопроѣркою нравственныхъ силъ, создалась упоительная амальгама самозабвеннаго свинства. Повторилось то, что въ античномъ мірѣ было съ Эпикуромъ: самый чистый и возвышенный изъ мыслителей и моралистовъ древности, по милости аѳинскихъ и римскихъ Кифъ Мокіевичей, превратился въ учителя распутства и грязи; христіанскіе отцы церкви, безъ церемоніи, титуловали его «свинья Эпикуръ», а старозавѣтные евреи и до сихъ поръ ругають виверовъ своихъ «апикорейсами». Такъ вотъ и изъ Нитцше, ни въ чемъ томъ неповиннаго, на русской почвѣ совсѣмъ неожиданно выросла какая-то разбойничья жестокость, вторглось въ обиходъ кулачное право, процвѣла карамазовская вседозволенность, воцарилось безпардонное яканье и получилъ благословеніе нововременскій «жеманфизмъ». Вообще, бытіе по ту сторону добра и зла истолковалось въ такомъ спеціальномъ преображеніи, что получалось даже мистическое что-то. Въ родѣ Воз, котораго по-англійски надо читать Диккенсъ: написано Нитцше, а выходитъ Сигма. Такъ говорилъ Заратустра, а контр-ассигнировалъ, будто, Гурляндъ. Нитцше настоящаго Россія и посейчасъ почти что въ глаза не видала. Но Нитцше апплике, избобрѣтенный,—надо думать, ибо похоже на то,—Ванькою Каиномъ отъ бессонницы на ночлегъ въ волчьей берлогѣ, — Нитцше, «перепертый на языкъ родныхъ осинъ»,—въ такой модѣ на Руси, что, я увѣренъ, даже

гг. Гурко, Лидваль, Фредериксъ и м-ше Эстеръ, когда играли въ винтъ на крупу продовольственную, то переговаривались между собою:

— Семь безъ козырей!.. Такъ говорилъ Заратустра!

Нашъ доморощенный, поддѣльный, обезсмысленный, аляповатый лже-нитцпеанизмъ упалъ на благодарную почву глубокаго общественнаго разочарованія во Львѣ Толстомъ, подъ чью сѣнь ранѣе прятались тѣ интеллигентные дезертиры, которымъ не по характеру оказался социализмъ уже въ теоретическомъ, первомъ, марксистскомъ его пришествіи, — а, слѣдовательно, предчувствовали они, что окажутся совѣсть плохи и жидки на расправу, когда социализмъ перейдетъ въ агитацію дѣйствіемъ. Слишкомъ десять лѣтъ Толстой держалъ зыбкую русскую интеллигенцію — обаяніемъ своего колоссальнаго художественнаго таланта и обоснованнаго на немъ авторитета — въ гипнозѣ очень жиденькой по существу, пассивной и перепѣвной, нео-христіанской теоріи опрощенія, непротивленія, воздержанія, неимѣнія и всякаго прочаго Новаго Іерусалима, воплощеннаго въ пресловутомъ юридикомъ Иванъ-дураковомъ царствѣ. Однако, толстовское очарованіе не могло долго умиротворять совѣсть, хотя робкую, но встревоженную ¹⁾). Укоряющее сосѣдство самоотверженной социальной дѣятельности, работающей простыми и прямолинейными средствами на естественной почвѣ, скоро старить искусственные суррогаты, которыми молодежь, остающаяся внѣ ея, пробуетъ, обманывая и утѣшая себя, ее подмѣнить. Толстовщина выдохлась, надѣла, опошлилась. Изъ благочестиво-сектантской маски ея насмѣшливо высунулись длинный носъ и красный языкъ расчетливаго мѣщанскаго эгоизма, который, уставъ грѣшить, прилаживается на старости лѣтъ — и душу спасти,

¹⁾ См. мои статьи о Толстомъ въ моемъ сборникѣ «Современники» (въ Москвѣ, изд. Д. П. Ефимова).

и тѣло благоустроить, и невинность сохранить, и капиталъ приобрести. Потребовались, значить, новые суррогаты, поядренѣ. Лженицшеанизмъ упалъ къ недавнимъ толстовцамъ, какъ разговорънѣ невзначай и не въ урокъ святцамъ, посреди великаго поста. То—ничего не было позволено, а то, вдругъ,—стало все позволено. То—воздержаніе отъ вина и елея, некурение, непрелюбысотвореніе, а то—гуляй, душа, безъ кунтуша! Вчера—непротивленіе, а сегодня—падающаго толкни! Недѣлю назадъ—Христось да Евангеліе, да притча, да «не убій!» и пр., и пр. А тутъ вдругъ—начало Діониса, начало Аполлона, сверхчеловѣчество, будьте красивы, какъ боги, Астарта, Антихристъ и т. д., и т. д. Мода переставила идеи, какъ *objets d'art* въ витринѣ магазина. Извѣстно, что, при разговоръняхъ, никто не объѣдается и не опивается такъ жестоко, какъ перепостившіе люди. Зналъ я въ Москвѣ купчиху, у которой мужъ любилъ кутнуть. Пріѣзжаю къ ней какъ-то разъ: сидитъ баба одна—и плачетъ.

— Что съ вами?

Всхлипываетъ:

— Ферапонтъ Ильичъ далъ зарокъ не пить.

— Такъ что же?

— Да вы подумайте, какое же изъ этого пьянство выйдетъ!

Въ Портъ-Саидѣ, этомъ Содомѣ и Гоморрѣ международнаго мореплаванія,—два типа проститутокъ: для моряковъ, идущихъ изъ Средиземнаго моря въ океанъ, и для моряковъ, возвращающихся изъ океана въ Средиземное море. Первыя—хотя сколько-нибудь на женщинъ похожи, болѣе или менѣе молоды, недурны собою, разговорчивы, принаряжены: ихъ покупатель еще недавно разстался съ европейскими женщинами и требуетъ для чувственности хоть какихъ-нибудь эстетическихъ иллюзій. Вторыя—отребье разврата, выброшенное изъ всѣхъ вертеповъ Европы и Египта, за даль-

нѣйшею неработоспособностью: ихъ портъ-саидскій покупатель пробылъ на пароходѣ, въ палящемъ климатѣ Индійскаго океана и Краснаго моря, — самое меньшее — мѣсяць и беретъ первую предлагаемую, безъ всякаго эстетическаго разбора.

Думаю, что всѣ озлобленія тѣлесныя, вызываемыя постомъ, должны быть особо свирѣпы, когда постящійся вдругъ догадается, что постился напрасно, и его обязанностью поста поднадули. Въ сибирскомъ городкѣ, гдѣ пришлось мнѣ жить одно время, врачъ побился объ закладъ, что заставитъ одного интеллигента, человѣка очень подвижнаго, высидѣть цѣлый мѣсяць дома — подъ предлогомъ, будто у него начинается *angina*. Врачъ пари выигралъ, но обманутый пациентъ его такъ разсвирѣпѣлъ на мистификацію, что, выходя, «на зло» бросилъ всякую осторожность, сталъ, какъ говорится, бравировать и, въ ту же зиму, схватилъ уже самый настоящій дифтеритъ, отъ котораго и померъ. Мистификація толстовщины, понапрасну постившая русское общество, — когда миражъ ея кончился, и обнаружилась ея полнѣйшая прикладная безрезультатность и несостоятельность, — разрѣшилась тройною нравственною реакціей изъ крайности въ крайность: разговѣньемъ купца, прорвавшагося въ зарокѣ не пить, океанскаго моряка, добравшагося въ Портъ-Саидъ, и интеллигента, который, со-зла, что его одурачили ангиною, готовъ схватить дифтеритъ.

Явился Шибышевскій и привелъ въ русское общество Фалька, пьянаго двадцать четыре часа въ сутки и въ пьяномъ видѣ совершающаго весьма скверныя дѣянія алкоголическаго блуда, подъ высокопарную декламацію громкихъ, пьяныхъ же фразъ, которыя общество, взаправду изучавшее Нитцше, приняло бы за пародію, но наше русское Панургово стадо съ благоговѣніемъ воспріяло, какъ самый чистый ницшеанизмъ. Къ тому же, русское общество всегда любило философствующихъ пьяницъ.

Любимъ Торцовъ — нашъ національный типъ. Пьянь, да умень—два угодыя въ немъ, говоритъ пословица. Но «умень» въ ней значить — не теряетъ этического самообладанія, остается порядочнымъ человѣкомъ, не опускается ниже собственнаго достоинства и уровня другихъ людей. Пьянь да умень—это Ломоносовъ, Помяловскій, Глѣбъ Успенскій и т. д. Фалькъ реформировалъ старую алкоголическую мораль, возведя въ апофеозъ пьяную безстыжность, распущенную безудержность алкоголическаго неврастеника. И—народилось же у насъ Фальковъ этихъ... Господи ты Боже мой! И — какихъ Фальковъ! Знаете ли вы, гдѣ являются на свѣтъ самыя послѣднія, удивительныя и типическія моды мужскихъ костюмовъ и дамскихъ туалетовъ? Въ Парижѣ? въ Лондонѣ? въ Вѣнѣ? Нѣтъ, въ маленькихъ, захолустныхъ мѣстечкахъ Кіевской и Херсонской губерній, въ Смѣлѣ, Шполѣ, Бѣлой Церкви, Умани. Потому что онѣ регулируютъ свои моды по Кіеву и Одессѣ, а Кіеву и Одессѣ надо на пять минутъ опередить Петербургъ, а Петербургу перехватить финишъ у Парижа и Лондона. Если парижанка укоротила юбку на четверть вершка, то петербургская дама укоротитъ свою юбку, дабы подчеркнуть *dernier cri de Paris*, уже на полвершка, одеситка—на вершокъ, а смѣлянка либо шполянка вдохновится къ укороченію выше щиколки. И такъ—не только съ юбками и панталонами, но и съ Фальками. Еще въ иностранныхъ Фалькахъ возможно, скрѣпя сердце, разсмотрѣть иной разъ нѣкоторое, хотя страшно смутное и безпрочно алкоголическое, гамлетство. Фальку же русскаго производства, *made in Russia*, всегда—одно резюме:

— Образованный господинъ, а, между прочимъ, какъ много безобразите!

У насъ есть добрые сосѣди—датчане, норвежцы, шведы. Всѣ они давно уже добыли себѣ лучшій даръ человѣческихъ обществъ—политическую свободу. Поль-

зуются они ею весьма умеренно и аккуратно: Молчалины конституцій. Данія, Швеція, Норвегія—самыя мѣщанскія страны Европы, ихъ демократія успѣла густо заплѣснѣвать въ косной буржуазности. Такъ какъ первымъ орудіемъ скандинавскаго освобожденія и демократіи былъ протестантизмъ, то религіей въ этихъ странахъ дорожать. А потому она очень сильна, этически придирчива, взыскательна, держитъ народъ на строгомъ отчетѣ. Пожалуй, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ даже покрѣпче католической, потому что ксендзъ строить свое могущество на торгѣ съ переторжкою—на разрѣшаемости моральныхъ компромиссовъ; пасторъ же стоитъ на непреложности буквъ этического закона своего. изъ Библіи черпаемаго, грозно и непоколебимо. Пасторы и ректоры Ибсена — крѣпкая власть. Это настоящая цензура или полиція нравовъ ¹⁾. Передовые умы скандинавскихъ странъ, утомленные одряхлѣвшимъ давленіемъ этической инквизиціи, которая, утративъ историческій смыслъ, властвуетъ и повелѣваетъ формами, начали могучую революцію духа. Явились Ибсенъ, Бьернсонъ. Это тоже было, въ своемъ родѣ, разрѣшеніемъ долгаго и суроваго поста. Утомленные говѣльщики, какъ и у насъ, бросились разговляться—и тоже нельзя сказать, чтобы съ выдержкою и безъ жадности. Къ тому же и таланты, шедшіе на смѣну старымъ богатырямъ, были уже иной силы и иного духа. Революція духа сползла къ революціи плоти: «аморальный» Стриндбергъ, Кнутъ Гамсунъ и т. д. «Панъ» Кнута Гамсуна имѣлъ успѣхъ въ Германіи, никакого — въ романскихъ земляхъ и колоссальный—въ Россіи. Въ Европѣ успѣхъ «Пана» созданъ декоративною красотою романа, чудесными описаніями, способностью автора сливаться во-едино съ природою,—

¹⁾ См. мои статьи объ Ибсенѣ во 2-мъ изданіи моихъ «Кургановъ».

тѣми трепетами весенняго лѣса, которыми чаровалъ когда-то отцовъ нашихъ молодой Тургеневъ. Въ Россіи — напостившаяся въ толстизмъ, публика приняла за откровеніе фигуру самого героя: чувственнаго самца со звѣринными глазами, который, забравшись въ лѣсную нору, подманиваетъ къ себѣ проходящихъ мимо самокъ. Кромѣ женщинъ, онъ ни о чемъ не умѣетъ ни говорить, ни думать. Каждая мысль его проходить сквозь половое желаніе, а потому однообразно тупа и мутна, какъ постоянная идея маньяка, и точно такъ же ведетъ къ дѣйствіямъ ненужной механической жестокости, глупымъ, мелочнымъ, злымъ. Когда я впервые прочиталъ «Пана», я положилъ книгу съ твердымъ убѣжденіемъ, что это — лукавая сатира. Послѣ «Нови», «Редактора Линге» и «Мистерій» — яркихъ реалистическихъ выпадовъ противъ мерзостей промысла литературнымъ модернизмомъ — увѣренность моя укрѣпляется. «Панъ» — книга лукавая, двусмысленная и втайнѣ сатирическая. Ея обаянія захватываютъ шире, чѣмъ задуманы, но задуманы они насмѣшливо и рассчитаны — какъ геніально злая мистификація — на довѣрчивыхъ дураковъ. У насъ мороку приняли за дѣйствительность, сатиру — за эпопею. Лейтенанта возвели въ идеаль. Компания російскихъ Фальковъ оживилась новымъ элементомъ: ихняго полку прибыло. Народился, изволите ли видѣть, «кентавръ», сліяніе скота и человѣка, безсердечное, какъ природа, и увлекательно страстное, какъ она. И такъ всѣ обрадовались счастью чувствовать себя на-половину лошадыю, что, боюсь, даже лошадей-то сконфузили этою честью. По крайней мѣрѣ, тѣ благородные Гуингмы, которыхъ, въ укоръ человѣчеству, описалъ въ знаменитой сатирѣ своей Джонатанъ Свифтъ, ни за что не согласились бы признать роднею себѣ современнаго кентавра, что нынѣ на лугахъ російской изящной словесности «скачетъ, веселъ и игривъ, хвостъ по вѣтру распустивъ».

— Не знаемъ, — сказали бы они, — откуда и какъ это чудовище прилѣпило себѣ лошадиное туловище, четыре ноги и хвостъ благороднаго гуингма. По образу мыслей, по прихотямъ и похотямъ, по безхарактерной распушенности, по хвастовству и нечистоплотности, оно — типичное іаху, грязное, распутное, злое двуногое іаху...

Въ «Тинѣ» Антона Чехова поручикъ Сокольскій, подъ обаяніемъ развратной бабы, позволилъ ограбить себя на большую сумму чужихъ денегъ. Онъ оправдывается:

— Первый разъ въ жизни наскочилъ на такое чудовище! Не красотой беретъ, не умомъ, а этой, пони-
маешь, наглостью, цинизмомъ...

Братъ обрываетъ его:

— Ужъ если такъ тебѣ захотѣлось наглости и цинизма, то взялъ бы свинью изъ грязи и съѣлъ бы ее живьемъ! По крайней мѣрѣ дешево, а то — двѣ тысячи триста...

Нельзя не сознаться, что російская изящная словесность послѣдняго времени, за рѣдкими исключеніями, совершенно уподобилась героинѣ «Тины», этой идеальной самкѣ свифтовыхъ іаху. Признаюсь, что, читая нѣкоторые современные дифирамбы однополой любви, я находилъ, предложенный Сокольскому братомъ, коррективъ со свиньей, въ самомъ дѣлѣ, едва ли не предпочтительнымъ. Самка іаху, героиня «Тины» и современная изящная (*sit venia verbo!*) словесность, всѣ три, берутъ не красотой, не умомъ, но наглостью и цинизмомъ. И прибавилъ бы я — специально для словесности: громкимъ звукомъ. Любить русскій человѣкъ громкій звукъ, и это одно изъ величайшихъ его несчастій. Если Тургеневу будетъ когда-нибудь воздвигнутъ всенародный памятникъ, на одной изъ стѣнокъ пьедестала непременно должно быть вырѣзано огромными, предостерегающими буквами базаровское завѣщаніе: «О, другъ мой Аркадій Николаевичъ! не говори красиво!» Потому что предвидѣніе, что

красивое говореніе и громкій звукъ станутъ нашимъ національнымъ бѣдствіемъ,—одно изъ гениальнѣйшихъ у Тургенева.

Протесты противъ тиннаго цинизма и наглости заглушаются громкимъ звукомъ, какъ вопли младенцевъ, приносимыхъ въ жертву Молоху, заглушались громомъ жреческихъ трубъ. Лилить ѣдетъ верхомъ на разукрашенной свинѣ... Ахъ, какой символъ! какъ интересно и глубоко! Фелисьенъ Ропсъ нарисовалъ бы на эту тему что-нибудь въ родѣ второй «Порнократіи!» Кентавры и Паны скачутъ вокругъ, Фальки кувыркаются, Каины аплодируютъ.

Тинный цинизмъ, наглость и—тинный расчетъ. Я никогда не былъ ни *prude*, ни защитникомъ, ни даже извинителемъ *pruderie*, я не боюсь ни факта, ни слова, меня не смутятъ никакая унизительная картина, никакой человѣческій документъ, разъ ихъ требуетъ реальность, которою должна облечься творческая идея. Стендаль, Бальзакъ, Флоберъ, Зола, Мопассанъ, Достоевскій, когда надо было, смѣлою рукою писали изнасилователей, растлителей, кровосмѣсителей, педерастовъ, скотоложцевъ, сквернослововъ. И послѣдователи ихъ будутъ дѣлать то же самое, когда надо будетъ, и это не только не худо, но хорошо, необходимо, по праву. Больше того: они были бы не правы, перестали бы быть реалистами, если бы, встрѣтя на пути своемъ фактъ этой категоріи, замолчали и обошли его, какъ не существующій. Глупо и пошло требовать отъ писателя той невинности, которая краснѣетъ при видѣ жаренаго каплуна. Но и обратно—что же это за литература, если ею можно жаренаго каплуна вогнать въ краску?

Оставимъ, значить, въ сторонѣ реалистовъ, для которыхъ чувственность—такой же правоспособный объектъ къ фізіологическому и психологическому изображенію, какъ всякое другое наблюденіе надъ человѣкомъ. Лилить,

ѣдущая верхомъ на свинѣ, ненавидитъ правду ихъ, какъ злѣйшихъ своихъ враговъ — изобличителей, и отводитъ ихъ изъ состава присяжныхъ засѣдателей. Но бывали и еще изрѣдка бываютъ въ литературѣ чувственные вопли, которые вызываются совсѣмъ не пѣлями реалистическаго изображенія. — однако, необходимы и получаютъ право гражданства въ ней, потому что ими кричить преувеличенная страстность самихъ авторовъ, субъективная чувственность самого поэта превращается въ человѣческій документъ. Таковы Мюссе, Бодлъръ, Верленъ, Суинбернъ, нашъ Бальмонтъ, отчасти Леонидъ Андреевъ. Всѣхъ этихъ симпатичныхъ грѣшниковъ можно обвинять, въ чемъ хотите, только не въ тинномъ расчетѣ потрафить на публику наглостью и цинизмомъ, портновски одѣтыми по модѣ въ красивый звукъ. Бальмонтовъ ли гимнъ торжествующей чувственности, андреевскій ли вопль чувственности страдающей, — они оправдываютъ себя тою искренностью красоты, которая дѣлаетъ пѣломудренною наготу мраморныхъ Венеръ, и при отсутствіи которой рисунокъ или статуэтка какой-нибудь амазонки, наглухо застегнутой и съ длиннѣйшимъ подоломъ, тѣмъ не менѣе, могутъ оказаться поганѣйшею порнографіей. Вспомните хотя бы поэта Бенедиктова, который умѣлъ такъ жестоко возмутить Бѣлинскаго своею «Матильдою съ плотнымъ усѣстомъ». У меня въ «Викторіи Павловнѣ» описанъ съ натуры фотографическій портретъ одной амазонки, внѣшне приличной съ маковки до пятъ. И — однако — смѣю увѣрить: никогда не видалъ я женскаго образа, болѣе выразительно рассчитаннаго на то, чтобы всѣми линіями своими быть непристойнымъ и возбуждающимъ. Съ одной изъ московскихъ художественныхъ выставокъ былъ убранъ этюдъ «Кошка». Однако, эта небольшая картина, признанная порнографическою, производила, на первый взглядъ, впечатлѣніе очень скромнаго портрета: молодая женщина, а на плечѣ у нея сидитъ кошка. Но авторъ вложилъ въ

глаза обѣихъ такую выразительную одинаковость безстыдства, что картина, несомнѣнно, дѣйствовала на грубѣйшіе инстинкты зрителя и развращала глазѣющую толпу вреднѣе всякой *pudité*.

Нѣтъ, современная русская беллетристика, расторгывающаяся картинами чувственности, страдаетъ отнюдь не избыткомъ реализма, какъ стараются увѣрить, играя на оптическій обманъ показной и нарочной видимости, нѣкоторые критики-покровители. Напротивъ, именно реализма-то въ ней ни капли нѣтъ,—сплошная отсебятина и выдумка! И также больна эта беллетристика не чрезмерною страстностью изступленныхъ поэтовъ, а вотъ именно — бенедиктовскимъ холодомъ, расчетливо подготовляющимъ тинныя снадобья для впавшихъ въ дѣтство старичковъ и для играющихъ въ старички младенцевъ. Сейчасъ, на примѣръ, въ модѣ миеологическіе стихи. Бальмонтъ издалъ ихъ цѣлую книгу — «Жаръ-Птица», — серьезный, талантливый трудъ, заслуживающій глубокаго вниманія, вызывающій на долгую и вглядчивую критику. Но Бальмонтъ не одинъ. Изъ-за спины его уже выглядываютъ миеологи-стихотворцы съ какими-то, воистину фаллическими мозгами. Я прочиталъ два сборника поэта, который, кажется, въ модѣ, потому что даже вышла какая-то декадентская критика, отмѣривающая отъ Чехова (*excusez du peu!*) до появленія этого поэта цѣлый литературный періодъ. Именъ я далъ себѣ слово не называть, потому что изобличать порнографа, съ указаніемъ имени и произведенія, въ наше время значить доставлять ему Геростратову славу и рыночный кабаръ. Стихи лишены всякой оригинальности, потому что формы заимствованы у Бальмонта, а содержаніе рабски передаетъ, въ ритмѣ и рифмахъ, цитаты изъ знаменитыхъ когда-то, но тяжеловѣсныхъ, отсталыхъ, устарѣлыхъ и уже разрушенныхъ научною критикою, «Поэтическихъ воззрѣній

славянъ на природу» А. Н. Афанасьева ¹⁾). Выборъ же повѣрій, обращенныхъ симъ «ликомъ творчества» въ стихи,—сплошь кентаврскій. Все, что бродило чувственными намеками въ темныхъ сказкахъ той многоземельной старины, когда у мужика-пахаря были еще зимній отдыхъ и досугъ, чтобы фантазировать, лежа съ бабой на палатахъ, растолковано съ грубостью, захлебывающагося сладострастными представленіями, подростка, да еще съ прибавленіями отъ себя, не лестно recommending воображеніе поэта. Мужикъ выдумалъ сальность, сказалъ ее коротко и грубо, словно плюнулъ, а интеллигентъ подсѣлъ къ плевку, размазалъ его, да еще своего подплевалъ. Нечистота вышла страшная, но отвѣтственнымъ родителемъ оной остается, по несправедливости поэтического подлога, какъ будто, все же не интеллигентъ, а мужикъ. Интеллигентъ мысленно онанируетъ, а выходитъ клевета на воображеніе народа. Другому «лику творчества», ударившемуся въ легенды античнаго міра, мало похабныхъ сказокъ Овидія, Апулея, александрійцевъ. Онъ совершенствуетъ ихъ по нравамъ и разговорамъ петербургскаго литературнаго трактира «Вѣна» или декадентскихъ редакцій, поетъ доисторическія противоестественности допотопныхъ мазохистокъ и ископаемый сафизмъ. Судите сами: въ какомъ состояніи мозги прекраснаго молодого человѣка, если, въ музеѣ мраморныхъ нимфъ, онъ блудливо припоминаетъ секретныя французскіе романишки, чтобы потомъ подмѣнить въ своемъ воображеніи этими самыми, ничего подобнаго и не чаявшими никогда, нимфами «Дѣвицу Жиро и ея супругу».

Это уже не миеологія, но миеоложство.

Это—поэзія Лазаря изъ *Joie de vivre*, запирающагося

¹⁾ См. мой сборникъ «Современники», статья «К. Д. Бальмонтъ» (Москва, издательство Д. П. Ефимова).

въ своей комнатѣ, чтобы нюхать перчатку своей кухни и наслаждаться до самозабвенія головнымъ блудомъ, воображая себя въ разнообразнѣйшихъ любовныхъ отношеніяхъ, которыхъ дѣйствительность не можетъ ни доставить ему, ни даже вообще-то для кого-либо столь разнообразно осуществить. Это мысленный полетъ Моны Кассандры на брокенскій шабашъ, съ такимъ преувеличеннымъ тщаніемъ описанный въ интересномъ, хотя холодномъ и искусственномъ, романѣ Мережковского. Разница съ Кассандрами и Лазарями — не къ выгодѣ нашего вѣка — та, что тѣ злополучные отстрадывали болѣзни своей грязной мечтательности тайкомъ и взаперти, а современные кентавры и сатирессы выносятъ ихъ на торжище и, что позорнѣе всего, результаты эротическихъ бредовъ своихъ предлагаютъ прохаживать по сходной цѣнѣ, какъ рыночный товаръ въ спросѣ. Сохраненіе невинности получается слабое, но капиталъ пріобрѣсти возможно. И пріобрѣтаютъ. И даже весьма. И Лилишь хохочетъ, а свинья визжитъ, счастливая, что сбитые съ толка людишки, которые могли бы дѣло дѣлать и обществу полезнымъ быть, вмѣсто того, усиленно и самодовольно занимаются мозговою проституціей.

М И Н У Т Ы.

I.

— Не разберу я, Ліонель: то-ли родился новый вѣкъ, то-ли старый вѣкъ выжилъ изъ ума и впалъ въ младенчество?

Такъ говоритъ великій Андреа дель-Сарто въ чудесной драмѣ Альфреда де-Мюссе, когда нѣкто Чезаріо развязно намекаетъ ему:

— Маэстро, вы бы немножко модернировались?

Оторванный отъ зрѣлищъ русскаго искусства, я въ состояніи слѣдить за ними только литературнымъ путемъ. Книга за книгою, журналъ за журналомъ, статья за статью, полемика за полемикою приходятъ ко мнѣ съ родины и—увы!—все сгущаютъ и сгущаютъ общее нерадостное впечатлѣніе:

— Или родился новый вѣкъ, или старый выжилъ изъ ума и впалъ въ младенчество!

И, признаюсь, вторая возможность горестно вѣроятнѣе къ выбору, чѣмъ первая. Новорожденность болѣе, чѣмъ сомнительна, младенчество—налично и упорно. Оно не общается ни отрочества, ни юности, ни зрѣлости. Это—статическое младенчество. Ребячество выжившей изъ ума старости, размягченіе общественнаго мозга, прогрессивный параличъ организма, необычайно счастливаго перспективою вернуться въ колыбель и, съ гремушкою въ рукахъ, издавать крики и лепеты, вмѣсто словъ, возвратитъ себѣ

райское упраздненіе стыда и, благословляя рецидивъ безграмотности, замѣнить чистописаніе мараніемъ пеленокъ. Этотъ странный вѣкъ-младенецъ—въ родѣ больного въ слѣпцовскомъ разсказѣ:

«Врачъ. Болѣзнь-то неинтересная!

«Жена больного. Ахъ, что вы говорите? Какого же вамъ еще интересу? Да вы поглядите на него, что онъ дѣлаетъ, такъ вы съ нимъ не разстанетесь.

«— Чтò же онъ дѣлаетъ?

«Жена больного стала шептать чтò-то на ухо врачу; можно было разслушать только: «Сидитъ и размазываетъ... весь выпачкается»... Больной глядѣлъ на врача и самодовольно улыбался, какъ будто желая спросить: «Что, братъ? А ты какъ обо мнѣ думалъ?» Такъ что даже врачъ смутился»...

Смутиться есть отъ чего, ибо зрѣлище существа, счастливаго тѣмъ, что оно «выпачкалось», не весьма постижимо и еще менѣе лестно для человѣка въ трезвомъ умѣ и твердой памяти. И, въ такихъ плачевныхъ случаяхъ, разница между младенчествомъ натуральнымъ, по новорожденности, и младенчествомъ благопріобрѣтеннымъ, по прогрессивному параличу или размягченію мозга, характерно опредѣляется именно тѣмъ обстоятельствомъ, что настоящій младенецъ, выпачкавшись, плачетъ, покуда его не вымоютъ и не облекутъ въ чистыя пеленки, а младенчествующій идиотъ чрезвычайно собою доволенъ и ухмыляется:

— Что, братъ? А ты какъ обо мнѣ думалъ?

Манія нечистоплотности переплетается въ извѣстныхъ стадіяхъ старческаго слабоумія и прогрессивнаго паралича съ маніей величія. В. М. Дорошевичъ разсказывалъ мнѣ однажды, какъ умиралъ при немъ одинъ товарищъ-литераторъ, въ прогрессивномъ параличѣ. Въ болѣзненномъ, свинскомъ неряшествѣ, несчастный воображалъ себя, тѣмъ не менѣе, Богомъ, сотворшимъ небо и землю. И кон-

трасты воображенія съ дѣйствительностью надрывали сердце злыми насмѣшками. Потому что трагедія смѣшивалась съ карикатурою: и плакать хотѣлось около этого человѣка, и поминутно смѣшилъ онъ противъ воли. Последнимъ житейскимъ актомъ несчастнаго было—что онъ плюнулъ на одѣяло, гордо посмотрѣлъ на окружающихъ, похвастался:

— Плюю виноградомъ!

И померъ...

Читая добрыя девять десятыхъ того матеріала, что доносить до меня—чернымъ по бѣлому—дыханіе русскаго литературнаго повѣтрія, я неизмѣнно чувствую себя у одра больныхъ, гордо увѣренныхъ, что они—боги, плюющие виноградомъ, и вполне тѣмъ счастливыхъ:

— Что, братъ? А ты какъ о насъ понималъ?

Я думаю, что ни одинъ вѣкъ не толковалъ такъ много о молодомъ искусствѣ, о новыхъ формахъ, о модернизации творчества, о художественныхъ реформахъ и «тому подобное», какъ приговариваетъ какой-то безразличный старичокъ въ какомъ-то безразличномъ одевилѣ. Никогда не было столь усерднаго и затѣйливаго фехтованія словами,—«passado! punto reverso! hai!»—безъ ударныхъ результатовъ. Никогда не устремлялось столько фантастическихъ экспедицій въ полярныя страны, въ центральную Африку и даже на луну и на Марсъ святаго искусства, и никогда искусство не сидѣло такъ прочно на мели, лишь мѣняя на себѣ Лейфертовы костюмы да приговаривая:

— Ежели человѣкъ съ воображеніемъ, то и Седьмая Рождественская за полюсъ сойдетъ!

Седьмая Рождественская—за полюсъ, параличная слюна—за виноградъ, размазываніе оной—за творчество.

Изъ искусства русскаго исчезли слова. Ихъ замѣнили лепеты и бормоты. Мысль ищетъ для выраженія своего нечленораздѣльныхъ звуковъ и хаотической безфор-

менности. Недавно, въ русскомъ отдѣлѣ венеціанской международной художественной выставки, я видѣлъ картину, называемую «Благовѣщеніе». Откуда-то сверху изъ-подъ рамы сыплется жидкимъ столбомъ блестящій канареечный дождь, а внизу у рамы же расплылось кругами лужистое пятно страннаго вишневаго цвѣта. Ни лицъ, ни фигуръ, ни линій, — произвольная пляска опалѣвшихъ точекъ. Сихъ дѣлъ мастера увѣряютъ, однако, будто канареечный дождь — это архангелъ, а вишневое пятно — Богородица. Итальянцы хохочутъ, а русскіе туристы стыдливо потупляютъ очи свои: все-таки, компатріотъ... Но я увѣренъ: авторъ этого изумительнаго юродства въ краскахъ твердо убѣжденъ, что онъ «плюнулъ виноградомъ!» И видитъ злѣйшаго врага своего, злонамѣреннаго, даже подкупленнаго, въ фельдшерѣ или сидѣлкѣ, которые ворчатъ на божественный плевокъ, зачѣмъ портить хорошее одѣяло.

Читатель извинить меня, если я не назову имени господина, отличившагося этою странною мазнею. Вообще, съ нѣкотораго времени, я пришелъ къ твердому рѣшенію: сталкиваясь съ вызывающими, намѣренно разсчитанными на скандалъ и шумъ, безобразіями безконечно расплодившихся російскихъ Геростратовъ, не давать имъ удовольствія полемической огласки и замалчивать ихъ имена. А то вѣдь вся подобная живопись, скульптура, литература сейчасъ именно тѣмъ разсчетомъ и существуетъ:

— Удивлю критику свинствомъ своимъ, и сейчасъ же на меня сто перстовъ укажутъ: вотъ свинья! нѣтъ, вы посмотрите, какая свинья! И общество, волею неволею, должно будетъ посмотрѣть, гдѣ обрѣтается такая рѣдкостная свинья, и узнаетъ мѣстопробываніе мое и, по тайному свинству своему, раскупить мое явное свинство. И буду я свинья славная и богатая, и тогда мнѣ на всѣхъ и вся — въ высокой степени наплевать... даже не виноградомъ!

Думаю, что, если бы русскіе критики, публицисты,

фельетонисты согласились бичевать порнографическое направлѣніе, а не имена, имъ выдвинутыя, если бы они менѣе носились съ фамиліями авторовъ и названіями книгъ, посвященныхъ апопеезамъ однополый любви и прочихъ чувственныхъ «оргазмовъ» времени нашего,— то постыдный рынокъ этотъ былъ бы гораздо бѣднѣе и средствами, и личностями, въ плутоватомъ юродствѣ или до жалости наивномъ самообольщеніи, гордящимися «любвей своихъ позоромъ».

— Что, братъ? А ты какъ о насъ понималъ?

Русская публика не успѣла еще башмаковъ износить съ тѣхъ поръ, какъ Аркашка Счастливцевъ заставлялъ ее заливаться хохотомъ какъ будто нравственного надъ нимъ превосходства.

— Да ты пьянъ, Аркашка?

— Что жъ, что пьянъ? Пьянъ и горжусь этимъ!

Еще бы не смѣшно! Этакое аморальное животное! Этакая безсознательность по обѣ стороны добра и зла!

Но—осмѣянный Аркашка не успѣлъ еще выйти за наши двери, а мы уже почтительно расшаркиваемся и сочувственно жмемъ руку: предъ нами едва стоитъ на ногахъ,—пьянѣ всѣхъ Аркашекъ вмѣстѣ взятыхъ,—идеальный г. Фалькъ идеального г. Пшибышевскаго и трагически декламируетъ о своей роковой готовности на всевозможныя мерзости, какія только подскажетъ ему, залитой коньякомъ, тронутый бѣлою горячкою, мозгъ *). Мы беззгливо хохотали надъ мелкою пьяною подлостью безвреднаго Аркашки, но настоящій пьяный нахаль и откровенно-циническій мерзавецъ сдѣлался идеаломъ и предметомъ восторженнаго подражанія. Фалькъ распоясся въ русскомъ обществѣ сотнями, какъ удачно выразился недавно одинъ одесскій журналистъ, «фальккоидовъ». Трагическій Аркашка, Фалькъ—пьянъ и гордится этимъ,

*) См. ниже статью „Homo Sapiens“.

развратитель дѣвушекъ—и гордится этимъ. Но онъ вѣдь лишь первая пѣсенка, которую Геростраты, плюющіе виноградомъ, зардѣвшись, пѣли. Съ тѣхъ поръ—какихъ только, какихъ Фальковъ мужского и женскаго пола мы не насмотрѣлись и какихъ гордыхъ признаній отъ нихъ не наслушались! Тысяча девятьсотъ седьмой годъ останется незабвеннымъ въ исторіи російскаго безстыдства... Только и слышалось со страницъ эстетическихъ журналовъ:

— Да! Я—педерастъ и горжусь этимъ!

— Да! Я—лезбіянка! А вы какъ обо мнѣ думали?

Молодые, начинающіе писатели дѣлали «карьеру и фортуна» восторженными гимнами мерзостямъ, которыя не всякая хозяйка веселаго дома потерпитъ въ нѣдрахъ притона своего. Возвели на пьедесталъ дурака, одареннаго сверхъ-человѣческимъ половымъ могуществомъ. Неудержимый и безжалостный самецъ-насильникъ провозглашенъ былъ владыкою думъ. Дамы описывали, какъ онѣ исполнялись вождельнѣй чуть ли не съ пятилѣтняго возраста, и признавались въ способности сладострастно трепетать даже при доеніи коровы, отъ прикосновенія къ вымени и сосцамъ... Воспѣвалось взапуски «обнаженіе» общества... Увы! увy! энтузіасты «обнаженія» не замѣчали, что, подъ видомъ «обнаженія», они достигаютъ совсѣмъ не истины, красиво выходящей изъ коллѣца, но лишь пакостничества, которое судебная медицина называетъ «экзибиціонизмомъ». Глупенькіе энтузіасты не замѣчали, а плуты—на то именно били.

Вчера я заглянулъ въ одинъ старый свой фельетонъ, напечатанный зимою 1906 года въ «Руси», съ которою я вскорѣ затѣмъ разстался. Въ фельетонѣ этомъ, высмѣивая порнографическій наплывъ, я далъ примѣрную программу пародіи для фантастическаго журнала «Тайны Алькова». Я помѣстилъ въ нее рядъ именъ и книгъ брюссельскаго рынка, которыя, какъ и самое названіе журнала-паро-

ди, я почиталъ совершенно невозможными къ появленію въ Россіи, потому что, и въ Парижѣ-то, вся эта пряная литература продается изъ-подъ полы, съ оглядкою, нѣтъ ли поблизости полицейскаго агента. Но—тогда цвѣли цвѣточки, а теперь вырѣли ягоды. Вчера же въ рядѣ русскихъ газетъ нашелъ я объявленія двухъ новыхъ журналовъ, обѣщающихъ будущимъ подписчикамъ своимъ такія приманки, что моя «невозможная пародія» оказалась предъ этою современностью—съ прилипшимъ къ гортани языкомъ, пристыженная бѣдностью воображенія, оставленная далеко за флагомъ. Какія ужъ тамъ «Тайны Алькова!» Все—наголо! Это ли еще не прогрессъ?

Какіе-то остатки тайной совѣсти не позволяютъ, куда, русскимъ порнографамъ щеголять свинствомъ *au naturel*, какъ является литература эта на извѣстной гравюрѣ Фелисьена Ропса. Свинью облачаютъ въ мистическія одежды, заволакиваютъ символическимъ туманомъ—и восторженно вопіютъ предъ нею:

— Глубоко! Глубоко!

Словно и не вѣсть какое счастье людямъ, что, на какую глубину ни запусти они руку внутрь себя, на всякой глубинѣ свинья въ нихъ обрящется: всегда, молъ, мы похрюкивали, въ какомъ возрастѣ себя ни припомнимъ!

Во всѣхъ періодахъ и во всѣхъ краяхъ цивилизаціи мистицизмъ и распутство, половая прихоть и символическая вычурность шли рука объ руку. Изображать и воспѣвать добродѣтель символистъ умѣть, только побѣдносно проведя ее чрезъ обстановку такихъ выдуманныхъ и противоестественныхъ мытарствъ порока, которыхъ реальная жизнь никогда не въ состояніи соединить вмѣстѣ. Художники XV, XVI вѣка были люди очень благочестивые и почти сплошь мистическаго образа мыслей. Однако, когда она изображали искушенія какихъ-нибудь святыхъ, то окружали этихъ несчастныхъ такою, съ позволенія вашего сказать, похабщиною, что чорту, глядя, оставалось

только горевать заднимъ умомъ: жаль, я тогда не догадался! То же самое и теперь. Я очень счастливъ, когда въ мистической пьесѣ добродѣтель достигаетъ уготованнаго ей вѣнца,—именно потому, что даже опытность Вельзевула пасуетъ предъ арсеналомъ и комбинаціями порока, которыми хорошо начитанный символистъ атакуетъ, долженствующую торжествовать, добродѣтель. Ибо нѣтъ такого похабнаго средневѣковаго анекдота, выношеннаго озлобленіемъ плоти монашеской въ келейномъ одиночествѣ, который символисты не почли бы долгомъ своимъ рассказать публикѣ, со святошескими масками на лицахъ:

— Глубоко! Глубоко!

Для совершенной иллюзіи, болтовня эта прикрывается несноснымъ стилистическимъ кривляньемъ, искусственною простотою, хуже воровства, сюсюканьемъ и косноязычіемъ въ тонѣ тѣхъ временъ, когда языки западныхъ народовъ находились еще въ дѣтскомъ возрастѣ. Рубленныя фразы, натянутые архаизмы. Когда изъ себя строить средневѣковаго ребеночка какой-нибудь Метерлинкъ, это еще куда ни шло. Во-первыхъ, онъ человѣкъ очень большого таланта и, хотя маскарадная, борьба его съ языкомъ, который онъ знаетъ въ совершенствѣ,—зрѣлище, чрезвычайно интересное для любителя. Во-вторыхъ, нѣтъ ничего противоестественнаго и никакой натяжки въ томъ, чтобы средневѣковая латинская, провансальская, фламандская сказка и рассказывалась публикѣ именно языкомъ средневѣковой латинской, провансальской, фламандской сказки. Но вѣдь у насъ-то такого языка нѣтъ. То есть, если хотите, онъ есть, но — кто же въ театрѣ не расхохотался бы, если бы въ какой-нибудь «Беатрисѣ» актеры вдругъ возглаголяли слогомъ повѣсти о Саввѣ Грудцынѣ или Соломоніи Бѣсноватой? Между тѣмъ, по настоящему-то, если уже быть послѣдовательнымъ до конца, то мистическія пьесы Метерлинка, Д'Аннунціо, столь родственныя и подражательныя стилю

старыхъ романскихъ *fabliaux*, надо передавать, именно соотвѣтствующими хронологически и культурно, средствами русскихъ повѣстей XVI и XVII вѣка. Но, такъ какъ я не знаю болѣе вѣрнаго средства обратить пьесу въ пародію, то пришлось выдумать для мистической драматургіи новый, особый русскій языкъ, которымъ, кромѣ театровъ-модернъ, нигдѣ никто никогда не говорилъ, да, будемъ надѣяться, и не будетъ говорить. Настолько рѣшительнымъ и несимпатичнымъ шагомъ назадъ въ развитіи языка является эта блѣдная, анемичная, скудная проза рубленыхъ куцыхъ фразокъ, манерно претендующихъ на лаконизмъ, естественно необходимый состарѣвшимся языкамъ латинскаго корня, но до противности искусственный, вымученный и безцвѣтный въ русской рѣчи, съ ея молодыми богатствами, съ ея еще нетронутыми запасами этимологическихъ возможностей, съ ея почти неразработаннымъ синтаксисомъ. Отъ Тургенева, Толстого и Чехова русскій языкъ пятятъ къ упражненіямъ въ нѣмецкихъ переводахъ по системѣ Оллендорфа! Это все равно, что Мѣднаго Всадника пересадить съ звонкоскачущаго коня на щипинскую клячу. И вы думаете: эта мода—безъ послѣдствій? Загляните-ка уже не въ переводъ, а въ «Жизнь Человѣка» Леонида Андреева. Кажется, хорошо пишетъ авторъ «Губернатора», и нельзя упрекнуть его въ незнаніи русскаго языка? Ну, а гдѣ же, когда и кто говорилъ по-русски такимъ неестественно-тусклымъ, именно переводнымъ, «подъ иностранное» придуманнымъ, книжно-натянутымъ, словеснымъ лаемъ, какъ Старухи, Пьяницы, Гости и прочіе символическіе персонажи въ «Жизни Человѣка»? Я не говорю уже о десяткахъ мелкихъ подражателей, схватившихся за эту легкую литературную моду. Потому что — нельзя же: «можетъ собственныхъ Платоновъ и быстрыхъ разумомъ Ньютоновъ земля руссiйская родить!» Какъ можетъ обойтись русскій литературный геній безъ своихъ собственныхъ Метерлинковъ, если ни одинъ русскій го-

родъ не стоитъ безъ «иностранца Федора Савельева, портного изъ Парижа, онъ же мадамъ»? Во всякой модѣ есть своя фальшь, но въ этомъ искаженіи и оглушеніи языка она особенно противна. Представьте себѣ богача, который, по модѣ, одѣвался бы опернымъ нищимъ, либо толстую, здоровенную бабищу, лѣтъ сорока пяти, которая носить платье по покрою пятилѣтняго bébé, сюсюкаетъ, картавить, — «она пошла», «Юля хочеть», «Юля будетъ плакать». Такъ же досадны и постыдны всѣ эти недомолвочные лепеты и сюсюканья крапешныхъ наивностей російскаго модернизма.

Въ книгѣ—искусственное дѣтство языка, подмѣнь Тургенева, Чехова, Толстого переводами по методу Оллендорфа. Въ театрѣ—искусственное дѣтство тона, жеста, декораций. Подмѣна Венеры Милосской размалеванною каменною куклою. Живопись — такъ чуть не раньше Джіотто. Скульптура — такъ до Николо Пизано. Читаю рецензіи о русскомъ театрѣ — и только диву даюсь могуществу моды, широкому ея захвату и торжеству. Старая, умная актриса, заслуженная представительница идеологической сцены, создавшая цѣлый рядъ почти публицистическихъ ролей, вдругъ, на пятомъ десяткѣ лѣтъ открываетъ, что она была рождена для кукольнаго театра, и весь недожинный талантъ свой укладываетъ въ задачу — какъ можно болѣе походить на маріонетку. Декоративный мотивъ никуда не годится и бракуется, если онъ не взятъ съ лубочной картинки. Режиссеры изъ нестройной театральной роты, одною фигурою своею наводящіе уныніе на фронтъ, какимъ-то гипнозомъ становятся владыками сцены, водятъ за носъ артистовъ и дурачатъ публику тайнствами «стилизации». Все по-дѣтски и... все «о дѣточкахъ-съ!!!» Дѣтскія пьесы въ стилизованномъ дѣтскомъ исполненіи... Но, когда старческое младенчество воображаетъ себѣ дѣтство, то вдругъ какъ-то оказывается, что главная суть дѣтства заключается въ «пробужденіи пола»: когда въ человѣкѣ

впервые хрюкнула свинья. Мальчикъ интересенъ, поскольку онъ преданъ тайнымъ порокамъ и «пристаетъ» къ дѣвочкѣ, дѣвочка—поскольку она способна забеременѣть въ 13 лѣтъ... «Дѣтство» изъ секретныхъ отдѣленій паноптикума! Ужъ именно, что:

— Какого же вамъ еще интересу? Да вы поглядите на него, что онъ дѣлаетъ, такъ вы съ нимъ не разстанетесь...

Ну—и не расстаются!

Я увѣренъ, что Федоръ Павловичъ Карамазовъ въ настоящее время сдѣлался неутомимымъ театраломъ, и Аркадій Ивановичъ Свидригайловъ также перекочевали изъ оперетки въ драму и «извоили» взять абонементъ...

II.

Пресловутая пьеса Ѳ. Соллогуба о романѣ папеньки съ дочкою напомнила мнѣ старину, не очень давнюю.

Молодому поколѣнію литераторовъ и артистовъ античное имя московскаго Артистическаго Кружка не говорить ничего. А, между тѣмъ, отсюда нѣкогда вышла свобода частной антрепризы въ столицахъ, тамъ зачалось общество русскихъ драматическихъ писателей и композиторовъ и возросло цѣлое поколѣніе передовыхъ сценическихъ дѣятелей, теперь въ большинствѣ уже сошедшихъ въ могилы. Періодъ славы и процвѣтанія Артистическаго Кружка падаетъ на семидесятые годы прошлаго вѣка. Мы, восьмидесятники, застали уже его упадокъ, вѣрнѣе даже—агонію. Когда-то славный Кружокъ былъ вытѣсненъ изъ своего прежняго роскошнаго помѣщенія на Театральной площади (теперь на этомъ мѣстѣ Новый Театръ) куда-то въ Каретный рядъ и влачилъ жалкое захолустное существованіе. Самыми частыми гостями Кружка были теперь судебные пристава съ исполнительными листами. Чтобы

какъ-нибудь оправдывать расходы, Кружокъ махнувъ рукою на славныя традиціи, сдавалъ спектакли свои любому, кто набѣжитъ.

И вотъ однажды, какимъ-то чудомъ попавъ въ это унылое учрежденіе, —туда попадали уже не иначе, какъ чудомъ,—я былъ свидѣтелемъ, какъ нѣкто Эльснеръ изображалъ Гамлета.

Л. Н. Толстой можетъ, сколько ему угодно, «развѣнчивать» Шекспира, но,—уже въ нѣкоторомъ родѣ спускаясь въ долину дней и оглядываясь на добрыя тридцать лѣтъ общенія съ искусствомъ и людьми его,—я могу съ убѣжденіемъ сказать одно: нѣтъ въ литературѣ подлуннаго міра другого автора, который былъ бы способенъ, не то, что въ равной съ Шекспиромъ, но даже въ близкой къ нему степени, сдѣлаться страстью человѣка, его болѣзнью, его маніей. Въ Россіи эпидемія шекспироманіи особенно сильна и прочна. Обыкновенно говорятъ, что виноваты въ томъ тѣнь Мочалова и статьи Бѣлинскаго. Но это невѣрно. Одинъ изъ первыхъ шекспиромановъ, изображенныхъ въ русской художественной литературѣ, студентъ Иволгинъ въ «Тысячѣ Душъ» Писемскаго, даже не видалъ никогда Мочалова и дурного о немъ мнѣнія по слухамъ,—стало быть, Бѣлинскому не повѣрилъ. И—однако:

— Пускай отецъ, какъ говорить, лишитъ меня благословенія и стотысячнаго наслѣдства: меня это не оставитъ, если только мнѣ удастся сдѣлать изъ Гамлета то, что я думаю.

Иволгинъ остался вѣчнымъ типомъ въ русскомъ искусствѣ. Давалъ онъ удачниковъ, давалъ, конечно, еще больше неудачниковъ. Но безъ мѣстнаго Иволгина у насъ въ Россіи рѣдкій городъ стоитъ, и врядъ ли есть театръ, въ лѣтописяхъ котораго не осталось бы такого Иволгина или нѣтъ его на-лицо. Нѣкоторые изъ русскихъ Иволгиныхъ современемъ отстаютъ отъ актер-

ской карьеры, но благородная страсть къ Шекспиру неистребима въ нихъ, какъ Знいち какой-то, и связываетъ ихъ съ искусствомъ узами неразрывными. Какъ одинъ изъ самыхъ яркихъ примѣровъ русскаго фанатизма къ Шекспиру, я назову А. Н. Кремлева. Надѣюсь за это упоминаніе А. Н. на меня не посѣтуетъ, ибо въ томъ, какъ фабричные говорятъ, «нѣтъ ничего дурного, окромѣ хорошаго». Этотъ талантливый человѣкъ пожертвовалъ Шекспиру всѣми карьерами буржуазнаго жизнеустройства, на которыя давали ему право фамильная традиція и разностороннее образованіе, прошелъ къ Шекспиру— и впрямь только что не иволгинскимъ путемъ, десятилѣтіями претерпѣвалъ изъ-за Шекспира безжалостные бичи и скорпіоны, мучительно слушалъ «судъ глупца и смѣхъ толпы холодной», перенесъ несчетныя пытки оскорбительныхъ препонъ и разочарованій, въ томъ числѣ даже долженъ былъ лишиться счастья сцены. И, однако, пятый десятокъ лѣтъ своихъ Кремлевъ кончаетъ, столько же вѣрный и пламенный къ богу своему, какъ четверть вѣка назадъ, когда своимъ культамъ Шекспира онъ приводилъ въ отчаяніе казанскихъ интеллигентныхъ буржуа и проповѣдовалъ лѣтосчисленіе отъ рожденія великаго Вильяма. Другой типическій Иволгинъ русскаго театра, еще болѣе Кремлева упорный въ томъ отношеніи, что выдержалъ-таки характеръ остаться шекспировскимъ актеромъ, — Н. П. Россовъ, въ послѣдніе годы начавшій писать о театрѣ. И нельзя не признать, что статьи природныхъ шекспиристовъ объ искусствѣ всегда бываютъ изъ интереснѣйшихъ въ этой области, потому что ихъ вдохновляетъ настоящая страсть, искренняя ревность о богѣ своемъ. Кромѣ того, никто, болѣе Шекспира, не развиваетъ художественнаго интеллекта, не заставляетъ, ради эстетической и психологической комментировки, столько читать и видѣть, не толкаетъ такъ энергически къ самообразованію и самовниканію. Да! Л. Н. Толстой — великій пи-

сатель, но на Шекспира онъ набросился совсѣмъ не по великому и недаромъ потерпѣлъ въ напрасномъ бою такой жестокий уронъ и фiasco. Когда я услышу, что какая-нибудь роль другого автора стала для юноши вопросомъ жизни и смерти, какъ роль Гамлета для Россова, или что мировой судья вышелъ въ отставку, потому что ему не позволили держать въ камерѣ портретъ другого поэта, какъ, говорятъ, вышелъ въ отставку изъ-за подобнаго случая съ портретомъ Шекспира Кремлевъ,— лишь тогда я повѣрю, что у Шекспира есть соперникъ въ обаяніи человечества и уловленіи душъ. А въ юности своей зналъ я поэтического тульского попа, котораго мужики дразнили «Попъ Якуба», хотя онъ былъ отецъ Мелетій *). Подвыпивъ, онъ чудесно игралъ на скрипкѣ старинные полонезы Огинскаго, а, достаточно взвинтивъ себя ихъ меланхолическими звуками, усаживался на крыльцо своего домика и взывалъ на все село:

Изъ-за Гекубы!

Что ему Гекуба?

• Что онъ Гекубѣ?

У этого чудака-попа въ поминанья были записаны бояринъ Георгій Гордѣй (Байронъ) и бояринъ Александръ (Пушкинъ) въ дни трагическихъ кочинъ своихъ, а «иновѣрецъ агличинъ Василій» предназначался къ поминанію во всѣ дни. Попа Якубу, по доносу, таскали за то въ консисторію, но онъ право свое молиться за упокой шекспировой души отстоялъ геройски.

— Ну, а если бы запретили?

— Не уступилъ бы,—хоть рясу снять!

Гдѣ-то онъ теперѣ, милѣйшій Якуба? Пожалуй, что

*) См. въ 3-мъ изданіи моего сборника „Сказочныя Были“ рассказъ „Деревенскій Гипнотизмъ“. Тамъ о. Мелетій выведенъ подъ именемъ о. Аркадія. (СПБ., изд. товарищества „Общественная Польза“).

ужъ и въ могилкѣ, потому что и тогда былъ не молодъ, да и жестоко запивалъ...

Такъ вотъ что значить Шекспиръ у насъ, въ интеллигенціи русской. И вотъ ты съ нимъ тутъ и состязайся...

А прочтите въ «Московскомъ Еженедѣльникѣ» лѣтопись покойнаго «Шекспировскаго кружка», написанную Венкстерномъ, котораго когда-то первопрестольная не только противопоставляла Росси, Поссарту, Барнаю, А. П. Ленскому, но даже находила, что «Венкстернъ умѣетъ всѣхъ лучше». Вы увидите, что Кремлевъ, Россовъ — не случайности на Руси, что шекспироманія — у русской интеллигенціи въ крови, это — ея эндемія. Фигуры С. А. Юрѣва, Л. И. Поливанова, Венкстерна, И. И. Лаврова, Лопатиныхъ, Стороженко и т. д. — не только типическія для нея, онѣ — національны. Простите за вульгарное сравненіе, но, какъ альпійскому мужику въ Оберландѣ природа привязываетъ зобъ на шею, такъ — въ дореволюціонной Россіи, до Маркса и Нитцше, культура привязывала интеллигенту либо шекспиризмъ, либо дарвинизмъ. То и другое — въ большей или меньшей степени, глядя по темпераменту, но — безъ сильныхъ или слабыхъ признаковъ одного изъ двухъ, либо безъ ихъ промежуточнаго и примирительнаго компромисса, — интеллигентовъ было мало.

Кремлевъ, Россовъ — это сливки шекспироманіи, это ея удачники, — тѣ, кому путемъ ея удалось прійти къ культурному дѣлу, кто успѣлъ ею стать полезенъ и себѣ, и людямъ. Но въ нѣдрахъ и низшихъ слояхъ этой эндеміи что погибло Иволгиныхъ, неудачниковъ, «шекспировъ несчастныхъ», какъ звалъ ихъ, съ маленькою буквою, покойный актеръ и антрепенеръ, циникъ Форкатти! Тотъ Эльснеръ, котораго назвалъ я выше, принадлежалъ къ этому, гибели обреченному, Панургову стаду. Былъ онъ, какъ водится, изъ хорошаго общества, офицеръ, бѣднякъ — и всѣмъ су-

ществомъ своимъ—«шекспиръ несчастный». Сколько мученій и испытаній стоила Эльснеру его шекспироманія, достаточно обличаетъ уже тотъ фактъ, что, въ концѣ концовъ, очутился онъ съ «Гамлетомъ» своимъ въ такой дырѣ, какъ умирающій Артистическій Кружокъ. Пришлось ему играть, принявъ, конечно, спектакль на свой счетъ, предъ шестидесятью зрителями, въ возмутительнѣйшей обстановкѣ, собранной съ бора до сосенки, окруженному случайными любителями или статистами за актеровъ, нанятыми въ трактирѣ «Ливорно», въ костюмахъ изъ табачной лавочки пополамъ съ бюро похоронныхъ процессій. Надо фанатически вѣрить въ могущество своего призванія и въ необходимость своего исполненія, надо въ самомъ дѣлѣ чувствовать внутри себя какое-то новое слово, которое жжетъ и мучительно рвется наружу, безъ вопля которымъ жить нельзя,—чтобы пойти на рискъ—выступить, при подобныхъ условіяхъ, на сценическихъ подмосткахъ, да еще въ «Гамлетѣ». Эльснеръ походилъ на Гамлета не больше, чѣмъ самъ Гамлетъ на Геркулеса, однако, читалъ, хотя диллетантски, но очень неглупо, чувствовалъ мысль и фразу, любилъ роль всею душою и всѣмъ тѣломъ своимъ. Словомъ, въ другой обстановкѣ, онъ былъ бы не хуже, если не лучше, многихъ присяжныхъ актеровъ, хвастающихъ о Гамлетѣ:

— Моя коронная роль.

Но—кто бы ни появлялся на сценѣ: Гораціо, Марцелло, король, королева, Полоній,—публика умирала со смѣха: такой это былъ сбродъ! А въ чужомъ пирѣ похмѣлье принималъ на себя злополучный Гамлетъ. И, какъ бываетъ среди недобросовѣстныхъ и равнодушныхъ комедіантовъ-наемниковъ, они, замѣтивъ, что безстыжее несоотвѣтствіе ихъ ролямъ смѣшить добродушно настроенную публику, принялись безобразничать уже нарочно, откалывая гадкія водевильныя колѣнца. Гамлетъ краснѣлъ, блѣднѣлъ, кусалъ губы, сжималъ кулаки, но—

игралъ. Однако, приспѣлъ часъ лопнуть и его долготерпѣнію.

Вышла на сцену Тѣнь. Я не могу описать вамъ этой Тѣни, потому что—смѣю сказать: я, хотя видѣлъ, но не видалъ ея. Я не знаю даже, что именно было такъ позорно въ ея костюмѣ и гримѣ. Но—едва она мелькнула передъ глазами моими, я уже лежалъ лицомъ на спинкѣ стула въ переднемъ ряду и колотился лбомъ, потрясаемый самымъ дикимъ и властнымъ смѣхомъ, какой когда-либо посылала мнѣ судьба,—въ сознаніи, что ничего глупѣе, пошлѣе, наглѣе, подлѣе, гнуснѣе, нелѣпнѣе я никогда еще не видалъ и врядъ ли когда-либо что увижу. По задыхающемуся реву хохота въ залѣ, я слышалъ, что немногочисленные сосѣди мои переживаютъ тѣ же впечатлѣнія. А затѣмъ со сцены зазвучалъ низеслѣдующій разговоръ, не предвидѣнный Шекспиромъ:

Гамлетъ. Уйдите!

Тѣнь. Чего?

Гамлетъ. Я приказываю вамъ: уйдите.

Тѣнь. Зачѣмъ?

Гамлетъ. Я не могу съ вами играть. (*Къ публикѣ*). Господа. Извините, но вы сами видите, что я не могу играть съ такою Тѣнью. (*Къ Тѣни*) Вы... вы не Тѣнь, а чучело!

Тѣнь. Сами-то вы чучело!!!...

Занавѣсъ не упалъ, а рухнулъ, и спектакль кончился.

Эльснеръ нѣсколько дней былъ притчею во языцѣхъ Москвы. Я увѣренъ, что, если бы онъ повторилъ «Гамлета», то сдѣлалъ бы рядъ полныхъ сборовъ. Но «шекспиръ несчастный» былъ закваски Геннадія Демьяновича Несчастливцева:

— Забавлять-то тебя? Шутовъ заведи!

Кажется, тѣмъ и «свершился путь Отелло»: по крайней мѣрѣ, я больше никогда уже не слыхалъ объ Эльснерѣ, какъ объ актерѣ.

Но онъ писалъ пьесы. И престранныя. Одна изъ нихъ, не помню, или была въ моихъ рукахъ, или читалъ мнѣ ее кто-то изъ товарищей-журналистовъ: вѣдь, слишемъ двадцать лѣтъ отдѣляетъ насъ отъ времени, о которомъ я рассказываю. Но пьесу я — какъ будто только вчера читалъ, настолько, въ несложности своей, она ярка и незабвенна.

Начать съ того, что въ ней было 24 дѣйствія. Уже это обстоятельство не совсѣмъ обыкновенно.

* * *

Дѣйствіе I. Номеръ гостиницы въ губернскомъ городѣ. Входитъ проѣзжающій, за нимъ корридорный съ вещами.

Проѣзжающій. Этотъ номеръ мнѣ нравится. Я остаюсь здѣсь.

Корридорный. Слушаю-съ. Долго изволите пробыть?

Проѣзжающій. Я пріѣхалъ, чтобы присутствовать на торжественномъ актѣ въ институтѣ, гдѣ воспитывается моя дочь, которой я никогда не видалъ.

Корридорный. Это, стало быть, завтра-съ. Доброе дѣло. Слушаю-съ. (*Уходитъ*).

Проѣзжающій. Скучно... Чѣмъ бы заняться? Га! (*звонитъ. Входящему корридорному*). Человѣкъ... есть у васъ дѣвки?

Корридорный. Сколько угодно-съ.

Проѣзжающій. Приведи мнѣ дѣвку.

З а н а в ѣ с ѣ.

Дѣйствіе II. Тотъ же номеръ. Въ выходной двери исчезаетъ юбка поспѣшно скрывающейся женщины.

Проѣзжающій. Однако, она была дѣвушка. Она оставила мнѣ на память свою сорочку. Спрячу. Въ сущности, гнусно съ моей стороны. Какіе подлецы всѣ мы, мужчины.

З а н а в ѣ с ь.

Дѣйствіе III. Торжественный актъ въ институтѣ благородныхъ дѣвицъ. Много публики. Проѣзжающій во фракѣ и при орденахъ.

Директрисса института. Золотой медали удостоена воспитанница...

Проѣзжающій. Что я вижу?! Она!

Директрисса института. Дѣвица Имярекова.

Проѣзжающій. Какъ?

Сосѣдъ. Дѣвица Имярекова.

Проѣзжающій. Что? Имярекова? Не можетъ быть! *(дико хохочетъ)*. Моя дочь.

Дѣвица Имярекова взглянула въ Проѣзжающаго, узнала... вскрикнула... упала въ обморокъ...

Всѣ. Успокойтесь! Успокойтесь!

Проѣзжающій. Молчите! Вы всѣ ничего не понимаете! Одинъ я понимаю! Это моя дочь! Ха-ха-ха! Это—моя дочь! *(Вынимаетъ изъ кармана женскую сорочку и машетъ ею, среди всеобщаго ужаса и недоумѣнія)*.

З а н а в ѣ с ь.

Отъ передачи дальнѣйшихъ актовъ избавляю читателя, такъ какъ четвертый происходитъ уже въ домѣ для умалишенныхъ.

Такъ что—видите ли: ничто не ново подь луною! Америку до Колумба открыли какіе-то норвежскіе викинги, а любовною драмою между родителемъ и дочерью *Θ.* Соллогуба упредилъ Эльснеръ. Впрочемъ, и Писемскій въ «Былыхъ Соколахъ». Впрочемъ, и какой-то предшественникъ *Щекспира* въ «Периклѣ», и Альфіери въ

«Миррѣ», и Шелли въ «Беатриче Ченчи»... Разница предшественниковъ г. Соллогуба съ самимъ г. Соллогубомъ сводится лишь къ тому незначительному условію, что тѣ порицали, а онъ одобряетъ. Анекдотъ наоборотъ: маленькую ошибку давалъ—вмѣсто караула, ура кричалъ!

А читалъ я недавно «Тяжелые Сны» и «Мелкаго Бѣса» того же самаго г. Соллогуба. Какой большой беллетристическій талантъ заключенъ въ этомъ писателѣ, когда онъ работаетъ безъ стремленія вяще изломиться во имя вкуса модернъ, и какъ хорошо и глубоко знаетъ онъ провинцію, въ которой развиваетъ дѣйствіе своихъ романовъ! Вотъ все говорятъ: быть умеръ. Фраза — логически бессмысленная, потому что быть не можетъ умереть, покуда существуетъ хоть какая-нибудь форма общества человѣческаго. А—что театральнѣйшій интересъ къ русскому быту временно заслонился нѣкоторыми теченіями индивидуалистической моды, это — облако на лунѣ. Облака пройдутъ, но луны отъ земли никуда не отставишь, она вѣчно будетъ кружиться въ компаніи съ планетою нашею. Какой символизмъ и индивидуализмъ ни разводи, но — разъ хочешь остаться во времени и пространствѣ, бытовой фонъ-то написать надо. Правда, пишутся теперь пьесы, повѣшенныя въ воздухѣ, безъ всякаго реальнаго гвоздика («Жизнь Человѣка») *). За то

*) Съ тѣхъ поръ, какъ писана была и печаталась эта статья, появился на свѣтъ еще болѣе плачевный примѣръ такихъ пьесъ,—къ сожалѣнію, той же талантливой руки: «Царь-Голодъ». Л. Н. Андреевъ—очень большой природный талантъ. Но я никакъ не могу понять, что за охота этой крупной силѣ развѣивать богатства свои на вторичныя, третичныя и т. д. открытія Америкъ, изобрѣтенія пороха, компаса, солнечныхъ часовъ и прочихъ небезызвѣстныхъ человѣчеству предметовъ? Почему бы, взявъ всѣхъ этихъ трудныхъ и напрасныхъ упражненій,—просто—не почитать кое-чего, заготовленнаго, въ цѣляхъ самообразованія, предшествующими поколѣніями для настоящихъ и послѣдующихъ? Вѣдь, право же, не лишнее знать исторію, когда говоришь о фактахъ, географію, когда претендуешь на землеописаніе, карту звѣзднаго неба, когда толкуешь объ астрономіи. Андреевъ же, въ произведеніяхъ своихъ, то и дѣло сбивается на

онѣ и живутъ не сами собою, но эпохою романтическихъ восклицаній, и творчество ихъ не живая образность, но лишь упражненія въ восклицаніяхъ. Совсѣмъ не умеръ быть, а развѣ что—географически перемѣстился. У насъ исторически сужено представленіе о бытовомъ творествѣ, оттого и говорятъ о мнимой его смерти. Какъ быть, то, значить,—Островскій, Писемскій, Потѣхинъ, народники, «Власть тьмы» и т. д. Великорусскій быть сейчасъ, дѣйствительно, обрѣтается въ большомъ умаленіи, потому что интеллигентный обыватель великорусской провинціи дѣлаетъ политику, а не пишетъ. Если же и пишетъ, то не бытовые обобщенія, но письма въ редакцію: «и вотъ еще примѣръ турецкаго звѣрства!» Пишутъ сейчасъ Петербургъ и югъ. Понятно, что тутъ неоткуда взяться великорусскому быту. Но развѣ у Айзмана, Юшкевича, Шолома Аша и др. нѣтъ своего быта? Тогда ихъ прекрасныя, всѣхъ интересующія, пьесы обратились бы въ сплошную публицистику à la Бріэ, любопытную лишь для тѣхъ, кого волнуетъ и жжетъ еврейскій вопросъ. Безъ бытовыхъ фигуръ, ихъ художеству было бы мѣсто не на сценѣ, а на трибунѣ. Нѣтъ, не умеръ быть, а, просто, каждый пишетъ то бытовое, что онъ знаетъ и что близко ему, и у новаго писательства—новый и быть. Быть же великорусской провинціи использованъ большими мастерами настолько глубоко, что поверхностное наблюденіе слабаго таланта уже не можетъ сказать много новаго. Въ особенности—послѣ чеховской детальной разработки. Совершенно непочатый уголь—духовенство, но между нимъ и сценою стоитъ стѣною цензура. Такъ

щедринаскаго Пафнутаева, который—„по незнанію географіи и исторіи“—чуть было не услалъ „къ чортовой матери“ даже Носа съ птицами и звѣрьми его. Оттого именно—нельзя не сознаться съ грустью—соціальная трагедія г. Андреева такъ часто и произвольно сбиваются на трагикомедіи и такъ легко поддаются пародіи.

А. л. А. м.—вѣ.

что драматургъ - бытовичекъ великорусскій непремѣнно тянется по слѣдамъ Островскаго, Писемскаго, Потѣхина, Льва Толстого, въ скучномъ и утомительномъ ученичествѣ. Онъ не можетъ иначе, потому что плохо знаетъ и поверхностно понимаетъ быть. А вотъ — если бы г. Соллогубъ, вмѣсто неистово кровосмѣсительныхъ курьезовъ и небылицъ въ лицахъ, написалъ для сцены жизнь уѣзднаго города, какъ она изображена въ «Мелкомъ Бѣсѣ», то мы получили бы бытовую пьесу, способную сдѣлать эпоху въ русскомъ театрѣ. Потому что въ этомъ великолѣпномъ романѣ,—за исключеніемъ невѣроятныхъ и съ начала до конца придуманныхъ въ угоду блудному воображенію взяточника-модернизма, декадентскихъ дѣвицъ, — что ни фигура, то дышитъ жизнью, достойною красокъ Гоголя и лѣпки Достоевскаго. И—всѣхъ хоть цѣликомъ бери на сцену. Кончая читать романъ Соллогуба, я даже искренне сожалѣлъ автора, по предчувствію:

— Охъ, не извѣлся этому «Мелкому Бѣсу» настолько счастливо, чтобы какой-нибудь досужій мастакъ не передѣлалъ его въ представленіе.

Въ самомъ дѣлѣ, ужъ очень великъ соблазнъ для драматургическихъ дѣлъ закройщика: и быть, и настроеніе, и мистика, и сладострастіе, и—кого изъ дѣйствующихъ лицъ ни возьми,— «ролька-съ». И еще какія рольки-то-съ! За Людмилу въ кровь передерутся всѣ сорокалѣтнія ingénues со стилизаціей. За Марту—инженюшки безъ стилизаціи. Да ежели изъ гимназиста Саши сдѣлать этакую фигурку-травести, да Варвару оставить во всей ея неприкосновенности бытовой халды, да Ежиха—Стрѣльская, да Овечкинъ—Кондратій Яковлевъ... ай-ай-ай, какъ пьеска-то расходится! самое меньшее—на десять полныхъ сборовъ! А въ центрѣ, какъ дубъ опорный и корень успѣха, — психопатъ Передоновъ... настоящій, гастрольный психопатъ!—всю Россію съ нимъ можно объѣхать и даже въ Европу и въ Америку заглянуть по

орленевскимъ слѣдамъ. Эффектамъ конца нѣтъ: и нагишомъ раздѣваются для діонисовыхъ игръ, и галлюцинаціи, и маскарадъ, и пожаръ въ клубѣ, и убійство для финала... Нѣтъ, десяти сборовъ мало: накинь до двадцати, а то и всѣ три десятка!

Отъ души желаю г. Соллогубу избѣжать перелицовочнаго застѣнка, потому что написалъ онъ вещь крупную, полную глубокой правды и сильной мысли. Въ высшей степени было бы жаль, если бы стройная причудливость «Мелкаго Бѣса» должна была съежиться въ діалогическія схемы, въ родѣ хотя бы тѣхъ, которыя теперь завладѣли вниманіемъ русской театральной публики, подъ именемъ четырехъ главныхъ романовъ Достоевскаго: «Преступленіе и Наказаніе», «Идіотъ», «Братья Карамазовы», «Бѣсы». Какое несчастіе и позоръ для театра русскаго эта передѣлочная манія! какое униженіе интеллекта публики! какой жалкій и оскорбительный подмѣнъ художественно-философской мысли внѣшнею зрѣлищною схемою!

Homo Sapiens.

Г. Пшибышевскій для значительной части русской и польской молодежи—имя очень большое и авторитетное. Это не удивительно, потому что онъ несомнѣнно талантливъ и умѣетъ хорошо и красиво говорить слова громкія и страстныя, стоя въ позахъ эффектныхъ и грозно-романтическихъ. «Homo Sapiens», по отзывамъ поклонниковъ г. Пшибышевскаго, есть какъ бы его евангеліе жизни, а герой его, пресловутый Фалькъ,—геніальный сверхчеловѣкъ, идеаль къ достиженію, предложенный слабымъ смертнымъ: могій вмѣстити да вмѣстить... Съ другой стороны, у г. Пшибышевскаго имѣются антагонисты, утверждающіе, будто «Homo Sapiens» — произведеніе глубоко безнравственное, а Фалькъ—просто мерзавецъ, одержимый сатириазисомъ въ острой формѣ и насилующій женщинъ при всякомъ удобномъ къ тому случаѣ. Авторъ же —человѣкъ дурной морали, ибо очень доволенъ своимъ героемъ и пытается его поступки гнусные оправдать своими рѣчами искусными.

Я долженъ сознаться искренно, что не могу раздѣлить ни перваго взгляда, ни второго. О г. Фалькъ, требующемъ серьезнаго вниманія, потому что подражать ему нравится многимъ, я скажу два слова ниже. А покуда—о безнравственности романа. Это послѣднее обвиненіе—совершеннѣйшая клевета. Напротивъ, мое конечное впечатлѣніе—что г. Пшибышевскому удалось создать,—хотя бы и нечаянно,—одинъ изъ самыхъ высоконравственныхъ образцовъ дидактической беллетристики. И настолько въ

совершенствѣ, что «Номо Sapiens» слѣдовало бы включить въ бібліотеки обществъ трезвости и продавать на ларяхъ вмѣстѣ съ поучительными брошюрами о «Первомъ Винокурѣ» и — «Сердце пьяницы есть жилище сатаны». Оставимъ ницшеанцамъ доказывать, что «Номо Sapiens» есть евангеліе сверхчеловѣчества, оставимъ пуристамъ-старовѣрамъ вопіять, что «Номо Sapiens» есть апофеозъ бездѣльничества и обнаглѣвшаго въ лѣни свинства. И въ ту, и въ другую сторону можно построить много болѣе или менѣе убѣдительныхъ силлогизмовъ. Но не будемъ состязаться о спорномъ, остановимся на несомнѣнномъ: оснуемся на предлагаемой романомъ почвѣ осязательной, твердой и практической, станемъ на точку здраваго смысла. Тогда, равно отрѣшившись отъ миражей сверхчеловѣчества и отъ миражей торжествующаго свинства, мы сразу увидимъ, скрытую авторомъ въ символическихъ цвѣтахъ краснорѣчія, прикладную цѣль романа. «Номо Sapiens» г. Станислава Пшибышевскаго есть произведеніе антиалкоголическое и преслѣдуетъ совершенно тѣ же задачи и по тому же воспитательному методу, какъ спартанскіе педагоги показывали юношеству пьяныхъ илотовъ:

— Другой мой! удивляйся, но не подражай!

Можетъ показаться легкомысленнымъ и самонадѣяннымъ мое обѣщаніе отдѣлаться отъ сложной натуры Фалька «двумя словами ниже». Но дѣло въ томъ, что г. Фалькъ поставленъ авторомъ въ романѣ такъ странно, что не можетъ быть характеризованъ ни въ качествѣ сложной, ни въ качествѣ простой натуры. Всякая характеристика Фалька по роману «Номо Sapiens» незаконна и подлежитъ опротестованію. Несправедливо судить Фалька въ совершаемыхъ имъ дѣяніяхъ и произносимыхъ словахъ, ибо на 416 страницахъ романа онъ ни разу не является читателю въ состояніи полной вмѣняемости. Вся жизнь его въ романѣ разлагается на три фазиса: или онъ напивается, или онъ пьянъ, или, протрезвясь, страдаетъ тяжелымъ по-

хмѣлемъ и желаетъ повторно напиться. Какое же право имѣемъ мы составлять психологическія заключенія о г. Фалькѣ, никогда не выдавъ его въ своемъ видѣ? Единственное вполнѣ логическое заключеніе, которое читатель можетъ сдѣлать о Фалькѣ, по даннымъ Пшибшевскаго, съ полнымъ основаніемъ, это—что—Фалькъ «мужчина пьющій» (вотъ они и пришли «два слова ниже»!). А эта характеристика естественно отнимаетъ у Фалька его индивидуальность и отвѣтственность за оную, потому что—кому же неизвѣстно, что «сердце пьяницы есть жилище сатаны», а въ домахъ своихъ сатана распоряжается по шаблонамъ, весьма общимъ и хорошо изученнымъ—не только психіатрами, но даже батюшками, лечащими отъ запоя.

Дабы не остаться голословнымъ, прошу позволенія сдѣлать точный подсчетъ горячимъ напиткамъ, поглощеннымъ г. Фалькомъ на 416 страницахъ романа. Запилъ онъ на

Стр. 11. Чего ты хочешь? Пива? водки? Постой—мысль! У меня есть превосходное токайское.

Стр. 13. За здоровье твоей невѣсты! Осушили бутылку...

NB. Въ токайскомъ 16 проц. алкоголя!

Стр. 15. Вы всегда пьете коньякъ. Налить вамъ? Вѣдь у васъ, говорятъ, обычай пить коньякъ литрами...

NB. Въ коньякѣ, самомъ скверномъ, 60 проц. алкоголя!

Стр. 16. Фалькъ занимаетъ даму, которой только-что представленъ, повѣстью, какъ «мы пропьянствовали цѣлую ночь».

Стр. 17. Фалькъ констатируетъ фактъ, что — «публика даже не можетъ представить себѣ, какъ это (всенощное пьянство) часто случается съ жрецами искусства».

Стр. 20. «А не отправиться ли намъ, Микита, въ рестораны «Зеленаго Соловья»?

Стр. 21. Фалькъ въ сомнѣніи: влюбленъ онъ въ Изу или просто много выпилъ?

Стр. 21—31. Пивопитіе въ «Зеленомъ Соловьѣ» съ четырьмя отмѣченными авторомъ чоканьями.

НВ. Въ пивѣ отъ 8 — 12 проц. алкоголя!

Стр. 31 — 45. Нервное разстройство, половое раздраженіе и влеченіе къ Янинѣ; затѣмъ—реакція, путаница въ мысляхъ, глупые анекдоты...

Опытные питухи увѣряють, что именно таковы послѣдствія смѣшенія напитковъ, а Фалькъ, начавъ свой день токайскимъ, кончилъ пивомъ.

Стр. 45—51. Фалькъ не участвуетъ, и, гдѣ и сколько пьетъ,—поэтому,—неизвѣстно.

Стр. 53. Фалькъ пьетъ пиво. И, такъ какъ дѣйствіе происходитъ на танцевальномъ вечерѣ, то, конечно, не одинъ стаканъ — до

Стр. 63, когда онъ сидитъ съ Изою въ ресторанѣ и пьетъ бургундское на трехъ страницахъ!

НВ. Въ бургундскихъ винахъ 16 проц. алкоголя!

Стр. 67 — 76. Фалькъ блуждаетъ по городу и бредитъ, потому что «ничего не ѣлъ, только пилъ и пилъ»... Сомнѣнія Фалька, вовсе онъ пьянъ или еще нѣкоторая искра живая въ немъ теплится, разрѣшаются тѣмъ, что на стр. 76 его выводятъ изъ кафе «за неприличное поведение».

Стр. 76—90. Фалька нѣтъ. Антрактъ, чтобы проспаться и вытрезвиться.

Стр. 90—96. Фалькъ и Иза пьютъ вино въ ресторанѣ. Марка неизвѣстна. Отмѣтки автора: «жадно выпилъ», «жадно выпилъ». Трогательное воспоминаніе Фалька, какъ однажды онъ напоилъ жениха знакомой дѣвушки.

Стр. 96—105. Фалькъ съ Микитою въ ресторанѣ. Микита «дуетъ» абсентъ; что вливаетъ въ себя Фалькъ—не указано, но затѣмъ онъ опять блуждаетъ по городу, не отдавая себѣ отчета, «гдѣ онъ собственно находится»?

Стр. 106. «Онъ выпилъ бы пива».

Стр. 107. Онъ выпилъ пива.

Стр. 111. Опять потребность освѣдомиться, «гдѣ онъ собственно находится и не сошелъ ли онъ съ ума».

Стр. 112—122. Фалька нѣтъ.

Стр. 122. Фалькъ даже во снѣ видитъ, что они пьютъ съ Микитою!

Стр. 127—133. Фалька нѣтъ. О причинахъ смотри ниже, стр. 149.

Стр. 142. Подали вино. Марка опять неизвѣстна, но Фалькъ «выпилъ всю бутылку» уже къ—

Стр. 148. !!!...

Стр. 149. Фалькъ объясняетъ Марить, что вчера былъ пьянъ до безчувствія и не помнитъ, что говорилъ.

Стр. 150—164. Фалька мутитъ со вчерашняго, и— о чемъ бы онъ ни начиналъ говорить, все свернетъ на какой-нибудь пьяный скандалъ: исторія о пьяномъ въ гробу, исторія объ истребленіи портера (NB. 15 проц. алко-голя!), «какъ умѣемъ пить только мы, европейцы!»

Стр. 165. «Послушай, мама, есть у тебя коньякъ?»... Мать разсудительно напоминаетъ Фальку о скотницѣ, которая допилась до бѣлой горячки... Фалькъ, смѣясь, «выпилъ стаканъ коньяку», чего, конечно, совершенно достаточно для галлюцинацій на яву, которыя затѣмъ мучать его до—

Стр. 174. На этой же страницѣ онъ опять выпилъ коньяку, сталъ сладострастно мечтать о Марить, «пилъ и становился все сантиментальнѣе».

Стр. 175—176. Забылъ, какъ зовутъ его жену!!!

Стр. 177. Заснулъ, сидя за коньякомъ.

Стр. 188—199. Фалька нѣтъ.

Стр. 200. Отецъ Марить сожалѣетъ, что Фалькъ «эти дни страшно пьетъ. Будетъ жаль, если онъ погубитъ себя этимъ пьянствомъ».

Стр. 201—219. Обѣдъ у ландрата, послѣ котораго (обѣда) «Фалькъ былъ немного возбужденъ» и находился

подъ давлєніємъ «напряженной чувственной атмосферы»...
Поцѣлуи съ Марить...

Стр. 224—229. Чувственный бредъ того же вечера.

Стр. 230. «Не выпить ли еще стаканчикъ пунша у Флаума?»

Стр. 231—237. Пьянство на цѣлую ночь! «Пили очень много».

Стр. 238. «Марить, нѣтъ ли у васъ чего-нибудь выпить?»

Стр. 239—249. Напился, обезчестилъ Марить, шлялся подъ бурею...

Стр. 250. «Жадно выпилъ большой стаканъ коньяку».

Стр. 251. «Налей мнѣ еще коньяку!»

Стр. 251—260. Фалька нѣтъ.

Стр. 261. «Тебѣ нельзя пить такъ много грога, Эрикъ!»

Стр. 262. «Такъ хорошо сидѣть и пить одинъ стаканъ за другимъ...»

Довольно продолжительный антрактъ въ спиртныхъ напиткахъ, вызываемый присутствіемъ анархиста Черскаго, который, повидимому, человѣкъ серьезный и «не потребляетъ...» Но уже на—

Стр. 288. «Налилъ себѣ большой стаканъ коньяку и выпилъ его залпомъ».

Стр. 290. «Позвольте мнѣ освѣжить свое горло коньякомъ!»

Стр. 292. «Снова выпилъ полный стаканъ».

Стр. 293. «Можетъ быть, стаканъ коньяку?»

Стр. 295. «Неужели вы серьезно не хотите коньяку?»

Стр. 296. «Не выношу людей, которые не пьютъ!»

Стр. 296—300. Бредъ послѣ коньяку.

Стр. 306—314. Фалька нѣтъ.

Затѣмъ, какъ опредѣляетъ г. Пшибышевскій, для Фалька начинается «Мальстремъ» — водоворотъ «безстыднаго мозга...» «Мальстремъ» — это слова искусныя,

которые призываются покрывать факты гнусные: въ общежитіи состояніе Фалька называется гораздо проще,— по-русски — бѣлою горячкою, а по-латыни — *delirium tremens*. Сознавая себя полубезумнымъ, Фалькъ, все-таки, на—

Стр. 338. Пьеть пиво.

Стр. 342. «Принеси бутылку коньяку»!.

Стр. 343. «Мы предавались ужасному распутству и много пили».

Стр. 346. «Мы сидѣли совсѣмъ тихо и пили».

Стр. 351. «Фалькъ заказалъ вина».

Стр. 357. «У него ежеминутно темнѣло въ глазахъ, и онъ каждый разъ хватался за стаканъ съ виномъ».

Стр. 378—379. Пьютъ вино съ Изой...

Всѣхъ страницъ въ романѣ, повторяю, 416... *Sapientia*! Пропѣяньствовавъ 380 страницъ, мудроно дѣйствовать трезво на остальныхъ 36!

Если прибавить къ этому, что Фальку всего 26 лѣтъ, то, я полагаю, читателю будетъ вполне ясно, почему я отказываюсь видѣть въ Фалькѣ «характеръ», обреченный восторгамъ ли, поношенію ли. Въ такіе молодые годы и при такомъ страшномъ количествѣ поглощаемого алкоголя, могутъ ли быть рѣчи о вмѣняемости поступковъ Фалька? Предъ нами просто спившійся съ круга мальчикъ, у котораго непробудное пьянство отнимаетъ способность владѣть своими мыслями, своею волею, своими нервами, своею половую системою... Состояніе Фалька патологическое и опредѣляется очень точно «алкоголическою неврастеніей», которой результатами весьма часто бываютъ именно тѣ «необъяснимые» капризы и бѣшеные порывы скоро преходящаго полового неистовства, въ какихъ проводить свое «поэтическое», но пьяное существованіе г. Фалькъ.

Состояніе этихъ порывовъ и капризовъ описано г. Шибышевскимъ съ большимъ талантомъ и знаніемъ

дѣла, такъ что впечатлѣніе получается потрясающее: пьяный илотъ вырастаетъ огромнымъ призракомъ, и сквозь покровы его тѣла испуганный читатель ясно видитъ страшно раздутую печень (есть такая картинка для народа — «Внутренности пьяницы!») и бычье, пивное сердце, которое есть жилище сатаны.

Откровенно говорю, я не совсѣмъ вѣрю въ амурныя преступленія г. Фалька. По тремъ причинамъ:

Первая: на страницѣ 155—онъ самъ предупреждаетъ:

— Вы не должны придавать значенія абсолютно ничему, что я говорю въ пьяномъ видѣ; тогда именно я имѣю обыкновеніе сочинять.

Существуетъ такой спеціальный типъ пьяницы съ половымъ бредомъ самообвиненія. Вдругъ человѣкъ ни съ того, ни съ сего сплететъ вамъ коснѣющимъ языкомъ, что онъ изнасиловалъ малолѣтнюю нищую, живетъ съ родною сестрою, обольстилъ невѣсту друга, у котораго былъ шаферомъ... А по точномъ изслѣдованіи оказывается, что малолѣтней нищей лѣтъ 35, и совсѣмъ она не нищая, а собственная экономка рассказчика на ежемѣсячномъ его иждивеніи и съ ключами по хозяйству, насиловать которую для него — все равно, что ломиться въ открытую дверь своей квартиры; что сестеръ у рассказчика никогда не бывало, а это у персидскаго царя Камбиза была сестра, въ которую тотъ, дѣйствительно, влюбился, тоже съ большого перепоя; и что, наконецъ, мнимая невѣста друга fait la pose только въ спеціальному парижскомъ смыслѣ слова, ибо спокойно жительствоетъ въ «пансіонѣ безъ древнихъ языковъ»... Любопытно, что психіатры, какъ Крафтъ-Эбингъ, видятъ въ этой самообвиняющей болтовнѣ результаты... слабой половой дѣятельности пьющихъ людей! Фантазія пополняетъ ихъ жизнь воображаемыми пороками, на которые неспособно тѣло. Сильно сомнѣваюсь я, не того ли же фантастическаго происхожденія криминальныя побѣды.

Фалька? Есть одна маленькая физиологическая черточка, которая укрѣпляет мой скептицизмъ, и это—причина вторая.

Мужчины, пьющіе коньякъ и пиво въ столь неограниченномъ количествѣ, какъ уничтожаетъ ихъ Фалькъ, обыкновенно въ самомъ скоромъ времени пропитываются спиртнымъ запахомъ настолько, что дамѣ, которая сама не дура выпить, какъ Иза, они,—пожалуй, еще куда ни шло,—могутъ быть иногда не противны. Но къ дѣвицамъ, столь чистымъ и благоуханнымъ, какъ Маритъ, имъ лучше не приближаться: «винищемъ отшибаетъ!» Барышни рѣдко любятъ, чтобы въ лицо имъ дышали перегорѣлымъ спиртомъ.

Причина третья.

Съ Фалькомъ ли было все, что о немъ рассказывается? Дѣло въ томъ, что у Фалька, какъ у многихъ образованныхъ пьяницъ, сильно обострена литературная память. Поэтому онъ постоянно видитъ себя въ позиціяхъ разныхъ героев старой беллетристики, хотя г. Пшибышевскій и забываетъ назвать ихъ по имени. Особенно богато начитался Фалькъ «Бѣсовъ», «Преступленія и наказанія» и «Братьевъ Карамазовыхъ»... Ставрогинская дуэль, знаменитая подпись самоубійцы-Кириллова «un citoyen cosmopolite, un citoyen du monde entier», ожиданіе Верховенскимъ, какъ застрѣлится Кирилловъ, діалоги Раскольникова съ Свидригайловымъ, Ивана Карамазова съ чортомъ, сцена Раскольникова, когда внезапно вырастаетъ передъ нимъ пришедшій просить прощенія обличитель-мѣщанинъ, Смердяковщина и пр.—продѣлываются Фалькомъ и сопутствующими ему Гродскими, Черскими, Незнакомцами съ замѣчательно добросовѣстною начитанностью, съ почти рабскою точностью. Иногда кажется, будто читаешь не оригинальный романъ г-на Пшибышевскаго, но просто изложенный короткими, обрывистыми фразами стенографическій compendium трехъ знаменитыхъ романовъ

Достоевскаго. Впрочемъ, это роковое и невыгодное для автора сходство выступаетъ ярко только въ третьей части (Мальстремъ). Ею, судя по предисловію, г. Пшибышевскій остался самъ недоволенъ и сократилъ ее для польскаго изданія противъ первоначальнаго нѣмецкаго оригинала.

Но, будучи послушнымъ подражателемъ Достоевскаго въ анализѣ психическихъ аномалій, Станиславъ Пшибышевскій упустилъ изъ виду, что каждая изъ аномалій, изображенныхъ Достоевскимъ, имѣетъ естественный интересъ общественной загадки, происхожденіе которой долженъ найти читатель по даннымъ и намекамъ автора, въ самой природѣ больного и окружающей его средѣ. Аномаліи-же Фалька проявляются въ печальномъ и искусственномъ состояніи, дающемъ, уже само-по-себѣ, полнѣйшую ихъ физическую разгадку. Герои Достоевскаго — люди больной, но трезвой мысли, отравленной жизнью. Фалькъ — человекъ жизни, больной пьянствомъ, органически «отравленной алкоголемъ», какъ говоритъ Актеръ въ «На днѣ» Горькаго. Не «организмъ», но «органонъ» веселаго Сатина. «Номо Sapiens» — патологическій этюдъ изъ нравовъ лечебницы для алкоголиковъ. Продолживъ нѣсколько черты рисунка, насмѣшливая рука карикатуриста или пародиста, въ самомъ дѣлѣ, можетъ очень легко превратить романъ Пшибышевскаго въ нравоученіе о жилищѣ сатаны. Въ одномъ мѣстѣ самъ Пшибышевскій подчеркиваетъ саркастическій смыслъ заголовка «Номо Sapiens», что и естественно: какъ художникъ по натурѣ, авторъ не можетъ не замѣчать фальши въ романтическомъ ореолѣ, какимъ онъ окружилъ было эксцессы своего героя, и не понимать истиннаго ихъ происхожденія. «Номо Sapiens» — кличка ироническая. Положительнымъ же заголовкомъ, обстоятельно выражающимъ содержаніе и смыслъ этого произведенія, могъ бы явиться

такой титулъ, во вкусъ англійскихъ сатирическихъ романовъ XVIII вѣка:

Жизнь и похождения по пьяному дѣлу дворянна Эрнка Фалька,

*съ присовокупленіемъ точнѣйшаго прейсъ-куранта
поглощенныхъ имъ напитковъ, съ описаніемъ вѣхъ
его излишествъ и скандаловъ и,*

н а к о н е ц ъ,

*печальнаго умственнаго разслабленія подъ вліяніемъ
алкоголя.*

Таковъ психологическій капиталъ романа. Что касается приписываемаго ему общественнаго значенія, то—какую же общественную идею можно построить на почвѣ столь ярко и опредѣленно выраженнаго патологическаго состоянія? Единственнымъ общественнымъ указаніемъ, которое фигура Фалька даетъ читателю, становится вполнѣ справедливая рекомендація, принятая, какъ девизъ, всѣми обществами трезвости:

— Братіе, не упивайтесь виномъ, въ немъ-бо есть блудъ!

Но это воззваніе много раньше г. Шибышевскаго уже обратилъ къ обществу апостолъ Павелъ. И гораздо короче и выразительнѣе!

Протестъ В. П. Санина.

Читаль романъ, написанный обо мнѣ г. Арцыбашевымъ. Много неточностей.

На первой же страницѣ г. Арцыбашевъ увѣряетъ, будто у меня—«свѣтловолосая фигура, съ насмѣшливымъ выраженіемъ лица».

О насмѣшливомъ выраженіи лица не спорю, но откуда г. Арцыбашеву извѣстно, что у меня свѣтловолосая фигура?

Я съ г. Арцыбашевымъ вмѣстѣ не купался. Какіе волосы на моей фигурѣ—этого онъ знать не можетъ. Да и не въ правѣ рассказывать. Да и никому нѣтъ дѣла до этого. Можетъ, и вовсе никакихъ волосъ нѣтъ.

Сестра Лида (она, конечно, вышла замужъ за Новикова, но попрежнему вѣшается на шею каждому встрѣчному) защищаетъ г. Арцыбашева, будто онъ употребилъ здѣсь слово «фигура» въ смыслѣ французскаго «figure», т. е. хочетъ сказать, что у меня лицо обросло свѣтлыми волосами.

Да—что я, мальчикъ-левъ изъ паноптикума, что ли?

И, при томъ, въ одной критической статьѣ я читаль, будто г. Арцыбашевъ—литературная сила, Льву Толстому равная. Развѣ Львы Толстые пишутъ такъ по русски:

— Липо съ выраженіемъ лица?

Невѣроятно. Правда, г. Арцыбашевъ пишетъ: «Она

не хотѣла презираться», «земля зарылась» и пр. Но все же не до «лица съ выраженіемъ лица».

Лидка вретъ, по своей преступной слабости къ новому мужчинѣ.

А г. Арцыбашеву стыдно. Если даже и подглядѣлъ, то зачѣмъ диффамировать?

Я очень извиняюсь предъ урожденною дѣвицей Карсавиной (нынѣ моею законною супругой), что въ романѣ «Санинъ» появилось подробное описаніе тѣлесъ ея въ полномъ обнаженіи. Но, право же, г. Арцыбашевъ наклеветалъ на меня, будто это я ему съ Ивановымъ показывалъ.

Согласитесь, что показывать пріятелямъ любимую дѣвушку въ голомъ видѣ, да еще комментировать ея тѣлосложеніе, въ состояніи только совершеннѣйшая двуногая свинья.

Между тѣмъ, самъ же г. Арцыбашевъ, хотя и взводитъ на меня съ непонятными цѣлями рядъ весьма гнусныхъ поступковъ, не только не почитаетъ меня свиньей, но даже предлагаетъ почтеннѣйшей публикѣ принять меня въ нѣкоторомъ родѣ за идеалъ, видѣть во мнѣ настоящаго нормальнаго человѣка здороваго будущаго. Самъ же Арцыбашевъ увѣряетъ, будто «Санинъ идетъ на встрѣчу солнцу».

«Я въ этотъ міръ пришелъ, чтобъ видѣть солнце» — а, вмѣсто того, подглядываю купающихся барышень? Да еще, если бы только подглядывалъ, а то и примѣты ихъ потомъ рассказываю.

Недоставало только, чтобы г. Арцыбашевъ снабдилъ меня фотографическимъ аппаратомъ.

Самъ подглядитъ, а на меня сваливаетъ!

И мою свѣтловолосую фигуру—онъ!

И Карсавину—онъ!

А меня въ то время даже и на рѣкѣ-то не было.

Я спокойно сидѣлъ дома и училъ фоксъ-терьера Милля служить на заднихъ лапкахъ.

Милль — странное имя для собаки. Думаю, что г. Арцыбашевъ далъ его нашему фоксъ-терьеру въ утѣшительное напоминаніе нашей романтической компаніи, что не всегда же одни дураки на землѣ были, жилали на ней временами и умные люди. Но все же грустенъ мнѣ этотъ Милль. И даже обиденъ нѣсколько.

Одинъ порядочный человѣкъ во всемъ романѣ, да и тотъ фоксъ-терьеръ!

Распустилъ г. Арцыбашевъ обо мнѣ сквернѣйшій слухъ, будто я угрызаясь озлобленіемъ тѣлеснымъ по адресу родной моей сестры Лидіи Петровой дочери, урожденной Саниной, а нынѣ, въ замужествѣ, Новиковой.

Ложь и клевета.

Если бы что-нибудь подобное было, ужели я позволилъ бы себѣ обзывать сестру мою «кобылою»? Развѣ это — средство понравиться женщинѣ? Говорятъ, будто подлиповцы ухаживаютъ за своими Апроськами въ такомъ именно непринужденномъ тонѣ. Но вѣдь я же не подлиповецъ, чортъ возьми. Я пришелъ въ этотъ міръ, чтобы видѣть солнце!

Кобыла!.. Если сестра моя кобыла, то кѣмъ же я-то выхожу по конской табели о рангахъ, — позвольте спросить? Ампула «жеребца» занято Зарудинымъ, ампула мерина — Сварожичемъ, который «лѣзь, но не могъ»... По закону исключенія третьяго, прикажете мнѣ, что ли, расписаться осломъ? Не желаю!

Лидя влюблена въ г. Арцыбашева. Но и она непріятно смущена отмѣткою г. Арцыбашева, будто «отъ нея пахло запахомъ женщины, возбужденной до крайняго напряженія».

— Это ужасно! — плачетъ она, — неужели такъ слышно? И никто изъ близкихъ не скажетъ... Осрамилась передъ чужимъ человѣкомъ... Какъ хотите, мамаша, но

пожалуйте мнѣ, въ счетъ невыплаченнаго приданаго, три рубля на цвѣточный одеколонъ.

У мужа спросить не рѣшается. Скупой.

Мамаша, изъ экономіи, тоже божится, что ничего не слышно, и г. Арцыбашевъ просто наклеветалъ на Лиду по ревности къ Зарудину. Но та не вѣритъ.

— Нѣтъ, говорить, не можетъ того быть. Еще—если бы онъ написалъ только «пахло», куда бы ни шло. А то, вѣдь,—«пахло запахомъ». Значить, настолько я его ошибла, что до плеоназма растерялся... Пожалуйте три рубля на цвѣточный одеколонъ.

И чорту Лида не собиралась отдаваться. Зачѣмъ? На ея вѣкъ мужчинъ хватить! Да еще и возьметъ ли чортъ-то? Не того поля ягода.

Сплетни г. Арцыбашева относительно моего, будто бы, любовнаго влеченія къ сестрѣ Лидѣ мнѣ тѣмъ не-приятнѣе, что въ настоящее время я вступилъ въ законный бракъ съ дѣвицею Карсавиною (надо быть великодушнымъ!) и занимаю весьма хорошее мѣсто въ страховомъ обществѣ «Надежда». Супруга моя весьма ревнива. Читатель самъ можетъ судить, въ какой адъ обращаетъ г. Арцыбашевъ мой семейный очагъ своими коварными инсинуаціями. Зять мой Новиковъ холоденъ со мною, какъ зима сибирская. Ворчить:

— Ты, братъ, на Зарудина только валилъ съ больной головы на здоровую. Теперь я понимаю, зачѣмъ ты сводилъ меня съ Лидкою и уговаривалъ жениться на ней... Арцыбашевъ, спасибо ему, открылъ мнѣ глаза, въ доскональности знаемъ мы, гдѣ раки зимуютъ. Ты и Зарудина-то зачѣмъ убилъ, чтобы концы въ воду... И совсѣмъ я не желаю того, чтобы у меня, вмѣсто сыновей, рождались какіе-то племянники.

Вообще, г. Арцыбашевъ какъ будто задался нарочною цѣлью устроить вокругъ меня пустыню. Со студенчествомъ онъ поссорилъ меня на похоронахъ Сварожича.

За что? Положимъ, что на похоронахъ я вель себя, дѣйствительно, по-свински. Но могъ бы, кажется, г. Арцыбашевъ понять, что все это вышло по пьяному дѣлу. Мы съ Ивановымъ тогда на могилѣ, по любезному приглашенію г. Арцыбашева, такъ надрызгались пивомъ, что перестали выговаривать папу-маму. А передъ тѣмъ— въ монастырѣ. А передъ тѣмъ—на рѣкѣ. А передъ тѣмъ— у Зарудина. А передъ тѣмъ еще у кого-то. Если человѣкъ хлещетъ водку и пиво 333 страницы, понятное дѣло, что къ 334-й у него на языкѣ не останется другихъ словъ, кромѣ ругательныхъ. Еще хорошо, что я покойника только дуракомъ обругалъ, могъ бы пустить и по всѣмъ тремъ этажамъ.

— Пьянаго поддержи! сказала Заратустра, а г. Арцыбашевъ, взявъ того, толкаетъ меня въ бездну. Что хорошаго? Госпожа Дубова и студенчество говорятъ, что я подлецъ. А Карсавина, хоть и вышла за меня замужъ, но, право, кажется, только затѣмъ, чтобы точить меня и укорять достоинствами покойнаго Сварожича, котораго-де я мизинца не стою. И, если я, въ самозащиту, осмѣлюсь напомнить ей, какъ Сварожичъ «лѣзь, но не могъ», она зычно вопить на меня богатымъ своимъ голосомъ:

— А у васъ съ родной сестрой шуры-муры были!.. Сварожичъ-то свою сестру даже отъ Рязанцева оберегалъ, а вы... у-у-у! господину Арцыбашеву о васъ все извѣстно.

И она... ужасно сильная. Разойдется,—не унять.

И затѣмъ только я женился на такой Бобелинѣ? Проклятое великодушіе! Ужъ лучше бы на Лялѣ Сварожичъ жениться... по крайней мѣрѣ, маленькая... я бы ее дулъ, а не она меня.

Да! Студенчество—ау! Со службы, того гляди, выгонять за скверную репутацію. Съ офицерствомъ нелады опаснѣйшіе. Потому что г. Арцыбашевъ совсѣмъ

ни съ чѣмъ не сообразно пропечаталъ нашу исторію съ покойнымъ Зарудинымъ. Помилуйте, гдѣ же это—въ какой странѣ, въ какой державѣ—было слыхано и видано, чтобы офицера публично избили и до самоубійства довели, а товарищамъ офицера оно—какъ съ гуся вода? Даже злорадствуютъ и смакуютъ подробности... Такое всепрощающее офицерство давно рассказировали бы по полкамъ. А, при офицерствѣ, какъ оно есть, мнѣ бы и трехъ дней живымъ не быть. Съ тѣхъ поръ, какъ вышелъ въ свѣтъ романъ «Санинъ», я пребываю въ непрерывномъ страхѣ, живу, стеной и трясыйся, яко Каинъ, и на улицѣ, чуть завижу издали офицерскую фуражку, спѣшу свернуть въ переулокъ или проходной дворъ. Ну, за что г. Арцыбашевъ создалъ мнѣ такое несчастье? Вѣдь ему же очень хорошо извѣстно, что Зарудинъ былъ совсѣмъ не офицеръ, а только околоточный надзиратель. Такъ, нѣтъ, не изящно, видите ли, нуженъ офицеръ. А изящно будетъ, какъ меня—за честь мундира—станутъ бить смертнымъ боемъ? Съ околоточнымъ-то—что? Не великъ панъ: онъ меня въ ухо, я его въ рыло, и квиты, пошли вмѣстѣ водку пить. И совсѣмъ не изъ-за меня застрѣлился Зарудинъ, а у него политическій подконвойный сбѣжалъ. Да и застрѣлился-то онъ не пулею, но клюквою, чтобы только начальству видъ зримости показать. Да и не умеръ, а въ Питерѣ живетъ и въ газету «Россія» передовыя статьи пишетъ, а въ «Новомъ Времени» редактируетъ отдѣлъ конскаго спорта. Да и не Зарудинъ онъ, а Сыромятниковъ. Вотъ какъ г. Арцыбашевъ пишетъ исторію! А я—страдай!

И никакой Волошинъ къ намъ не пріѣзжалъ. То есть, пріѣзжать-то онъ пріѣзжалъ, но былъ онъ не Волошинъ, но Арцыбашевъ. Волошинымъ же назвался только ради псевдонима, чтобы блеснуть очаровательнѣе. Обрадовался случаю, что завелся на Руси г. Максиміанъ Волошинъ, поэтъ и критикъ, съ направленіемъ

мыслей, коего я,—какъ сказалъ бы тургеневскій помѣщикъ Алупкинъ, своей бурой кобылѣ не пожелаю. И произвелъ подлогъ личности, чтобы самому остаться въ сторонѣ. Небось, меня, бѣднаго Санина, такъ Санинымъ и вывелъ, а самъ за Волошина спрятался. Вотъ онъ какой! Не позволю и разоблачу.

Установлю единство міровоззрѣнія!

Волошинъ: «Неизмѣнно голая, неизмѣнно возможная, женщина стояла передъ Волошинымъ во всѣ мгновенія его жизни, и каждое женское платье, обтянутое на гибкомъ, кругло полномъ тѣлѣ самки, возбуждало его до болѣзненной дрожи въ колѣнахъ. Когда онъ ѣхалъ изъ Петербурга, гдѣ оставилъ множество роскошныхъ и холеныхъ женщинъ, еженощно мучившихъ его тѣло изступленными нагими (?) ласками, и впереди вставало передъ нимъ сложное и большое дѣло, отъ котораго зависѣла жизнь множества людей, Волошину прежде всего и ярче всего была (что, чѣмъ была?) откровенная мечта о молоденькихъ, свѣжихъ самочкахъ провинціальной глуши».

Не чувствуется ли вамъ въ семъ міровоззрѣніи весь романъ г. Арцыбашева?

Писателя сейчасъ ждетъ къ себѣ Россія именно для того, чтобы слышать отъ него о «сложномъ и большомъ дѣлѣ, отъ котораго зависить жизнь множества людей». А г. Арцыбашевъ приходитъ къ Россіи, чтобы поговорить съ нею о «молоденькихъ, свѣжихъ самочкахъ провинціальной глуши».

Самочка Лида.

Самочка Ляля.

Самочка Карсавина.

Безыменная самочка, внучка старичка-бахчевника. «Повѣришь ли, простыхъ бабъ не пропустилъ!»—восхищался нѣкогда досужествами нѣкоего поручика Кувшинникова нѣкто, по фамиліи Ноздревъ.

Марья Ивановна (мамаша моя съ Лидою)—не токмо самка, но даже—«вотъ животное»!

И—кромѣ «самочекъ», нѣтъ женщинъ, кромѣ самоchyго, нѣтъ другого женскаго интереса во всемъ романѣ г. Арцыбашева. Правда, одна женщина нашла моментъ, чтобы крикнуть идеальному герою г. Арцыбашева:

— Это подло!

Но вѣдь г. Арцыбашевъ не замедлилъ показать намъ, что кричать «это подло» было со стороны женщины глупо.

Съ волошинской точки зрѣнія, то есть, какъ «самочку», разсматриваютъ женщину рѣшительно всѣ интересные мужчины, о которыхъ повѣствуетъ г. Арцыбашевъ.

У *Новикова*—«отъ головы до пятъ такъ и написано одно желаніе—взять Лиду».

Зарудинъ—мечтаетъ, какъ «эта гордая, умная, чистая и начитанная дѣвушка будетъ лежать подъ нимъ», а потомъ онъ отдеретъ ее хлыстомъ.

Рязанцевъ—будучи женихомъ цѣломудренной Ляли, приглашаетъ брата ея отправиться совмѣстно въ публичный домъ.

Сварожичъ:—«Съ перваго же вечера въ немъ выросла жестокая жажда лишить Карсавину чистоты и невинности, какъ выростала эта неумолимая жажда при видѣ *всѣхъ* красивыхъ женщинъ».

«Ночью ему снились сладострастные и солнечныя картины, молодыя и красивыя женщины».

«Невысокія груди, круглыя плечи, гибкія бедра мелькали предъ его глазами, и голова его *сладко* закружилась въ *сладострастномъ* восторгѣ».

НВ. Сладко... сладострастно... не слогъ, а кондитерская!

Сварожича г. Арцыбашевъ не полюбилъ и даже «остерегается называть его человѣкомъ». Сварожичъ виновать въ томъ, что сохранилъ устарѣлый предразсудокъ,

будто «изнасиловать женщину—отвратительно». Тѣмъ не менѣе находить «интереснымъ психологическимъ вопросомъ», какъ это дѣвушка рѣшилась остаться съ нимъ наединѣ. Дѣвушка говоритъ: «Да вѣдь вы же порядочный человѣкъ?»—Сварожичъ возражаетъ: «Напрасно вы такъ думали»... А, нѣсколькими часами позже, онъ уже «лѣзетъ, но не можетъ». *Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas!*

Ивановъ (любимецъ г. Арцыбашева, — устами его *ipse dicit*):

«Женщина—самка, и это прежде всего! Среди мужчинъ хоть одного на тысячу еще можно найти такого, который заслужилъ названіе человѣка, а женщины... ни одной между ними!.. Голыя, розовыя, жирныя, безхвостыя обезьяны, вотъ и все!»

Справедливость требуетъ отмѣтить тотъ фактъ, что впослѣдствіи сей Ивановъ, все-таки, упирался и стѣснялся подглядывать купающихся барышень, но г. Арцыбашевъ, — какъ я говорилъ уже выше, — обманно дѣйствуя отъ моего имени, и его вовлекъ въ сей соблазнъ.

И, наконецъ, самъ богъ изъ боговъ, самъ Санинъ... Не я, Владимиръ Санинъ, а тотъ лже-Санинъ, котораго г. Арцыбашевъ сдѣлалъ моимъ двойникомъ, какъ нѣкогда Достоевскій подарилъ господину Голядкину старшему господина Голядкина младшаго..

Родная сестра для Санина—«кобыла».

Прогулка съ родною сестрою для Санина—безцѣльна, такъ какъ Лида не хочетъ забыть, что Санинъ—ея братъ и, слѣдовательно, для насъ—«не мужчина».

Самое любимое занятіе Санина—уговаривать кого-нибудь, чтобы тотъ спутался съ его сестрою, а ему, Санину, было бы на что посмотреть. Уговариваетъ сестру идти на сцену—не потому, что талантъ и голосъ есть, а потому, что «каждой женщинѣ пріятно, чтобы любовались ея тѣломъ *прежде всего*».

Увѣренъ, что *каждому* человѣку, опять *прежде* *всего*, хочется «сотворить прелюбы».

Вѣднякъ, будь честенъ и трудись,
Трудись прежде всего,—

училъ когда-то великій поэтъ изъ народа, шотландскій Кольцовъ, Робертъ Бѣрънъ.

Мы съ г. Арцыбашевымъ — nous avons changé tout cela!—и проповѣдуемъ:

Смакуй клубнику и ярься,
Ярься прежде всего!

Ярься на каждую мимо мелькающую юбку, не разбирая ни возраста, ни родства, свойства. И—да будетъ надъ тобою благословеніе поручика Кувшинникова, пишущаго нынѣ подъ псевдонимомъ г. Арцыбашева, и одобряемаго Ноздревымъ, и перевоплотившимся въ псевдо-Санина.

Таковъ положительный кодексъ героевъ г. Арцыбашева. Вы видите, что онъ напрасно прятался за псевдонимомъ какого-то пріѣзжаго Волошина. Всѣмъ мужчинамъ, родившимся въ воображеніи г. Арцыбашева,—Санину, Иванову, Рязанцеву, Зарудину, Волошину, Сварожичу, всѣмъ одинаково «мо-мо не разводи, а подавай самое настоящее!» И, кромѣ «самаго настоящаго», никто изъ нихъ ни о чемъ въ жизни не заботится и ничего понимать не хочетъ!

Посмотримъ теперь, что отрицаютъ эти господа и что относятся они къ презрѣнной области отвергаемаго мо-мо.

Санинъ: «Если бы тебѣ всю жизнь такъ упорно лѣзли подъ ноги эти *вольнoлюбивыe* молодые люди, такъ ты бы и не такъ ихъ пугнулъ».

НВ. Нѣсколькими строками выше тѣ же *вольнoлюбивыe* молодые люди именуются «глупыми и сантиментальными мальчишками».

Ивановъ: «Что хочу, что могу, то и дѣлаю. Счастье не въ томъ, чтобы на каждомъ шагу спрашивать себя: хорошо ли я сдѣлалъ? нѣтъ ли отъ этого кому-нибудь вреда?»

Господа Кувшинниковы—на собраніи, изыскивающимъ средства «культурной пропаганды»:

Санинъ: «Я-то не знаю, зачѣмъ сюда забрался. Говорили, тутъ пиво будетъ?»

Встрѣча съ крестьянами: «Санинъ зналъ этихъ людей, живущихъ какъ скоты и не истребившихъ до сихъ поръ ни себя, ни другихъ, а продолжающихъ влечить скотское существованіе въ смутной надеждѣ на какое-то чудо, въ ожиданіи котораго умерли уже милліарды имъ подобныхъ». И, когда рядомъ стонетъ о горѣ своемъ мужикъ, *знающій* Санинъ—«всталъ и ушелъ на другое мѣсто».

Санинъ: «Тѣмъ фактомъ, что мы живемъ, исполняемъ наше назначеніе».

Семеновъ: «Что мнѣ Бебель, Толстой и милліоны другихъ, кривляющихся ословъ?»

Санинъ: «Хотѣлъ читать Нитцше, но съ первыхъ страницъ ему стало досадно и скучно.

Онъ плюнулъ и, бросивъ книгу, моментально заснулъ».

Санинъ: «Я мерзавцу съ особеннымъ удовольствіемъ пожму руку».

Санинъ: «Смотрю я на тебя и думаю: вотъ чловѣкъ, который, при случаѣ, способенъ за какую-нибудь конституцію въ російской имперіи сѣсть на всю жизнь въ Шлиссельбургъ, лишиться всѣхъ правъ, свободы, всего... А казалось бы, что ему конституція?»

Санинъ: «Мнѣ до другихъ, право, нѣтъ ни малѣйшаго дѣла. Это самая хорошая правда, которую я знаю».

И такъ далѣе.

Въ юношѣ, съ испорченнымъ воображеніемъ, сохра

нилось, однако, настолько порядочности, что, чувствуя себя бессильнымъ бороться противъ скверныхъ инстинктовъ, онъ предпочитаетъ роковому превращенію въ двуногую свинью—казнить себя самоубійствомъ.

Санинское резюме: «Однимъ дуракомъ на свѣтѣ меньше стало».

Молодой еврей, идеалистъ, изстрадавшійся хорошею, честною душою въ сомнѣніяхъ и мукахъ любвеобильной скорби по человѣчеству, ждетъ слова участія, поддержки, луча новыхъ надеждъ. Отвѣтъ: «Вы мертвый человѣкъ, а мертвецу мѣсто въ могилѣ». Еврей послушался и повѣсилъ. Эпитафія: «Слякоть—больше ничего!»

Словомъ, кромѣ «самочки», нѣтъ ни единого устоя и ни единого серьезнаго интереса въ жизни, ради котораго стоило бы человѣку влечить свое существованіе. Любовь къ свободѣ—ерунда; состраданіе и осторожность въ отношеніяхъ къ ближнему—пошлость; социализмъ—кривляніе, геній—плевка стоитъ, классовая борьба—чепуха; политическое движеніе—безсмыслица; міровая скорбь—слякоть; мужикъ—скоть... Все на свѣтѣ—мо-мо, которое не стоитъ разводить, а самое настоящее—лишь одно: посмотрѣть на голую женщину и, по возможности, какъ въ старину Іона Циникъ выражался, «среди прелестнѣйшихъ долинъ сыграть любви съ ней пантоминъ».

Такого рода отрицанія мы слыхивали, конечно, и раньше, но не со страницъ передовыхъ журналовъ и не изъ устъ молодыхъ писателей. Раньше этика санинская проповѣдывалась преимущественно въ томъ избранномъ и высоко идейномъ кругу общества, который какой-то анекдотическій Санинъ-senior характеризовалъ: «Не величка, але честна компанія: жандармъ, участковый при-тавъ, двѣ дѣвки и я». Но вѣдь невеличка, але честна компанія, по крайней мѣрѣ, просто пьянствовала и развратничала, не увѣряя, будто она идетъ навстрѣчу солнцу.

Ради Бога, г. Арцыбашевъ, отговорите своего лже-Санина идти навстрѣчу солнцу. А то солнце еще свернетъ съ пути по нежеланію съ г. Санинымъ встрѣтиться, и выйдетъ астрономическій кавардакъ хуже, чѣмъ въ «Апокалипсисѣ» Н. А. Морозова.

Лже-Санинъ у г. Арцыбашева заявляетъ, что онъ съ особеннымъ удовольствіемъ подастъ руку мерзавцамъ.

Это величественно. Но вотъ вопросъ: кто арцыбашевскому лже-Санину-то способенъ съ удовольствіемъ подать руку?

Меня этотъ вопросъ болѣзненно интересуеетъ, такъ какъ г. Арцыбашевъ увѣряетъ, будто его лже-Санинъ портретно списанъ съ меня, Владимира Петрова Санина, младшаго бухгалтера N-ской конторы страхового общества «Надежда».

Не вѣрьте, добрые люди. Все клевета и напраслина по злобѣ враговъ моихъ.

Усиленно смотрюсь въ зеркало: ничуть не похожъ.

Знаю одно: если бы я, настоящій В. П. Санинъ, былъ хоть сколько-нибудь подобенъ въ мысляхъ своихъ и поведеніи своемъ арцыбашевскому лже-Санину, то я самъ себѣ руки не подаль бы. И ужъ, конечно, не къ солнцу бы мнѣ идти, а куда-нибудь поглубже въ потемки спрятаться.

Примите и пр.

Владимиръ Санинъ.

Карьера литератора Вьенпупульского.

Шаржъ.

Motto: Viens, poupoule
Viens, poupoule,
Viens!

I.

Д Е Б Ю Т Ъ.

Когда Мишенькѣ Вьенпупульскому исполнилось семнадцатъ лѣтъ, онъ принялъ два важныхъ рѣшенія:

Во-первыхъ — сдѣлаться литераторомъ. Во-вторыхъ — прославиться.

Пользуясь выносливостью молодой поясницы и ново-рожденною гимназическою грамотностью, Мишенька въ теченіе двухъ лѣтъ заваливалъ редакціи Петербурга рукописями, высиженными съ добросовѣстнымъ усердіемъ и во множествѣ. Онъ сочинилъ романъ, двѣ драмы, повѣсть, комедію, три дюжины рассказовъ съ настроеніемъ, шесть дюжинъ рассказовъ безъ настроенія и около тысячи мелкихъ набросковъ, этюдовъ, эскизовъ, кляксовъ и пр., и пр. О стихахъ умалчиваю, ибо статистика ихъ чудовищнаго изліянія мнѣ не подъ силу.

И, тѣмъ не менѣе, все напрасно. Литераторомъ сдѣлаться Мишенькѣ не удалось. Рукописи его вѣжливыми

(тремя) редакціями возвращались автору нечитанныя, невѣжливыми (девянсто семью)—нечитанныя же спу-скались въ редакціонныя корзины. За два года подпись «Михайль Вьенпупульскій» не украсила собою вождельныхъ страницъ ни единого ежедневника, еженедѣльника, ежемѣсячника. Понятное дѣло, что—въ такихъ грустныхъ условіяхъ—и второе рѣшеніе Мишеньки—«прославиться»—не обѣщало подвинуться къ счастливому исходу. Мишенька унывалъ, худѣлъ, желтѣлъ. Онъ пріобрѣлъ ра-гa-bellum и въ мрачныя минуты размышлялъ: чѣмъ ему лучше заняться—самоубійствомъ или экспроприаціей?

Наконецъ, Мишенькѣ улыбнулось счастье.

Когда онъ, еще разъ неблагодарно отвергнутый въ поэтическихъ трудахъ своихъ, съ мукою на лицѣ покидалъ угрюмый храмъ сто первой жестокой редакціи, швейцаръ послѣдней тронулся отчаяннымъ выраженіемъ Мишень-киныхъ очей и, подавая пальто, шепнулъ молодому че-ловѣку:

— Эхъ, баринъ, не туда вы ходите!

— Не понимаю васъ...—изумился Мишенька Вьен-пупульскій.

А швейцаръ продолжалъ:

— Да вамъ чего надѣть? О чемъ вы просите? Чего ищете?

Вьенпупульскій отвѣчалъ съ твердостью:

— Ищу сдѣлаться литераторомъ и быть знаменитымъ.

Швейцаръ одобрительно кивнулъ головою:

— Вотъ-вотъ... Такъ нешто вы можете достигнуть того, скитаясь по редакціямъ? Самое праздное занятіе. Нешто литераторы дѣлаются въ редакціяхъ? Эта манера нонѣ довольно даже оставлена всѣми. Коли, въ самомъ дѣлѣ, хотите выйти въ литераторы, ступайте вы, баринъ, въ трактиръ «Вѣна».

И, подумавъ, прибавилъ:

— Тоже, случается, и въ Воронинскихъ баняхъ...

Ну, да этого — молодой вы еще вьюношъ — вамъ, пожалуй, до времени не вмѣстить.

Мишенька недоумѣвалъ:

— Странно... Какъ же, однако? Вдругъ въ трактиръ — и съ рукописями?

Благодѣтельный швейцаръ быстро остановилъ его:

— А ни-ни... Это — нѣтъ! Боже избави! Какія рукописи? Эта мода теперь тоже брошена, чтобы литераторъ рукописи писалъ... Вы такъ потрафляйте, чтобы воображеніемъ изумить... будто только намѣряетесь еще написать для удивленія Европы! А въ самомъ дѣлѣ писать — Боже васъ сохрани! Кто теперь пишетъ? Развѣ самый который разнесчастный, кому жрать нечего. Настоящему литератору — что-нибудь одно: либо писать, либо авансы получать, а два дѣла принять на себя ему будетъ уже натужно...

Мишенька Вьенпупульскій, сколь ни былъ изумленъ неожиданными откровеніями филантропическаго швейцара, рѣшилъ вѣрить имъ свою судьбу. Вечеромъ того же дня онъ былъ въ трактиръ «Вѣна» и у буфетной стойки пилъ водку, жевалъ закуску и бесѣдовалъ съ тоже пьющимъ и закусывающимъ незнакомцемъ, — блѣднолицымъ, съ нервными подергиваніями щекъ, и, какъ старинный портретъ какой-нибудь, въ рамѣ черныхъ, жесткихъ, прямо и длинно висящихъ, не совсѣмъ опрятныхъ волосъ. Незнакомецъ жевалъ бѣлорыбицу и строго спрашивалъ Мишеньку:

— Творите лики?

— Какъ-съ?

— Лики, говорю, творите?

Мишенька слыхалъ, что на сибирскомъ каторжномъ жаргонѣ дѣлать лики — значитъ фабриковать фальшивую монету, и, не понимая, недоумѣвалъ.

— Помилуйте. Зачѣмъ же-съ? Я, слава Богу, жалованье получаю, въ банкирской конторѣ служу.

— М... м... м... и это иногда полезно!.. — промычалъ

незнакомец и, повинувся дергающему его тикю, соорилъ такую странную рожу, что Мишенька, въ невинности своей, невольно подумалъ:

— Можеть-быть, это-то и называется у нихъ творить лики? Что же? Это я сумѣю! Не хитро.

Незнакомецъ же, наконецъ, сжевалъ свою бѣлорыбицу и объяснилъ:

— Я спрашиваю васъ: пишете-ли вы?—сочиняете-ли?

— А какъ же, какъ же!.. — обрадовался Мишенька Вьенпупульскій. — Даже до чрезвычайности какъ много пишу-съ!

И немедленно распорядился, чтобы буфетчица налила имъ обоимъ еще по рюмкѣ водки.

— Печатались?

— М-м-м... не такъ, чтобы много... Больше въ «Туркестанскихъ Областныхъ Вѣдомостяхъ»,—солгалъ Мишенька, изъ предосторожности выбирая органъ возможно большей отдаленности.

— Ага!—съ уваженіемъ сказалъ незнакомецъ.—Да, теперь почти всѣ наши новыя силы являются изъ глухой провинціи... Здѣшніе-то стали швахъ... совсѣмъ, совсѣмъ швахъ... Только провинціальный черноземъ и выручаетъ еще мать-литературу! Я самъ начиналъ въ «Тургайскомъ Буревѣстникѣ».

И, проглотивъ рюмку предложенной водки, окончилъ:

— Очень интересуюсь ознакомиться съ ликомъ вашего творчества! Закусимъ колбасой... Съ кѣмъ имѣю удовольствіе?

Мишенька отрекомендовался.

— Вьенпупульскій,—произнесъ незнакомецъ голосомъ симпатическимъ и даже какъ бы уважительнымъ,—славная, многообщающая фамилія!.. Въ ней мигаютъ рѣсницы будущаго, чешется спиною о заборъ какая-то вѣчность... Не знавали ли мы съ вами другъ друга въ Мемфисѣ?

— Я, знаете ли, петербуржецъ и никогда никуда не выѣзжалъ...— не безъ робости возразилъ Мишенька.— А это какой губерніи—Мемфисъ?

— Откровенно скажу вамъ,— задумчиво возразилъ незнакомецъ,— не знаю я, какой онъ, къ чорту, губерніи, и гдѣ, собственно, лежитъ... Да это наплевать: какой бы ни былъ, все равно, и тамъ, навѣрное, недородъ. Если есть губернія, то, значить, есть и недородъ. Это—фактъ. Но согласитесь, что городъ со звукомъ? Жить въ Мемфисѣ—это звучно. Давайте думать, что мы встрѣчались въ Мемфисѣ. Да, теперь я живо вспоминаю. Вы были молодымъ фавномъ, а я поселянкою. И когда я несъ на базаръ сочныя, спѣлыя фиги, вы настигли меня въ лѣсу мимозъ. И я, и мимозы кричали вамъ: не тронь меня! Но вы не послушались... Восторженный, неукротимый фавнъ обратилъ ли вниманіе на вопли испуганныхъ условностей? И я пересталъ быть дѣвушкою... И я растерялъ всѣ свои фиги... Тогда я много плакалъ, но теперь не сержусь на васъ, Вьенпупульскій. Напротивъ—merci!.. Очень радъ возобновить знакомство. Меня теперь зовутъ—Звѣзда.

— Какая звучная фамилія! — восхитился Вьенпупульскій.

— Собственно говоря — псевдонимъ,— скромно сознался г. Звѣзда.—Это я—Звѣзда, а родители мои—Которыловы, купцы второй гильдіи... Держать лабазъ на Калашниковской пристани... Но вы сами понимаете: въ правѣ ли называться Которыловымъ поэтъ, который помнить, какъ онъ былъ поселянкою въ Мемфисѣ и обнимался съ фавнами среди мимозъ? Да, Звѣзда—красиво. Увлекаетъ мысль по мозговымъ извилинамъ къ волнистому простору трепещущихъ риемъ... Звѣзда... узда... ѣзда... борозда... два дрозда... Хорошо быть звѣздой, Вьенпупульскій! Не правда-ли? Въ этомъ есть что-то экзотическое... Однако, сядемъ къ столу, выпьемъ пива. Да, да,

мой милый фавнъ! Я теперь Звѣзда. Вамъ мое имя, конечно, уже знакомо по литературѣ?

— Къ сожалѣнію...—замаялся Мишенька,—н-не... н-не очень... Вы гдѣ изволите сотрудничать, г. Звѣзда?

Звѣзда наморщился:

— Только, ради всего святого, не «господинъ»... Коллега... собратъ... другъ... братъ... конферреръ... Даже товарищъ, хотя я ненавижу социализмъ... Лучше всего, зовите меня—«сестра Звѣзда»... Но только не господинъ! «Господинъ»—звучить буржуазно и пошло.

— Но,—смутился Мишенька,—мнѣ кажется, что для сестры вы нѣсколько черезчуръ мужского пола?

Звѣзда снисходительно улыбнулся:

— Ошибаетесь, Бьенпупульскій. Вы утратили ясно-видѣніе памяти. Вы позабыли, какъ вы были фавномъ, а я поселянкою. Самъ же я чувствую въ себѣ еще настолько много женственного... das Ewigweibliche... что на-дняхъ даже вышелъ замужъ... Понимаете?

Мишенька густо покраснѣлъ.

— То-есть... Не то, чтобы я вовсе не понималъ... Бываетъ... Но... однако...

Г. Звѣзда авторитетно остановилъ его.

— Ну да, ну да... Это естественно... Вы недоумѣваете, боитесь и конфузитесь, потому что ползаете по землѣ, а ползаете по землѣ потому, что у васъ нѣтъ крыльевъ. Когда у васъ отрастутъ крылья,—онъ зачѣмъ-то хлопнулъ себя ладонями по обѣимъ ляжкамъ,—вы полетите въ небо и перестанете ползать по землѣ, а, переставъ ползать по землѣ, перестанете бояться и конфузиться своего физическаго пола... Что такое физическій полъ? Условность, насиліе природы. Истинный полъ—въ душѣ, въ сознаніи человѣка. Надо быть сильнѣе и выше природы. Надо повелѣвать. Какое право имѣла природа создавать меня мужчиною, если я знаю себя и желаю быть женщиною? Я бунтую противъ

всякаго насилія. Я встаю противъ повелительной природы,—я отрастилъ себѣ крылья и взлетѣлъ выше ея... Я—женщина! Не смотрите на мои брюки: онѣ—условность... Все, что вы можете найти во мнѣ мужского, не болѣе, какъ условности. Невѣжественные родители назвали меня и попъ окрестилъ—Пахомомъ. Судите сами: съ чѣмъ сообразна подобная условность? Я—Пахомъ! Звѣзда Пахомъ! И еще—по батюшкѣ—Тарасовичъ. О, не ясно ли звучить вамъ въ этомъ глупомъ Пахомѣ насмѣшливая попытка случая изнасиловать красоту вѣчности?! Могу ли я дозволить, чтобы случайное торжествовало надъ вѣчнымъ? Въ Мемфисѣ меня звали Аврою... вы помните?... А здѣсь я Лайса Ирисовна... Вы тоже можете называть меня Лайсою Ирисовною, Лайсою, Лаичкою... какъ хотите. И вамъ тоже необходимо отрастить крылья. Литератору стыдно оставаться безкрылымъ bébé... Я познакомлю васъ съ моимъ мужемъ. Онъ, собственно говоря, кентавръ, но, въ настоящее время, служить въ государственномъ контролѣ. Играетъ на тромбонѣ и сочиняетъ музыку къ моимъ стихамъ. Очень хорошъ собою... Если бы вы были нимфою, я не познакомилъ бы васъ. Я ревнивъ. Но вы—фавнъ... Вотъ онъ подходитъ. Кентавръ, протяни фавну твою братскую лапу...

Кентавръ изъ государственнаго контроля—мужчина дюжій, краснолицый и весьма прыщеватый—пожалъ руку Мишеньки Вьенпупульскаго ладонью—нельзя сказать, чтобы изъ пріятныхъ: потною и мокрою.

— Помнится, видались въ Оивайдѣ?—произнесъ онъ снисходительнымъ басомъ. — Н-да... подурачились-таки мы надъ отшельниками... веселая собралась компанія! Я, два кинокефала и вы...

— Представь, Кентавръ, — кокетливо жаловался Звѣзда, — конфреръ совершенно незнакомъ съ моими произведеніями...

— Гм...—укоризненно промычалъ Кентавръ,—какъ же это вы, Вьенпупульскій? За литературою не слѣдите? Нехорошо. Для художника мысли даже неприлично. Положимъ, Звѣзда, ты сама виновата. Уже который мѣсяцъ ничего не печатаешь.

— Да,—взволновался Звѣзда,—но, зато, сколько же обо мнѣ печатають... Вы, Вьенпупульскій, очевидно, даже не заглядываете въ петербургскія газеты... Между тѣмъ о насъ теперь—каждый день... Мы настолько въ модѣ, что намъ посвящаются даже цѣлые отдѣлы...

— «Фиги и ихъ описатели»!—съ удовольствіемъ продекламировалъ Кентавръ.

— Какой странный заголовокъ?!—позволилъ себѣ удивиться Мишенька Вьенпупульскій.

— «Фиги и ихъ описатели»? Вамъ не нравится? А, по-моему, превосходно. Цѣликомъ укладывается мысль современной беллетристики. Ея прямая цѣль—чтобы читатель смотрѣлъ въ книгу, а видѣлъ фигу... Понимаете? И, слѣдовательно, кто изъ насъ наилучше опишетъ фигу, тотъ и майтре. Жизнь стыдливо спряталась отъ насъ подъ фиговый листъ. Мы стремимся къ жизни. Не ясно ли, что въ своемъ стремленіи мы должны нарушить тайну фигового листа? Не чувствуете ли вы, что на каждомъ изъ насъ, поэтовъ, художниковъ, беллетристовъ, лежитъ обязанность проникать за фиговый листъ какъ можно вдумчивѣе и разнообразнѣе? И вотъ—результаты: посмотрите, какъ цѣнить насъ общественное вниманіе...

Звѣзда извлекъ изъ бумажника своего пачку мелкихъ газетныхъ вырѣзокъ и, торжествуя, разложилъ предъ заинтересованнымъ Вьенпупульскимъ.

Тотъ прочелъ напечатанный жирнымъ шрифтомъ заголовокъ:

«ФИГИ И ИХЪ ОПИСАТЕЛИ».

И ниже:

«Мы слышали, что г. Звѣзда замышляетъ произведение, въ которомъ намѣренъ съ подчеркнутою силою изложить новыя положенія соціальной морали, которыя предполагались имъ къ развитію въ повѣсти «Восемь дѣвокъ—одинъ я»—къ сожалѣнію, оставшейся ненаписанною. Приметь ли новое произведение г. Звѣзды форму разсказа или драмы,—покуда, глубокая авторская тайна. Удовольствіе читателей обезпечено во всякомъ случаѣ, такъ какъ г. Звѣзда властно владѣетъ всѣми существующими литературными формами и даже еще нѣсколькими».

— Не правда ли, мило?—вдохнулъ скромно улыбающійся Звѣзда.

— Чрезвычайно!—сознался Мишенька Вьенпупульскій не безъ зависти.—И подумаль:

— Вотъ, если обо мнѣ такъ!

«ФИГИ И ИХЪ ОПИСАТЕЛИ».

«Насколько намъ извѣстно, г. Звѣзда съ «другомъ своимъ» г. Кентавромъ намѣрены поселиться, съ ближайшей осени, въ маленькомъ, но аристократическомъ особнякѣ на Сергіевской улицѣ. *Воппе chance en tout!*»

— И откуда только они пронюхали?—самодовольно ухмыльнулся Кентавръ.

Но правдивый Звѣзда сейчасъ же замѣтилъ:

— Я самъ сказалъ. Ахъ, все, что касается насъ, они ловятъ на лету. Даже неловко иногда... иной подумаетъ, что мы платимъ за это деньги!

«ФИГИ И ИХЪ ОПИСАТЕЛИ».

«Вчерашнее наше извѣстіе о намѣреніи гг. Звѣзды и Кентавра поселиться на Сергіевской требуетъ серьез-

ныхъ подтвержденій. Одинъ изъ нашихъ сотрудниковъ встрѣтилъ вчера г. Звѣзду на 7-ой Рождественской. Вниманіе, съ которымъ г. Звѣзда разсматривалъ квартирные объявленія на воротахъ, заставляетъ насъ сомнѣваться въ томъ, чтобы вопросъ о перемѣщеніи на Сергіевскую былъ рѣшенъ окончательно».

«ФИГИ И ИХЪ ОПИСАТЕЛИ».

«Съ пѣлю изученія нравовъ на мѣстѣ, авторъ будущей трагедіи «Кастратъ», всегда добросовѣстный наблюдатель, г. Звѣзда ѣдетъ на-дняхъ въ Римъ, чтобы опредѣлиться въ пѣвцы Сикстинской капеллы. Еще одна великая жертва на алтарь искусства».

«ФИГИ И ИХЪ ОПИСАТЕЛИ».

«Мы получили отъ г. Звѣзды письмо, въ которомъ уважаемый maître категорически отрицаетъ свое намѣреніе ѣхать въ Римъ для изученія кастратскихъ настроеній. Напротивъ, въ будущемъ мѣсяцѣ г. Звѣзда намѣренъ выступить въ «Кружкѣ Удалыхъ» съ ненапечатаннымъ еще, но уже знаменитымъ цикломъ стихотвореній—«Кабинетъ Уединенія». Симфонія Щ-моль. Въ стихахъ и звукахъ». Два изъ этихъ перловъ мелодекламации (музыку написать, конечно, г. Кентавръ) были исполнены съ огромнымъ успѣхомъ извѣстнымъ артистомъ г. Сырголанскимъ въ недавнемъ концертѣ въ пользу Недостаточныхъ Явныхъ Прелюбодѣевъ. А именно—*andante amoroso*:

Въ кабинетъ уединенія
Мы запремся, милый другъ...

«И граціозное scherzo:

Я пѣлюю твои сапоги,
Сохранившіе запахъ ноги,—
О, скажи, не молчи, не таи,
Что прекрасны подтяжки мои...»

— Ну, и такъ далѣе,—прервалъ г. Звѣзда.—Каждый день что-нибудь... Да, смѣю сказать: общество нами заинтересовано... И вы видите, что здѣсь нѣтъ никакой рекламы, но лишь одно освѣдомленіе публики о ея любимцахъ. Мы прогрессируемъ. Печать идетъ впередъ. Прежде такихъ свѣдѣній о себѣ нельзя было помѣстить даже за деньги, въ отдѣлѣ объявленій. Теперь — въ текстѣ газеты и не только даромъ, но даже—завѣдующій отдѣломъ получаетъ за наши «фиги» пристойное вознагражденіе. Достаточно быть фигоописателемъ, чтобы публика освѣдомлялась изо дня въ день, гдѣ ты живешь, какъ сморкаешься, какая у тебя прислуга, что ты писалъ, пишешь и напишешь, гдѣ живешь на дачѣ, за какимъ столикомъ и съ кѣмъ вчера пилъ пиво въ «Вѣнѣ» и какой оффиціантъ тебѣ прислуживалъ... И смѣю похвалиться: въ «фигахъ и ихъ описателяхъ» я иду въ первую голову. Развѣ вотъ сестра Фрина въ состояніи поспорить со мною,—указалъ онъ на даму, не столь пожилую, сколь заносенную, въ компаніи за ближайшимъ столикомъ, усердно уничтожавшую, рюмка за рюмкою, зеленый шартрезъ. Но... вниманіе. Я слышу: Фрина декламируетъ... Придвинемъ наши стулья. Слушайте, слушайте.

Мишенька напрягъ ухо. Сестра Фрина читала:

Я—молодая сатиресса,

Я—бѣсъ.

Я вся живу для интереса

Тѣлесъ.

Таю подъ юбками копыта

И хвостъ.

Кто поглядитъ на нихъ сердито—

Прохвостъ.

Скажите: кто я? Дама или

Коза?

Естествомъ обоихъ въ полной силѣ

Грова.

Мои желанья двусоставны,
Какъ я:
Меня къ козламъ ревнують фавны,
Блея.
И—безразличная къ объятьямъ—
Причинъ
Не вижу я предпочитать имъ
Мужчинъ...
Мужчины рождены рабами
И злы...
Пусть за меня дерутся лбами
Козлы!

Декламация Фрины неоднократно прерывалась ропотомъ восторга, и погасла въ рукоплесканіяхъ. Подъ шумокъ, Звѣзда и Кентавръ улучили минуту, чтобы представить Мишеньку Вьенпупульскаго знаменитой поэтессѣ... Она устремила на юношу мечтательный взглядъ и произнесла голосомъ тихимъ, но воющимъ, какъ легкая выюга въ трубѣ:

— Вы похожи на моего покойнаго брата... Онъ былъ первымъ мужчиною, который открылъ мнѣ тайнство пола... Вы мнѣ нравитесь... Вы скромны на видъ, но въ васъ должно таиться безумство желаній... Расскажите мнѣ о женщинѣ, которая первая открыла вамъ тайнство пола... Это ваша сестра? Я угадала—не правда ли? Похожа она на меня?.. О, не смотрите такъ,—иначе завтра въ «Фигахъ и ихъ описателяхъ» появится замѣтка, что мы съ вами вмѣстѣ летаемъ на Брокенъ... Тсс... тише... садитесь рядомъ со мною... Мы поговоримъ послѣ... Теперь я хочу слушать... Товарищъ Растопыря рассказываетъ что-то интересное... Я люблю внимательно спать подъ звуки его голоса...

Оглушенный потокомъ отрывистыхъ фразъ, среди которыхъ онъ не могъ вставить ни единого словечка, Мишенька машинально опустился на стулъ рядомъ съ интересною особою, сама о себѣ недоумѣвающею: коза

она или дама?.. Товарищ Растопыря, длинный, испитой молодой человекъ, съ глазами, странно смѣшавшими въ себѣ хитренькую плутоватость гостиннодворца съ тупою скрытностью гимназиста, котораго родители тщетно стараются отучить отъ уединенныхъ мечтаній и привычки спать съ руками подъ одеяломъ,—повѣствовалъ трепетно и гордо:

— Я вошелъ къ Навзикаѣ и остолбенѣлъ. Она сидѣла предо мною совершенно нагая. На правомъ колѣнѣ она имѣла пламенный ломоть разрѣзаннаго арбуза, на лѣвомъ—едва початую дыню. Сокъ фруктовъ струился по ея золотистой кожѣ, и нога подъ арбузомъ казалась красною, а нога подъ дынею—желтою.—Хотите арбуза или дыню?—спросила меня Навзикая, и въ ея голосѣ прозвучала гармонія эоловыхъ арфъ... Вопросъ засталъ меня врасплохъ... Я не зналъ, чего хочу, я колебался...— Не бойтесь, возьмите,—ободряла Навзикая,—я сегодня была въ банѣ... Чудная женщина! Она догадалась, что я, несмѣлый и жалкій, еще смущаюсь условностью чистоплотности... И я завылъ отъ стыда за себя и отъ восторга предъ нею и, опустившись на колѣна, поклонился Навзикаѣ въ землю, какъ Раскольниковъ—Сонѣ:

— Не тебѣ, безстыдству твоему кланяюсь! сказалъ я и поднялся, шатаясь... А она, невозмутимая, нагая и гордая, глядѣла на меня фіолетовыми глазами, жевала сразу—за одну щеку—арбузъ, за другую дыню—и сорила арбузными смѣчками по ковру...

— Долго же этой Навзикаѣ сорить пришло!—мрачно замѣтилъ кто-то, въ синтаксическомъ недоразумѣніи.—Пока вы врете, можно не только съѣсть арбузъ, но даже вырастить цѣлую бахчу ихъ.

— Такъ каламбурятъ только въ приготовительныхъ классахъ гимназій!—презрительно и справедливо возразилъ Растопыря, но тѣмъ не менѣе обидѣлся и расска-

зывать прекратилъ. И, когда къ нему приставали съ просьбами продолжать, онъ томно отнѣкивался:

— Право, не могу... не въ ударѣ... усталъ... Переутомленіе... Подумайте... Вѣдь у меня ихъ двадцать четыре... Двадцать четыре... По одной на каждый часъ сутокъ... Страшное разнообразіе. Геркулесова работа... Да еще надо выбрать время, чтобы описать все это въ повѣсти или разсказѣ... Да, жизнь и слава не даются человѣку даромъ... Работать надо, трудиться, терпѣть... Но уже одно сознаніе, что у насъ появились такія женщины, какъ Навзикая, вознаграждаетъ за все. Представьте: когда она нагая,—она звенить... Я вообще замѣтилъ, что нагія женщины звенять... Въ наготѣ мужчины—звукъ віолончели, а женская нагота—радостный звонъ... Неправда ли, Вьенпупульскій? Вы тоже согласны со мною, что тѣло нагой женщины звенить?

— Право затрудняюсь вамъ отвѣчать...—пролепеталъ сконфуженный новичекъ.

— Не наблюдали? — нахмурился Растопыря. — Странно.

— Нѣтъ-съ, не то, чтобы я смѣлъ спорить... Но, съ позволенія вашего сказать, единственная женщина, которую я видѣлъ нагою, была моя родная бабушка... помню, мыла меня, семилѣтняго, въ банѣ:

— И... не звенѣла?

Мишенька подумалъ и съ добросовѣстностью припомнилъ.

— Тазомъ мѣднымъ, конечно, звенѣла—даже очень... Но—чтобы тѣломъ—гдѣ же-съ? Помилуйте! Старушка, за семьдесятъ лѣтъ...

— Что? что? что?—ворвалась въ ихъ діалогъ Фрина.—Баня? Бабушка? Семьдесятъ лѣтъ?.. Какъ, Вьенпупульскій? Вы узнали таинство пола отъ своей бабушки? Возможно ли? Ахъ, какъ интересно! Но это—восхитительно, что-то во вкусѣ Нинонъ де Ланкло, это рекордъ... Вы

побили рекордъ, Вьенпупульскій. Въ нашемъ аккордѣ еще не звучала эта нота... Бабушка семидесяти лѣтъ! Рѣшительно, вы много общаете... Я привѣтствую въ васъ будущаго maître'a! И надѣюсь, вы напишете намъ вашу идиллію съ бабушкою?..

Мишенька какъ-то сразу смекнулъ, что приспѣлъ его часъ. Онъ пріосанился и сказалъ басомъ:

— Да, только не знаю еще, что у меня—вылѣпитъ барельефъ или вычернится силуэтъ?

Но она уже не слушала и трещала:

— Объ этомъ непременно, непременно, завтра же должна появиться хорошая замѣтка въ «Фигахъ и ихъ описателяхъ»... Вы побили рекордъ... И—кажется—я, въ самомъ дѣлѣ, полечу съ вами на Брокенъ...

— Вы не раскаетесь, Фрина,—томо проиэнесъ Звѣзда.—Я помню его, когда онъ былъ фавномъ, а я поселанкою въблизи Мемфиса. Délicieux!

Поэтесса продолжала ликуя:

— И вы должны участвовать въ нашемъ сборникѣ... Вы знаете, конечно, что мы издаемъ сборникъ? Кто же теперь не издаетъ сборника? То есть, собственно говоря, издаемъ, конечно, не мы, а купецъ, но—кто же теперь не имѣетъ купца, на счетъ котораго не издавался бы сборникъ?.. Мы назовемъ нашъ сборникъ «Поры». Понимаете? Это символическое. Сквозь наши поры мы изольемъ въ публику ароматы нашего тѣла. Вы—нашъ! Милый Кентавръ, внесите въ содержаніе нашего будущаго сборника пьесу Вьенпупульскаго—«Бабушка и внучекъ. Банная идиллія»!.. Посвящается, конечно, мнѣ... Не правда ли, Вьенпупульскій, вы посвящаете вашъ chef d'oeuvre, конечно, мнѣ? Ахъ, милый!.. Завтра объ этомъ будетъ замѣтка въ «Фигахъ и ихъ описателяхъ». Какъ видно, какъ сразу замѣтно, что вы были фавномъ въ Мемфисѣ!.. Выпьемъ шартрезу. Вы любите зеленый шартрезъ? Ахъ, пожалуйста, для меня, всегда, всегда, пейте зеленый

шартрезъ! Это мой напитокъ. Онъ зеленъ, какъ земля... Вы знаете, что земля—астрономически зеленая? *La terre est verte et l'amour est rouge...* Я объ этомъ статью... три статьи... и, кромѣ того стиво... ститво... стихотвореніе... Завтра объ этомъ будетъ замѣтка въ «Фигахъ и ихъ описателяхъ»!.. Анъ вотъ, и врешь, Кентавръ,—ничуть не пьяна!.. самъ пьянъ!.. И... и господа никогда не бываютъ пьяны, но бываютъ нездоровы... И... и желаю летѣть на Брокенъ!.. И... и завтра объ этомъ будетъ замѣтка въ «Фигахъ и ихъ описателяхъ»!..

II.

И Н Т Е Р В Ь Ю.

На утро послѣ посѣщенія литературнаго клуба въ «Вѣнѣ» и полета на Брокенъ въ компаніи съ сестрой Фриною, Мишенька Вьенпупульскій проснулся очень поздно, и то лишь—благодаря неистовымъ воплямъ и чуть не плачу надъ ухомъ его номерной прислуги Афросиньи—новгородки добродушной и жалостливой, всѣмъ разсыпчатымъ существомъ своимъ вникавшей въ интересы жильцовъ—особенно, которые помоложе и недурны изъ себя.

— Вставай, оглашенный!—причитала Афросинья,—проснись ты, погубитель души своей, каторжный! Вѣдь тебя со службы погонять... Швейцаръ изъ конторы два раза приходилъ спрашивать, гдѣ ты еси. Ужъ я ему врала-врала. Сказываетъ: хозяинъ-то, банкиръ-то вашъ, аки левъ какой, на тебя свирѣпствуетъ.

Мишенька съ трудомъ отлѣпилъ отъ подушки свинцомъ налитую голову, окинулъ Афросинью мутнымъ взглядомъ и пробормоталъ:

— Отойди, Мелизанда... и дай мнѣ зельтерской: у меня... ы-ы-ыкъ... оргазмъ!

Тогда Афросинья обидѣлась.

— А ежели ты мнѣ, за добродѣтель мою, такія слова,—съ азартомъ возразила она,—то я и—тьфу на

тебя за подобныя твои слова! Въ самъ-дѣлѣ лучше уйтить... Прахъ тебя побери! Дрыхни хоть до вечера! Я за тебя передъ швейцаромъ мелкимъ бѣсомъ разсыпалась, а ты, взамѣнъ того, хорошую такую женщину Мелизadou обзывать? У, безстыдникъ! Самъ-то мелешь чѣмъ ни попада.

— Дура! Мелизанда была принцесса.

— Да ужъ извѣстно что не честная, ежели польстилась на подобное времяпровожденіе. Эхъ ты! Стыдился бы признаваться! Совсѣмъ молоденькій мальчишка, а уже шематонишь по принцессамъ.

— Афросинья! Ты сверхъестественно невѣжественна. Говорю тебѣ: принцесса, далекая принцесса.

— Извѣстно, что не близкая, ежели теперича начальство выселило ихнюю сестру на край города, чтобы стало быть, безъ безобразія обывателямъ... Тоже не махонькія, знаемъ мы!.. Но—коль скоро ты теперича по принцессамъ устремился, то вотъ тебѣ, Михаилъ, мое послѣднее слово: отъ меня играй назадъ, нѣтъ тебѣ больше ко мнѣ хода. Потому что принцессы эти—довольно мнѣ извѣстныя, и, вдовѣя въ полномъ моемъ здравіи до тридцати пяти годовъ, я страдать, черезъ Мелизадъ твоихъ, въ Калинкинской больницѣ не согласна... Тьфу!

Афросинья ушла, хлопнувъ дверью.

Мишенька Вьенпупульскій, вянувъ, наконецъ, голосамъ пробужденнаго разсудка и вопіющей совѣсти, съ трудомъ поднялся и сѣлъ на постели. Въ головѣ его черти играли въ чехарду, въ вискахъ стучали кузнечные молоты, въ ушахъ звонили колоколами нелѣпыя риемы: тузъ... картузъ... паспарту-съ... паспарту-съ... тузъ... картузъ... Икалось пивомъ, коньякомъ, шартрезомъ, въ глаза то и дѣло вступалъ зеленый туманъ, въ которомъ дико крутились фавны съ Рождественской и сатирессы отъ Пяти Угловъ...

Мачичъ—веселый танецъ
И очень жгучій,
Привезъ его испанецъ,
Брюнетъ могучій...

Вспоминались незаплаченный счетъ въ трактирѣ и Францискъ Ассизскій, столкновение съ городовымъ на углу Чубарова переулка и цитата изъ В. В. Розанова, чья-то розовая персь съ родинкою и угрюмый Скиталецъ, анекдотъ объ устрицѣ, которую четверо глотали, но не могли удержать, и актеръ Сырголанскій, ухарски заливающійся подъ гитару:

Й-эхъ, ды понапрасну ты, мальчикъ скуды ходишь,
Й-эхъ, ды понапрасну ты слезы льешь,
Й-эхъ, ды ничего ты, мальчикъ, не получишь,
Дуракомъ домой пойдешь!

Опять вошла Афросинья—мрачная, сердитая.

— Спрашиваетъ тамъ тебя какой-то... — буркнула она съ враждебностью.

Мишенька сконфузился и струсилъ.

— Можетъ... опять швейцаръ изъ конторы?—пролепеталъ онъ сухимъ мятымъ языкомъ.

— Нѣтъ... кое—швейцаръ! Швейцаръ — мужчина солидный, а энтотъ—такъ... одно пуховѣтріе!... Карточку даль... на, держи...

Мишенька прочель:

Князь

Святославъ Петанлеровичъ

Омонъ-Кшепиццольскій-Вадбольскій-Одоевскій.

Сверхъ-интервьюеръ

газеты

«С В А Л К А».

Вверху красовалась княжеская корона, внизу обозначенъ былъ адресъ. Сонъ съ Мишеньки—какъ рукою сняло.

— Гдѣ же онъ? — возопилъ онъ, заматавшись по комнатамъ и безтолково хватая то ту, то другую принадлежность своего туалета.

— Гдѣ-жѣ ему еще быть... велѣла въ коридорѣ сидѣть...

Мишенька только руками всплеснулъ.

— Въ коридорѣ?! Дура! Зарѣзала ты меня... Вѣдь это князь!

Въ оловянныхъ глазахъ Афросиньи зажглась искорка любопытствующаго сомнѣнія:

— Ужъ и князь... станутъ къ тебѣ, куцому, князя ѣздить!

— Князь, говорю тебѣ — князь... настоящій... видишь: корона?... Ай-ай-ай... А я не одѣтъ... И онъ ждетъ... И въ коридорѣ воняетъ лукомъ и капустою, и чортъ знаетъ, чѣмъ...

— Можно?

Въ дверь просунулась чернявая мордочка еще очень юнаго, но необычайно дѣловитаго и желтолицаго, маленькаго господина въ рпсе-пез. Не ожидая отвѣта, господинъ быстро подошелъ къ одру оцѣпенѣвшаго Мишеньки Вьенпупульскаго и потрясъ его за руку.

— Вадбольскій-Кшепшицольскій... Являюсь къ вамъ по порученію газеты «Свалка»... Газета политическая, общественная, литературная и даже иногда уплачиваетъ сотrudникамъ гонораръ...

Мишенька лепеталъ.

— Чрезвычай... чайно... радъ... кн... такая честь... чѣмъ могу служить? Извините, вы застали меня въ такомъ безпорядкѣ...

— Ничего, — снисходительно сказалъ князь Вадбольскій-Кшепшицольскій, опускаясь легонькимъ тѣльцемъ своимъ на диванъ и измѣряя измятый ликъ Мишенькинъ критическимъ взглядомъ человѣка опытнаго и много искушеннаго. — Ничего, я вижу: вы въ оргіазмѣ... Я привыкъ:

БИБЛИОТЕКА

При книжномъ магазинѣ

А. А. Мухоморова

поэты по утрамъ всегда въ оргіазмѣ... Нѣкоторые — въ участкѣ, другіе — въ оргіазмѣ. Иныхъ даже, *passiez le mot*, рветъ, но у васъ, очевидно, крѣпкая натура. Пожалуйста, не стѣсняйтесь меня и... извините, но этакъ вы никогда не надѣнете штановъ, надо перевернуть, штаны надѣваются совсѣмъ съ другой стороны. Да! Ужъ на что Пшибышевскій, но и тотъ надѣваетъ штаны сверху внизъ — отъ пуговицъ къ штанинамъ, а не отъ штанинъ — къ пуговицамъ, — Чортъ возьми!

Мишенька сторѣлъ со стыда. Князь же, все такъ же опытно, пощупалъ матерію брюкъ, которые натягивалъ Вьенпупульскій на ноги свои, и продолжалъ:

— Хорошая вещь... Гдѣ приобрѣли? сколько платили?

— Въ Гостиномъ... четырнадцать съ полтиною...

Князь презрительно оттопырилъ нижнюю губу.

— Боже-жъ мой! это — дневной грабежъ... Приходите къ намъ въ магазинъ въ Александровскомъ рынкѣ... мы вамъ дадимъ такія за шесть рублей... Это же грабежъ!..

— Магазинъ князя Вадбольскаго въ Александровскомъ рынкѣ? — нѣсколько изумился Мишенька.

Князь хладнокровно поправилъ:

— Нѣтъ, не князя Вадбольскаго, князя Вадбольскіе готовымъ платьемъ покуда еще не торгуютъ, но Омона-Кшепшицпольскаго. А, собственно-то говоря, и не Омона-Кшепшицпольскаго, но Абрума Югихеса... Знаете, бѣдный еврей, права жительства въ столицахъ не имѣетъ... ну, такъ на мое имя магазинъ держать и за это обязанъ мнѣ платить двѣсти рублей въ мѣсяцъ. Э! Дешево! Честное слово Омона-Кшепшицпольскаго, дешево. Но — что дѣлать? Люблю дѣлать добро людямъ. Отличный старикъ, только сіонистъ ужасный. Въ Владиміра Жаботинскаго до страсти влюбленъ.

— Гмъ... да, вы — въ самомъ дѣлѣ — князь? — спросилъ Мишенька, разочарованный и уже не безъ сердца.

Молодой человѣкъ отвѣчалъ хладнокровно, почему-то

по-польски, но съ ужаснѣйшимъ произношеніемъ, въ которомъ не было слышно рѣшительно ничего польскаго:

— Жебы барзо, то не, але овшемъ.

— Какъ-съ?

— Не то, чтобы очень — князь, но — въ нѣкоторомъ родѣ.

— Однако, въ какомъ именно родѣ?

— Говорю же вамъ: въ нѣкоторомъ.

— Чортъ знаетъ что. Да вы какъ—князь-то? По грамотѣ или по родословію?

— И не по грамотѣ, и не по родословію, а — по самочувствію.

— Не понимаю!

— А очень просто. Чувствую себя княземъ Вадбольскимъ-Одоевскимъ — и шабашъ.

— И именно Вадбольскимъ-Одоевскимъ?

— Да вѣдь князья Вадбольскіе и Одоевскіе давнымъ давно всѣ умерли... кому же мое княжество будетъ обидно? Мертвымъ тѣломъ — хоть заборъ подпирай. Я нарочно по всему гербовнику такихъ князей искалъ, чтобы отъ нихъ ни синь-пороха не осталось. А мнѣ оно для визитной карточки хорошо. Другихъ репортеровъ и интервьюеровъ великіе міра сего держать въ переднихъ и даже на подъѣздахъ, какъ лакеевъ какихъ-нибудь, а предо мною — съ тѣхъ поръ, какъ я завелъ себѣ эти карточки, всѣ двери настежь...

— Однако, моя дура Афросинья...—смущенно возобновилъ было извиненія Мишенька. Но юноша великодушно отмахнулся рукою.

— Ну, что!.. стоитъ ли обращать вниманіе?.. Чего же ждать отъ безграмотнаго невѣжества?.. Она не только, что князя Вадбольскаго-Одоевскаго, она — самому Юпитеру ведро съ помоями на голову выльетъ... Итакъ, любезнѣйшій поэтъ, дорогой maître, милый monsieur Вьенпупульскій, я имѣю порученіе отъ газеты «Свалка» интервьюи-

ровать васъ, какъ вновь выходящую звѣзду русской литературы.

— Очень пріятно,—пробормоталъ Мишенька радостно сконфуженный и пылающій румянцемъ.—«Свалка» — вѣдь это то же самое, что «Отбросы»?

— А, нѣтъ! Помилуйте, какъ можно! Въ «Свалкѣ» издатель Эммануилъ Захаровичъ, а въ «Отбросахъ» Захаръ Эммануиловичъ... Мы же—направо, а «Отбросы» же—налѣво.

— Но меня увѣрили, будто существуетъ общность кассъ?

— Что вамъ до общности кассъ? Вы смотрите на направленіе! Общность кассъ, общность квартиры, общность типографіи, общность бумаги—все это пустяки... условности... Поневолѣ заведешь общность кассъ, когда, по нынѣшнему времени, не знаешь, гдѣ сказать—да, гдѣ—нѣтъ... Ну, и, значитъ, надо такъ устроиваться, чтобы—въ двухъ направленіяхъ. Сказалъ: да,—хлопнули. Наплевать. Есть другой органъ, который говорилъ: нѣтъ. Сказалъ: нѣтъ,—конфисковали. Наплевать. Въ продажѣ другой органъ, который говорилъ: да... Необходимая самооборона—съ—въ борьбѣ за идею, по законамъ сего времени. Вотъ она откуда—общность-то кассъ получается! А то—мы направо, а «Отбросы»—налѣво. Итакъ, я васъ интервьюирую...

— Но я, право, еще не заслуживаю... И откуда вы узнали, что я—восхожу?

— А это издателю «Свалки» сестра Фрина внушала,—обстоятельно разъяснилъ интервьюеръ.—При-скакала къ нему ни свѣтъ; ни заря... И—когда только выпалась! Разбудила... по спальнѣ ходить, по кабинету ходить... хвостомъ вертять... чернильницу на письменномъ столѣ перевернула... съ камина двѣ статуэтки уронила... «Талантъ... Вьенпупульскій... фавнъ... Александрія... тайна пола... бабушка со звономъ»... Никто

ничего не понимает. Ну, вы сами хорошо понимаете, что, когда никто ничего не понимает, то современный издатель понимает, что это, значить, очень хорошо. И наш издатель сейчас же командировал меня къ вамъ для интервью. Могу я предлагать вамъ вопросы?

— Пожалуйста...

— Во-первыхъ, вотъ объ этой самой вашей бабушкѣ... Вы вчера всѣхъ ею заинтересовали. Итакъ, вы признаетесь, что тайну пола открыла вамъ въ банѣ ваша собственная бабушка?

— Это не совсѣмъ вѣрно, — сконфузился Мишенька. — Напротивъ, сколько помню, она тщательно отъ меня закрывалась.

— Но — звенѣла же? Вѣдь вы вчера сами рассказывали, что звенѣла?

— Ну, да... я не отрицаю... тазомъ звенѣла.

— У вашей бабушки звенѣлъ тазъ?

— Конечно... Почему же ему не звенѣть?

— Гм... мы, интервьюеры, ничему не удивляемся, — это нашъ принципъ. Однако, на этотъ разъ, я, напротивъ, позволю себѣ спросить: почему же тазу вашей бабушки было звенѣть?

— Но — потому что онъ былъ мѣдный!

— Символически?

— Вовсе нѣтъ. Безъ всякихъ символовъ. Обыкновенный мѣдный тазъ тульской работы.

— Удивительная игра природы! — воскликнулъ князь-интервьюеръ, записывая въ книжку стенографическими знаками:

«Бабушка г. Вьенпупульскаго, по всей вѣроятности, представляла собою почтенный и прекрасный пережитокъ бронзоваго вѣка, такъ какъ имѣла мѣдный тазъ тульской работы. Талантливый внукъ, которому она открыла тайну пола, со свойственною ему поэтическою оригинальностью,

находить это чудо тѣлосложенія обыкновеннымъ. Excusez du peu!».

Записавъ, онъ вздохнулъ и устремилъ на Мишеньку мечтательный взглядъ:

— Отчего вы не показывали вашу бабушку въ паноптикумъ? Могли нажить хорошій капиталъ. Поэту нуженъ капиталъ. Безъ капитала—какая же свобода творчества?

— Я полагалъ... наоборотъ...—пролепеталъ Мишенька,—поэтъ... мансарда... гризетка...

— Старина. Какой же поэтъ въ наше время живетъ въ мансардѣ и съ гризеткой! —остановилъ его интервьюеръ.—Поэтъ, ежели настоящій, онъ, по нынѣшнему времени, на купчихѣ женится и тысячъ двѣсти либо триста въ приданое беретъ.

— Да что вы?—пріятно изумился Мишенька и даже облизнулся, впервые ощутивъ во всю глубину самочувствія: однако, пріятно быть поэтомъ!

— Вѣрно, говорю вамъ. Купчиха сейчасъ на поэта падка. Былъ въ модѣ офицеръ, былъ въ модѣ адвокатъ, потомъ пошелъ врачъ женскихъ болѣзней, потомъ актеръ, потомъ велосипедистъ, а въ настоящее время—поэту лафа... Всѣхъ прочнѣе въ купчихиномъ сердцѣ, конечно, всегда и все-таки кучеръ. Но это уже, такъ сказать, расовая эндемія. Эпидемически же сейчасъ торжествуетъ поэтъ. Вы-то женаты?

— Нѣтъ.

— Такъ, торопитесь, почтеннѣйшій, пользуйтесь моментомъ. Сами не замѣтите, какъ полъ-милліончика слизнете, покуда вамъ эта ваша мѣднотазая бабушка ворожить. Н-да-съ... Пойдемъ, однако, дальше! Вашъ любимый писатель?

— Пушкинъ.

— Пушкинъ?—съ недоумѣніемъ повторилъ интервьюеръ.—Не слыхалъ! Онъ гдѣ же печатается?

— Какъ—гдѣ?!—изумился Мишенька. —Пушкинъ? Вы, вѣроятно, не разслышали: я сказалъ — Пушкинъ.

— Ну-да, — гдѣ? Въ «Вѣсахъ»? Въ «Золотомъ Рунѣ»? Въ «Перевалѣ»? Въ «Грифѣ»? Въ «Скорпионѣ»?.. Преду-преждаю васъ, что, если въ «Вѣсахъ» или «Скорпионѣ», то это уже старо... декадентская академія! Выберите чтонибудь *plus moderne*.

— Послушайте, князь, вы просто смѣтаетесь надо мною. Не можетъ же быть, чтобы вы не знали пушкинскихъ стиховъ.

— Pardon, почему же, однако, я долженъ знать всякіе стихи? Мало ли кто, гдѣ и что пишетъ? Я знаю Пушкинскую улицу, Пушкинскій скверъ, Пушкинскій монументъ, но откуда же я буду знать пушкинскіе стихи, — тѣмъ болѣе, если ихъ, какъ я могу заключить изъ вашихъ словъ, нигдѣ не печатаютъ?.. Ба! ба! ба!.. позвольте, позвольте... Припоминаю немножко... Пушкинъ, Пушкинъ... Это — тотъ самый, котораго гг. Брокгаузъ и Эфронъ издають съ картинками?

— Кажется.

— Такъ бы вы и сказали... Блокированный!

— То-есть?

— Очень просто: онъ былъ Пушкинъ, а теперь его проредактировалъ Блокъ, и сталъ онъ — Блокированный? Вѣдь г. Блокъ—что съ Пушкинымъ сдѣлалъ-то! Подсчиталъ, сколько разъ Пушкинъ букву «а» въ стихахъ своихъ употребилъ. Вы только поймите, какая это великая статистическая работа! Сколько пользы для отечества, вселенной и еще нѣсколькихъ мѣстъ! И — какое самопожертвованіе! Кому нужно отъ Пушкина — «Я помню чудное мгновеніе», кому — «Для береговъ отчизны дальней», тому — «Онѣгинъ», этому — «Борисъ Годуновъ», а г. Блокъ, знай, сидитъ, да подсчитываетъ: а-а, а-а, а-а... Вотъ что у него изъ Пушкина-то выходитъ! Знаете: не умаляясь, яко дѣти, не войдете въ царствіе небесное. Пре-

восходное, скажу вамъ, занятіе для молодыхъ талантовъ: одинъ считаетъ «азы» въ Пушкинѣ, другой «буки» въ Лермонтовѣ, третій «покои» у Гоголя... Ежели этакъ азбуку раздѣлить между молодыми талантами, — по буквѣ на физономію, — то каждымъ писателемъ 36 талантовъ занять возможно. Сиди да редактируй: а-а, бе-бе, ве-ве... глаголей — 146, добра — 284, како — 80, оита — 1... Я не понимаю, чего «правая» зѣваетъ? На эту штуку надо капиталъ отсыпать, большую субсидію дать.

— За что же?

— Какъ за что? Помилуйте! «Правую» все упрекають, что она стремится объидіотить молодежь. Согласитесь, что непріятно слушать.

— Конечно, но...

— Позвольте теперь. Если правая субсидируетъ молодежь для занятій Пушкинымъ, Лермонтовымъ, Гоголемъ, и пр., и пр., — хотя бы до Кирилла Туровскаго включительно, то не опровергнетъ ли она тѣмъ злокачественную клевету и не докажетъ ли, что не только не гонить науки и литературу, но даже имъ покровительствуетъ?

— Докажетъ, но...

— Позвольте теперь. Но ежели занятія Пушкинымъ, Лермонтовымъ, Гоголемъ и т. д. сведены будутъ къ тому, чтобы считать а-а, бе-бе, ве-ве, число запятыхъ, тире и двоеточій, то, — хотя Пушкинъ, Лермонтовъ и Гоголь суть Пушкинъ, Лермонтовъ и Гоголь, — не обратятся ли изучающіе Пушкина, Лермонтова и Гоголя молодые люди, въ самомъ непродолжительномъ времени, въ совершеннѣйшихъ идіотовъ?

— Думаю, что средство — безошибочно надежное.

— Итакъ: клевета опровергнута, ибо занятіе молодежи дано само интеллигентное, а, между тѣмъ, благая цѣль достигнута, ибо отъ интеллигентнаго занятія этого расплодился на Руси, въ самое короткое время, по крайней мѣрѣ, 36.000 идіотовъ. Вѣдь не меньше же тысячи

у насъ на Руси писателей-то было, начиная съ Кирилла Туровскаго! Какъ же не субсидировать? Вѣдь это, батюшка, панацея. Насчитавшись азовъ до глаголей, уже не до революціевъ да мечтаніевъ. Мозгъ-то нирванистый сдѣлается: словно промоклая вата. Не то, что Пушкина, а хоть всѣхъ Марксовъ-Лассалей такимъ манеромъ прочитай—мыслишка-то въ головѣ даже не шевельнется.

— Вы совершенно правы, князь. Но, мнѣ кажется, вы упускаете изъ вида то серьезное неудобство, что оглушеніе юношества будетъ производиться крайне неравномѣрно. Потому что однѣ буквы употребляются въ русскомъ языкѣ очень часто, другія же, наоборотъ, почти никогда не употребляются. Поэтому—нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что счетчикъ, получившій на свою долю букву «п», не замедлитъ утѣшить ваши ожиданія образцовымъ идиотизмомъ. Но, напримѣръ, у попавшаго на «ѣиту»—уже останется много свободного времени, чтобы бѣгать глазами по строкамъ и задумываться о междустрочіяхъ. Не говорю уже объ ѣжицѣ, съ которою теперь пишутся только ѣподіаконъ, ѣсопъ и мѣро, потому что синодъ уже зазнался и требуетъ себѣ «и» восьмеричнаго. Вѣдь попасть на ѣжицу—это синекура. Тутъ досуга столько, что человѣкъ и самъ не замѣтитъ, какъ, шмыгая глазами по тексту, сдѣлается хорошо еще, если только кадетомъ, а то даже и эсъ-эромъ.

— А тогда вотъ ему покажутъ, какъ прописывается ѣжица!—спокойно возразилъ интервьюеръ.—Что же касается менѣе рѣзкихъ оттѣнковъ, то—помилуйте!—должны же и въ идиотизмѣ быть свой центръ, правая, лѣвая, крайняя правая, крайняя лѣвая. Слава Богу, въ конституціонной странѣ живемъ. Напротивъ, ваше возраженіе открываетъ лишь новое удобство въ томъ отношеніи, что, зная, какая буква встрѣчается чаще другихъ, можно будетъ всегда готовить почти навѣрняка именно ту степень притупленія мозговъ, какая по обстоятель-

ствамъ требуется. Хотите вы, скажемъ, чтобы изъ молодого человѣка вышелъ Пуришкевичъ,—сажаете его на «покой». Чтобы сфабриковать Гучкова или Плеваку, «покой» уже слишкомъ сильное средство, достаточно «рцы», «слово», «твердо». А, ежели долженъ получиться только Маклаковъ, то дальше, чѣмъ «живете» и «землею», его и тиранить грѣхъ. Нельзя же вовсе безъ оппозиціи. Даже на правой ногѣ—и то большой палецъ лѣвѣе мизинца... Однако, позвольте, я увлекся, и выходить какъ-то у насъ, что уже не я васъ, а вы меня интервьюируете.

— Откровенно говоря,—пробормоталъ, держась рукою за голову, Мишенька Вьенпупульскій,—я очень тому радъ, такъ какъ мнѣ ужасно скверно... ой, какъ скверно!.. ой! и... и извините, князь, я долженъ... ой! ой!

— Пожалуйста, не стѣсняйтесь въ вашемъ оргіазмѣ. Дѣло привычное.

Когда Мишенька отдышался, у него глаза полны были слезъ и на лбу густо выступила роса холодного пота. Интервьюеръ же смотрѣлъ на него съ участіемъ и говорилъ:

— Утренняя борьба дворянина съ умывальникомъ. Бываетъ. Не стѣсняйтесь. Это даже очень кстати для вашей характеристики. Новый человѣческій документъ!

III.

ВЬЕНПУПУЛЬСКІЙ ВЪ КІЕВѢ.

Мишенька Вьенпупульскій прославился. Газеты, въ отдѣлѣ «Фиги и ихъ описатели», печатали его фамилію съ почтительной прибавкой *maître*. Въ трактирѣ «Вѣна» буфетчикъ открылъ ему кредитъ до трехъ съ полтиною. Больше того: за свой рассказъ «Бабушка безъ юбки и внучекъ безъ штановъ» Мишенька даже получилъ изъ редакціи «Отбросовъ» гонорарій въ размѣрѣ цѣлыхъ десяти рублей и — немедленно совралъ, будто «сорвалъ тысячу». Чтобы сдѣлаться окончательно великимъ человѣкомъ, Мишенькѣ недоставало теперь только подраться въ ватеръ-клизотѣ съ инженеромъ путей сообщенія, выдержать курсъ водолеченія отъ бѣлой горячки и быть приглашеннымъ на литературныя гастроли. Но все это онъ уповалъ, съ Божіей помощью, въ скоромъ времени наверстать.

И вотъ — свершилось. Пришла телеграмма:

«Вьенпупульскому.

Просимъ принять участіе въ очередномъ увеселительномъ вечерѣ кievскаго общества Скукоотчаянія, дорога наша, бутерброды ваши, крѣпкіе напитки пополамъ.

Директоръ-распорядитель

Зъвай-Куросльповъ».

Похваставшись телеграммою общества Скукоотчаянія въ трактирѣ «Вѣна» (буфетчикъ увеличилъ кредитъ до 4 рублей!), уморивъ завистью добрый десятокъ начинающихъ поэтовъ и прозаиковъ и покоривъ подъ нозѣ своя сердца, по крайней мѣрѣ, дюжины молодыхъ поэтессъ, въ возрастѣ отъ 40 до 60 лѣтъ и вѣсомъ около 8 пудовъ и выше, Мишенька, наконецъ, отбылъ въ Кіевъ и, двое сутокъ спустя, достигъ его безъ всякихъ приключеній. Даже ни разу не былъ зарѣзанъ и ограбленъ!

Бдучи въ саняхъ съ вокзала въ городъ, Мишенька Вьенпупульскій былъ обрадованъ оживленнымъ движеніемъ публики по кіевскимъ тротуарамъ.

— Встрѣчаютъ!—самодовольно думалъ онъ и, къ удивленію прохожихъ, любезно раскланивался направо и налево.

Какъ разъ въ это время, въ безчисленныхъ кіевскихъ церквахъ заблаговѣстили къ вечернѣ.

— Даже съ колокольнымъ звономъ!—рѣшилъ Мишенька Вьенпупульскій,—и слеза благодарности повисла на его густой рѣсницѣ. Онъ былъ тронутъ. О, если бы товарищи изъ «Вѣны» видѣли его въ сей высокаторжественный мигъ!

Бдучи мимо монумента Бобринскаго, Мишенька спросилъ возницу:

— Кто такой?

— Бобринскій.

— Участвовалъ въ сборникахъ?

— Сахаръ дѣлалъ.

Мишенька сказалъ себѣ:

— Его труды были сладки, какъ сахаръ... Очевидно, нашъ братъ — декадентъ!

И снялъ картузъ.

Доползли до Золотыхъ Воротъ.

— Каково?—воскликнулъ Мишенька,—добрые кіевляне уже строятъ для меня Триумфальную арку!

— Это-съ Золотыя Ворота,—указаль возница.

Мишенька скромно потупилъ глаза.

— Ну, зачѣмъ же Золотыя? Это слишкомъ — такъ тратиться. Достаточно было бы каменныхъ.

Наконецъ, Мишенька, слава Богу, былъ благополучно внѣдренъ въ меблированныя комнаты «Санъ-Ремо». А, когда онъ внѣдрился въ меблированныя комнаты «Санъ-Ремо», то, прежде всего, пришелъ къ нему интервьюеръ Душа Тряпичкинъ, и произошло между Мишенькою Вьенпупульскимъ и Душою Тряпичкинымъ нижеслѣдующее собесѣдованіе.

* *
* *

Мишенька Вьенпупульскій. А Кіевъ вашъ—недурной городишко. Право. Или, какъ Максимиліанъ Волошинъ говорить, ма фуа. Довольно стильный. Странно, что его никто не знаетъ.

Душа Тряпичкинъ. То есть, какъ же это никто не знаетъ, Михаилъ... Михаилъ...

Мишенька Вьенпупульскій. Зовите меня просто—*maitre*!

Душа Тряпичкинъ. Просто?

Мишенька Вьенпупульскій. Просто. Ничего, я невзыскателенъ.

Душа Тряпичкинъ. Какъ же это, просто мэтръ, нашего Кіева никто не знаетъ? Еще Несторъ...

Мишенька Вьенпупульскій. Академикъ. Не читаю. Не признаю. Вы бы еще на Кони сослались, либо на Арсеньева.

Душа Тряпичкинъ. Позвольте, просто мэтръ. Почему же, однако, Несторъ—академикъ?

Мишенька Вьенпупульскій. Потому что его въ академію членомъ выбрали. Я самъ читалъ телеграмму въ газетахъ. Гдѣ вы живете, если даже такихъ вещей не знаете?

Душа Тряпичкинъ. Виновать, просто мэтръ, но телеграмма была о Несторѣ Котляревскомъ!

Мишенька Вьенпупульскій. А развѣ есть другой?

Душа Тряпичкинъ. Какъ же-съ! Лѣтописецъ Несторъ.

Мишенька Вьенпупульскій. Незнакомъ.

Душа Тряпичкинъ. Жилъ девятьсотъ лѣтъ тому назадъ. Нынѣ же здѣсь, въ Печерской лаврѣ, подъ спудомъ почиваетъ.

Мишенька Вьенпупульскій. Ну, это какой-то тамъ вашъ мѣстный Несторъ. Не могу же я знать всѣхъ провинціальныхъ литераторовъ! И, при томъ, девятьсотъ лѣтъ тому назадъ... Вы называете это—*moderne*?

Душа Тряпичкинъ. Осмѣлюсь замѣтить, — тѣмъ не менѣе, сочинялъ не безъ таланта-съ.

Мишенька Вьенпупульскій. Почтеннѣйшій! Зарубите себѣ на носу: настоящихъ талантовъ въ Россіи только два. Одинъ,—я. Другой, поменьше,—Строеокамиль Подрубашевъ. Поняли?

Душа Тряпичкинъ. Понялъ-съ. Слушаю-съ. Точно такъ-съ.

Мишенька Вьенпупульскій. Подрубашевъ русскій Золя, а я—Мопассанъ. Да. Запишите, а то переврете. Фамиліи иностранныя.

Душа Тряпичкинъ. Не перевру-съ. Вы—русскій Золя, а Строеокамиль Подрубашевъ—Мопассанъ...

Мишенька Вьенпупульскій. Ну, вотъ уже и переврали. Дуракъ!

Душа Тряпичкинъ. Помилуйте! За что же?

Мишенька Вьенпупульскій. Еще обижается!..

Душа Тряпичкинъ. Вѣдь, ежели на то пойдеть, я тоже могу сказать: отъ дурака слышу.

Мишенька Вьенпупульскій. Нѣтъ, не можете.

Душа Тряпичкинъ. Почему же-съ?

Мишенька Вьенпупульскій. Потому что въ вашихъ устахъ дуракъ—ругательство и дерзость, а въ моихъ—литературный приѣмъ.

Душа Тряпичкинъ. Однако, въ разсужденіи гражданскаго равноправія...

Мишенька Вьенпупульскій. Ахъ, не начинайте, пожалуйста, про эту мѣщанскую пошлость... Равноправіе! Равноправіе!.. Что мы? Въ 1905-мъ году, что-ли?..

Душа Тряпичкинъ. А вы этотъ годъ не любите?

Мишенька Вьенпупульскій. Хорошъ былъ, нечего сказать! Мы съ Подрубашевымъ тогда чуть зубы на полку не положили. Мы! Золя и Мопассанъ! Горькій, да Горькій! да—безумство храбрыхъ! да вставай, подымайся, рабочій народъ! да—вы жертвою пали въ борьбѣ роковой! А голыхъ бабъ хоть и на рынокъ не носи: никто не спрашивалъ, не то, чтобы покупать... Зато теперь уже, благодареніе цензору, на нашей улицѣ праздникъ.

Душа Тряпичкинъ. Благодареніе—Дмитрію Цензору?

Мишенька Вьенпупульскій. Нѣтъ, просто цензору, всякому цензору. Потому что теперь—революціевъ-то,—братъ,—ни-ни! дудки! разводить не велѣно! Кто идеи въ головѣ имѣетъ, — того не по 129-й, такъ по 74-й!.. Ха-ха-ха!

Душа Тряпичкинъ. Чему же вы, собственно, радуетесь, просто мѣтръ?

Мишенька Вьенпупульскій. Какъ — чему? Лавка шибко торгуетъ, выручка хороша, вотъ чему радуюсь... А Горькій - то — тю-тю! «Знаніе» - то — на сухоядѣніи!

Душа Тряпичкинъ. Позвольте, просто мѣтръ. Я долженъ сознаться, что ваши слова производятъ на меня

странное впечатлѣніе. Дѣло въ томъ, что до сихъ поръ подобные восторги мы слышали только отъ черносотенцевъ...

Мишенька Вьенпупульскій. Я — черносотенецъ? Мы — черносотенцы? Никогда! Мы — революціонеры духа! Мы лѣвѣе всѣхъ лѣвыхъ! Мы у лѣва влѣвѣ остались.

Душа Тряпичкинъ. Не понимаю!

Мишенька Вьенпупульскій. Мы такъ послѣдовательно шли налѣво, что обогнули весь земной шаръ и — уткнулись вправо. Понимаете? Теперь, что право, то лѣво, а, что лѣво, то право.

Душа Тряпичкинъ. Такъ что, на примѣръ, Максимъ Горькій...

Мишенька Вьенпупульскій. Реакціонеръ.

Душа Тряпичкинъ. Плехановъ?

Мишенька Вьенпупульскій. Буржуа!

Душа Тряпичкинъ. Кропоткинъ?

Мишенька Вьенпупульскій. Старый бормотунъ!..

Душа Тряпичкинъ. Но, въ такомъ случаѣ, кто же? кто же?

Мишенька Вьенпупульскій. Какъ — кто? Вотъ — я и Строеокамитъ Подрубашевъ.

Душа Тряпичкинъ. Но, насколько мнѣ извѣстно, вы, просто мѣтръ, никогда и рѣшительно ничѣмъ не проявили...

Мишенька Вьенпупульскій. И не надо проявлять. Старомодно и безвыгодно. Зачѣмъ? Однѣ непріятности — и никакого гонорара.

Душа Тряпичкинъ. Но...

Мишенька Вьенпупульскій. Знаете ли вы, что значить быть революціонеромъ?

Душа Тряпичкинъ. Кажется, видаль примѣры.

Мишенька Вьенпупульскій. Неправда, не знаете. Я вижу: у васъ въ головѣ Бакунины прыгаютъ.

Ерунда! Быть революционеромъ, батенька, значитъ—ночевать въ публичномъ домѣ, напиться до краснорѣчія и устроить скандалъ съ проституткою.

Душа Тряпичкинъ. Не можетъ быть?!

Мишенька Вьенпупульскій. Такъ говорить Андреюстра!.. Вы блѣднѣете?

Душа Тряпичкинъ. Отъ ужаса. Вѣдь въ такомъ случаѣ Кіевъ—въ страшной опасности. Подобныхъ революціонеровъ у насъ, я думаю, наберется тысячь двадцать пять.

Мишенька Вьенпупульскій. Да? Скажите, какой передовой городъ! Повторяю: странно, что его никто не знаетъ.

Душа Тряпичкинъ. Помилуйте, просто мѣтръ, вы, наконецъ, меня обижаете. Говорю же вамъ, что еще Несторъ...

Мишенька Вьенпупульскій. Ахъ, опять Несторъ! Вотъ присталь! Ну, что вашъ Несторъ?

Душа Тряпичкинъ. Говорилъ, что Кіевъ есть мать городовъ русскихъ.

Мишенька Вьенпупульскій. А знаете? Вашъ Несторъ, въ самомъ дѣлѣ, не такъ плохъ, какъ я думалъ! Кіевъ—мать! Это—moderne! Это—сильно. Это—изъ Кузьмина. Слушайте! Играетъ вдохновеніе! Я напишу, разскажъ. Кіевъ лежитъ на горахъ и рождаетъ... городъ за городомъ... и въ каждомъ городѣ отдѣленіе союза истинно-русскихъ людей... Да! Рождаетъ... Но—вотъ только—отъ кого? Да! Отъ кого?

Душа Тряпичкинъ. Если позволите предложить, у насъ есть нѣкто Юзефовичъ.

Мишенька Вьенпупульскій. Способенъ?

Душа Тряпичкинъ. То-есть—какъ вамъ сказать? Для продолженія рода чelовѣческаго—не посовѣтую, ну, а для скотнаго двора—ничего.

Мишенька Вьенпупульскій. Юзефовичъ, Юзе-

фовичъ... Надо запомнить на всякій случай. Позвольте: это не то же самое, что Пихно?

Душа Тряпичкинъ. Нѣтъ, Пихно—совсѣмъ другое.

Мишенька Вьенпупульскій. Н-да-съ. Пихно у васъ есть, Юзефовичъ есть, а все-таки—повторяю—никто васъ не знаетъ. Кіевъ? Что такое Кіевъ? Обойдите весь Петербургъ, вы не найдете ни одного порядочнаго трактира, который бы назывался «Кіевъ». Есть «Вѣна», есть «Афганистанъ», есть «Нѣменчинскій», есть «Городъ Хорьки»...

Душа Тряпичкинъ. Виновать, просто мѣтъ, такого города не существуетъ, есть Харьковъ...

Мишенька Вьенпупульскій. Хорьки!

Душа Тряпичкинъ. Харьковъ-съ.

Мишенька Вьенпупульскій. А я вамъ говорю: Хорьки!.. Съ кѣмъ вы спорите?!

Душа Тряпичкинъ. Виновать-съ, но это противъ географіи!

Мишенька Вьенпупульскій. И совсѣмъ не противъ. Географія отъ Хорьковъ этакъ влѣвъ, наискосокъ остается. Кому же знать, если не мнѣ? Я въ Хорькахъ, можно сказать, воспитаніе получилъ и большой выросъ.

Душа Тряпичкинъ. Г. Максимиліанъ Волошинъ подобныя подробности, кажется, не о васъ сообщаетъ, но о г. Брюсовѣ?

Мишенька Вьенпупульскій. Что Брюсовъ! Онъ въ парнасцы лѣзетъ. Буржуа! Обидѣлся, что товарищъ назвалъ его воспитанникомъ публичнаго дома. Эка невидаль! Меня—съ тѣмъ и возьмите!

Душа Тряпичкинъ. Итакъ, ваше образованіе...

Мишенька Вьенпупульскій. И низшее, и среднее, и высшее—все тамъ... Ужо махнемъ, что-ли, коллега?

Душа Тряпичкинъ. Помилуйте! Мнѣ неловко... Я человѣкъ женатый.

Мишенька Вьенпупульскій. Это ничего не значить. Я тоже очень люблю свою законную жену.

Душа Тряпичкинъ. Какъ же-съ, читали: вы уже разъ десять о томъ публиковали. Мы даже недоумѣвали нѣсколько: зачѣмъ?

Мишенька Вьенпупульскій. Для полемики. Ждалъ, что въ полемику кто-нибудь со мною по этому поводу вступитъ.

Душа Тряпичкинъ. Но какая же тутъ возможна полемика? Кажется, ваше личное дѣло?

Мишенька Вьенпупульскій. Какъ—какая? А кто-нибудь возьметъ, да напишетъ: врете, совсѣмъ не любите... А я отвѣчу: нѣтъ, люблю. А мнѣ отвѣтять: а имѣете ли вы, въ качествѣ мэтра, право любить свою жену?.. Да—что есть бракъ, да—что есть безбрачіе, да—что есть жена, да—что есть не жена... Мѣсяца на полтора канитель-то можно затянуть только однѣми литературными силами—до гимназистовъ!

Душа Тряпичкинъ. До какихъ гимназистовъ-съ?

Мишенька Вьенпупульскій. До понедѣльных гимназистовъ. Теперь у насъ въ Петербургѣ такое обыкновеніе. Когда литераторамъ какая-нибудь порнографическая тема начинаетъ приѣдаться, ее отдаютъ гимназистамъ, чтобы жевали, вмѣсто резины, въ понедѣльных номерахъ газетъ. Да! Жаль, не удалось довести полемику до гимназистовъ. Гимназисты мою жену года два жевали бы.

Душа Тряпичкинъ. Но какая же вамъ польза въ томъ, чтобы гимназисты два года жевали супругу вашу? На что вамъ необходима жена, столь тщательно прожеванная?

Мишенька Вьенпупульскій. Эхъ, вы, провинція! А реклама-то? Два года имя ваше съ газетныхъ

столбцовъ не сойдеть,—такъ поневолѣ всякій дуракъ его запомнить. Вьенпупульскій? это который?—А! еще его жену намени въ газетахъ жевали!.. Когда литературную жену жуютъ,—мужу польза... Эхъ! Душа на распашку! Хотите,—скажу вамъ всю правду?

Душа Тряпичкинъ. Обяжете.

Мишенька Вьенпупульскій. Такъ знайте же: никакой жены у меня нѣтъ. Ни законной, ни незаконной. Я жену для рекламы выдумалъ.

Душа Тряпичкинъ. Хорошо хоть, что дѣтей нѣтъ!

Мишенька Вьенпупульскій. Надо будетъ для рекламы,—и про дѣтей навру. Ничего не жаль для литературы!

Душа Тряпичкинъ. Извините, просто мѣтръ, но мнѣ кажется, что предлогъ для полемической рекламы вы выбрали, все-таки, не совсѣмъ удачный. Любить свою жену—что же тутъ необыкновеннаго?

Мишенька Вьенпупульскій. Пожалуй, для буржуа, какъ вы. Но для русскаго Золя...

Душа Тряпичкинъ. Позвольте, просто мѣтръ: прошлый разъ вы изволили сказать, что изволите быть Мопассаномъ.

Мишенька Вьенпупульскій. Врете! Я—Золя. Мопассанъ—Подрубашевъ.

Душа Тряпичкинъ. Ну, право же, вы изволили утверждать, что, наоборотъ: вы—Мопассанъ, а Золя—г. Подрубашевъ.

Мишенька Вьенпупульскій. Врете!.. Не могъ я... У меня записано, кто онъ, кто я... Нарочно у Аничкова спрашивалъ... Тотъ знаетъ!

Душа Тряпичкинъ. Даже дуракомъ изволили обругать меня за то, что я смѣшать осмѣлился.

Мишенька Вьенпупульскій. Ну, можетъ быть... если ужъ вы такъ твердо настаиваете... Да—соб-

ственно говоря,—не все ли мнѣ равно, кѣмъ быть—Золя или Мопассаномъ? Золя, такъ Золя! Мопассанъ, такъ Мопассанъ! Отъ слова не станется.

Душа Тряпичкинъ. Это—что и говорите!

Мишенька Вьенпупульскій. Откровенно говоря, я ни Золя, ни Мопассана вашего даже и не читалъ никогда... чортъ ихъ знаетъ, что они тамъ ковыряли! Читать глупо. Ужъ если читать, то развѣ свои собственные сочиненія. Надо, не тратя времени, писать, писать, писать—вотъ, какъ я.

Душа Тряпичкинъ. И преимущественно о голыхъ бабахъ?

Мишенька Вьенпупульскій. Не преимущественно, а исключительно. Голая баба—это, я вамъ скажу,—сюжетъ: отъ Адама и на десять тысячъ лѣтъ впередъ! Авансомъ!

Душа Тряпичкинъ. Изволите готовить новые шедевры?

Мишенька Вьенпупульскій. Какъ же! «Она въ предбанникѣ»... «Между тѣломъ и мочалкою»... «Взопрѣла»... «Санина» читали?—тоже мое сочиненіе!

Душа Тряпичкинъ. Виновать: на книжкѣ написано, будто г. Арцыбашева?

Мишенька Вьенпупульскій. А, да! Есть два «Санина». Одинъ,—точно,—г. Арцыбашева, а другой, позабористѣе,—такъ тотъ ужъ мой.

Душа Тряпичкинъ. Ну, такъ, вѣрно, мы вашего «Санина» читали: ужъ такъ намъ понравилось! пріятное сочиненіе!

Мишенька Вьенпупульскій. Да, я могу! Въ «Новомъ Времени» даже объявленія амурныя вдовицы какія-то, плотью озлобленныя, печатаютъ: «Санина» на свиданія вызываютъ... Ха-ха-ха!

Душа Тряпичкинъ. А скажите, пожалуйста, просто мэтръ, какъ вы относитесь къ тому, что критика

почитаешь васъ, извините за выраженіе, порнографомъ?

Мишенька Въенпупульскій. Да вѣдь какая критика! Газетная! Тыфу, а не критика!

Душа Тряпичкинъ. Не любите газетъ?

Мишенька Въенпупульскій. Кто ихъ любитъ? Городничій Сквозникъ-Дмухановскій и депутат Шубинскій правы: шелкоперы проклятые!.. То ли дѣло критика настоящая, серьезная, почтенная, солидная...

Душа Тряпичкинъ. А она что говоритъ о васъ?

Мишенька Въенпупульскій. Ничего не говорить.

Душа Тряпичкинъ. Почему же?

Мишенька Въенпупульскій. Растерялась.

Душа Тряпичкинъ. То-есть, какъ же это, однако, просто мѣтръ?

Мишенька Въенпупульскій. Такъ. Растерялась. Очень просто. Увидала меня и растерялась. Развѣ долго? Женщина!

Душа Тряпичкинъ. Кто?

Мишенька Въенпупульскій. Критика-то — женщина, говорю. Увидала, обомѣла, растерялась, онѣмѣла. Ну, и молчить.

Душа Тряпичкинъ. Скажите!

Мишенька Въенпупульскій. Влюблена очень. Сама не знаетъ, какъ меня опредѣлить, куда меня посадить.

Душа Тряпичкинъ. Быть можетъ, если посоветоваться съ профессоромъ Сикорскимъ...

Мишенька Въенпупульскій. Какой тамъ, къ чорту, Сикорскій! Обо мнѣ Бѣлинскій долженъ писать!

Душа Тряпичкинъ. Но они, кажется, померли?

Мишенька Въенпупульскій. Мертвый пиши! Генія видишь, — такъ нечего по пустякамъ отлынивать... Который часъ?

Душа Тряпичкинъ. Седьмой въ началѣ. Не от-

нимаю ли я у васъ драгоцѣннаго времени? Быть можетъ вамъ надо приготовиться къ вашему завтрашнему чтенію?

Мишенька Вьенпупульскій. Не беспокойтесь, я всегда безъ этого... Вѣдьмы будутъ?

Душа Тряпичкинъ. Какъ-съ?

Мишенька Вьенпупульскій. Будутъ голыя вѣдьмы?—говорю.

Душа Тряпичкинъ. Гдѣ?

Мишенька Вьенпупульскій. Вотъ идіотъ! На чтеніи моемъ—завтра—голыя вѣдьмы—вѣдьмы голыя—будутъ?

Душа Тряпичкинъ. Помилуйте! Что вы? Напротивъ, весь beau monde...

Мишенька Вьенпупульскій. Жаль. Хорошо бы написать съ натуры настоящую голую кievскую вѣдьму! А я, было, слыхалъ, что у васъ тутъ гдѣ-то Лысая Гора есть. Сильно на вашу Лысую Гору рассчитывалъ.

Душа Тряпичкинъ. Къ сожалѣнію, упразднена-съ. Вообще, изъ легендарныхъ кievскихъ урочищъ сейчасъ успѣшно функціонируетъ только одна Аскольдова могила-съ.

Мишенька Вьенпупульскій. М-м-м... Это что-то, знаете, не moderne... При томъ, въ разгарѣ успѣха... Ахъ, милый мой! Какой я имѣю успѣхъ! Какой небывалый, грандіозный, дьявольскій успѣхъ! Особенно у женщинъ... Ручаюсь вамъ: четыре!

Душа Тряпичкинъ. Чего-съ?

Мишенька Вьенпупульскій. По крайней мѣрѣ, четыре кievлянки погибнуть завтра, когда я обнаружу предъ ними свою обольстительность! Вы говорите: вы женаты? Не отпускайте вашу жену на мое чтеніе. Потоварищески предупреждаю. Влюбится. Не выдерживаютъ меня женщины. Ужъ очень хорошъ.

Душа Тряпичкинъ. Слушаю-съ. Очень вамъ благодаренъ. Не пуцу-съ. Конечно, ужъ если даже критика...

Мишенька Вьенпупульскій. Растерялась... Совершенно растерялась! Сидить, смотреть, глазами хлопают и молчить... Даже жаль стало. Того гляди, въ рѣку бросится...

Душа Тряпичкинъ. Не пушу-съ и другимъ скажу, чтобы не пускали.

Мишенька Вьенпупульскій. Нѣтъ, ужъ другимъ—это напрасно. Вы этакъ у меня публику разгоните. Свою не пускайте, а другія—пусть!

Душа Тряпичкинъ. Не смѣя болѣе отнимать минутъ, посвященныхъ занятіямъ государственнымъ...

Мишенька Вьенпупульскій. До свиданья. Все записали? Чуръ, уговоръ,—не переверять!

Душа Тряпичкинъ.. Кажется, все въ порядкѣ... Вотъ только...

Мишенька Вьенпупульскій. Спрашивайте.

Душа Тряпичкинъ. Извините, опять позабылъ: кто вы, кто г. Подрубашевъ?

Мишенька Вьенпупульскій. Онъ — Золя, а я — Мопассанъ... Или чортъ! —я—Золя, а онъ—Мопассанъ?.. Гдѣ-бишь эта аничковская записка?... А! Да что мнѣ съ Подрубашевымъ—дѣтей крестить, что ли? Пишите: я—оба!

Душа Тряпичкинъ. Оба?!

Мишенька Вьенпупульскій. Ну, да! Оба! Я—одинъ—оба: и Золя, и Мопассанъ. Оптомъ. Оба!.. Безъ лицъ—въ двухъ лицахъ божество!

Душа Тряпичкинъ. А Подрубашевъ?

Мишенька Вьенпупульскій. Подрубашевъ—ничтожество! Нуль! Шишъ! Къ чорту Подрубашева! Я—оба!!!

Молчаніе.

Ну? Что же вы на меня глаза-то выпучили?

Душа Тряпичкинъ. Выпучилъ!..

Боязливо пятится и исчезаетъ въ дверяхъ.

Занавѣсъ.

Записная книжка.

* * *

Хочу издать сборникъ «Модныхъ сюжетовъ, исправленныхъ и дополненныхъ по закону сего времени». Навели меня на эту мысль нѣкоторыя рецензіи о «Богѣ мести».

Многіе критики прекрасной пьесы талантливаго г. Шоломъ Аша недовольны въ ней одною подробностью: зачѣмъ мѣстомъ дѣйствія избранъ домъ терпимости, и между дѣйствующими лицами—столько проституттокъ. *Fi done!*.. Уважая цѣломудріе, но любя пьесу Шоломъ Аша, я долго думалъ, какъ-бы то же самое слово, да иначе молвить: чтобы идея и реалистическая оболочка пьесы не ослабѣли, а институткамъ, буде таковыя окажутся въ театрѣ, было-бы не отъ чего краснѣть? Въ концѣ концовъ, кажется, мнѣ удалось найти, для инкриминируемыхъ подробностей «Бога мести», совершенно невинное, но достаточно выразительное, сильное и въ то же время справедливое замѣстительство.

„БОГЪ МЕСТИ“.

Жиль-былъ еврей Янкель.

Онъ былъ честный еврей, но профессію имѣлъ скверную.

А именно: издавалъ литературныя сборники, въ которыхъ самымъ цѣломудреннымъ писателемъ былъ г. Арцыбашевъ.

У Янкеля была дочь, Ривкеле, хорошая, чистая дѣвушка.

Янкель охранялъ ея цѣломудріе паче зѣницы ока.

Пуще всего боялся Янкель, какъ-бы дочь его, въ одинъ печальный день, не узнала, что родитель издаётъ литературные сборники, и не прочла-бы, что въ нихъ печатаетъ г. Арцыбашевъ. Поэтому Янкель держалъ дочь взаперти и не давалъ ей читать ничего, кромѣ «Нивы» и «Вѣстника Европы».

Ни даже—«Русскаго Богатства»!!! По крайней мѣрѣ, съ тѣхъ поръ, какъ оно начало печатать романы Рапильдъ!

Жиль-былъ другой еврей Хаймъ.

Онъ былъ тоже честный еврей, но профессію тоже имѣлъ скверную.

А именно: издавалъ литературные сборники, въ которыхъ самымъ невиннымъ писателемъ былъ г. Кузьминъ.

Оба издателя пылали взаимною ненавистью и старались насолить другъ-другу по возможности больше и изводитѣ.

Въ одинъ печальный день Ривкеле познакомилась съ поэтессою Манькою, которая сотрудничала въ литературныхъ сборникахъ Хайма, помѣщая въ нихъ стихи о лезбійской любви.

— А что это такое?—спросила невинная Ривкеле.

— Какъ, душечка?—Вы не знаете?—воскликнула изумленная Манька.—Да гдѣ же вы воспитывались? Я вамъ сейчасъ покажу.

И показала.

А затѣмъ увезла Ривкеле въ литературный трактиръ «Вѣна».

Тамъ Ривкеле увидала много-много дамъ. Многія изъ нихъ были до того пьяны, что, когда обливались пивомъ, то воображали, будто на нихъ падаетъ весенній дождь.

Бѣдная Ривкеле тоже захмѣлѣла. Она тоже обли-

валась пивомъ и тоже воображала, будто на нее падаетъ весенній дождь.

Тогда подошелъ къ ней вкрадчивый Хаимъ и сказалъ:

— Ревекка Янкелевна, будьте такъ добры, примите и вы участіе въ моемъ литературномъ сборникѣ.

Ривкеле возразила:

— А что это такое—литературный сборникъ?

Хаимъ отвѣчалъ:

— А видите ли—когда нѣсколько человекъ придумаютъ каждый по пакости, которую совѣстно произнести вслухъ, они пишутъ свои пакости на бумагѣ, а я все написанное соединяю въ книгу, печатаю и продаю.

Ривкеле сказала:

— Мнѣ кажется, это очень нехорошее дѣло—писать пакости?

Хаимъ сказалъ:

— Нѣтъ, когда въ модѣ, ничего. Вашъ папаша промышляетъ тѣмъ же самымъ,—и ничего.

— Конечно, ничего,—подтвердила Манька.—Я же пишу! И ты должна писать. Ну, пожалуйста! Ну, для меня! Ma petite soeur! Напиши, душка!

— Ужъ развѣ для тебя!—вздыхнула Ривкеле и—будучи талантлива—написала такую всесовершенную пакость, что даже извѣстный издатель Аскархановъ, читая, только краснѣлъ да кричалъ.

Торжествующій Хаимъ хохоталъ.

Когда вышелъ въ свѣтъ сборникъ Хаима, и Янкель увидалъ въ немъ имя своей дочери въ промежуткѣ г. Кузмина и С. Городецкаго, онъ схватился за волосы и проклиналъ «Ниву» и «Вѣстникъ Европы»:

— Стоило подписываться на труху!

Затѣмъ сказалъ дочери:

— Ужъ если ты пала въ литературный сборникъ, то, по крайней мѣрѣ, поддержи родственную коммерцію: печатай свои пакости не у Хаима, но у меня.

Но Ривкеле отвѣчала:

— Помилуйте, папаша, какой же мнѣ расчетъ? Вы платите полтинникъ за стихъ, а Хаимъ—рубль. И у Хаима есть Кузьминъ и Манька, а у васъ одинъ г. Арцыбашевъ. Да и тотъ—только «лѣзетъ, но не можетъ».

Такъ Ривкеле и осталась у Хаима.

Ея пакости имѣли огромный успѣхъ. Сборники Хаима, благодаря сотрудничеству Ривкеле, процвѣли, а сборники Янкеля, въ которыхъ продолжалъ лѣзть, но не мочь г. Арцыбашевъ, захирѣли.

Янкель разорился и ликвидировалъ дѣло.

«Нива» и «Вѣстникъ Европы» потеряли подписчика.

Г. Арцыбашевъ долженъ былъ основать собственное сборнико-издательство.

Ривкеле и Манька совершенно спились съ круга и столь безразсудно задолжали въ ресторанѣ «Вѣна», что хозяинъ не разрѣшаетъ имъ кредита больше, чѣмъ—по шнитцу пильзенскаго.

Янкель служить корректоромъ въ типографіи торжествующаго Хаима. Въ «Вѣну» не ходитъ вовсе, ибо—не по чину, но пьянствуетъ въ «Афганистанѣ», либо у Нѣменчинскаго.

Такъ Богъ отомстил Янкелю за то, что Янкель издавалъ литературные сборники.

Погодите! И Хаиму то же будетъ!

* * *

ПРОДОЛЖЕНІЕ „ПРОБУЖДЕНІЯ ВЕСНЫ“.

Когда незнакомецъ въ маскѣ увелъ Мельхіора съ кладбища, Морицъ легъ въ могилу и, какъ общалъ Фр. Ведекинду, долго и много смѣялся.

Онъ говорилъ:

— Какой идиотъ этотъ Мельхиоръ! А Незнакомецъ въ маскѣ... Ну, и бестія же Незнакомецъ!

Морицъ зналъ, чему онъ смѣялся.

Мельхиоръ спросилъ Незнакомца:

— Куда мы идемъ?

Незнакомецъ отвѣчалъ:

— Къ справедливости.

— Гм...—промычалъ Мельхиоръ довольно кисло, такъ какъ чувствовалъ, что, по справедливости, ему давно пора быть высѣченнымъ.

— О, не бойтесь!—возразилъ Незнакомецъ, читая его мысли.—У насъ это не принято. Мы убѣдились, что человѣчество нельзя исправить розгами и возвратились къ старинкѣ.

— То-есть?

— Око за око и зубъ за зубъ. Какою мѣрою вы мѣрили, тою и отмѣрится вамъ.

Мельхиоръ вспомнилъ мѣру, какую онъ отмѣрялъ въ приключеніи съ злополучною Вендлюю, и страшно испугался. Онъ сѣлъ на землю и старался сидѣть какъ можно крѣпче.

— Не пойду,—сказалъ онъ.—Не на дурака напали. Теперь я знаю, кто вы. Можете снять вашу маску, графъ Эйленбургъ.

— Положимъ, не совсѣмъ... я только Кузьминъ!—скромно произнесъ Незнакомецъ, снимая маску и обнаруживая ликъ творчества, которымъ, по увѣренію М. А. Волошина, сей послѣдній любовался еще двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ въ Александріи Египетской.

— Тѣмъ хуже!—возразилъ Мельхиоръ.—Слыхали мы о васъ! Тоже—хорошъ дядя!

И усѣлся еще плотнѣе. Но Незнакомецъ склонился къ ногамъ Мельхиора, облобызалъ его сапоги и воскликнулъ:

— «Благодарю иконы моего дома, приведшія васъ сюда для моего удовольствія!»!

Полчаса спустя, Мельхіоръ сидѣлъ одинъ на придорожномъ камнѣ и горько плакалъ.

Онъ думалъ:

— Вендла была дѣвочка—и то умерла, а что же теперь будетъ со мною?!

Морицъ лежалъ въ могилѣ и весело смѣялся.

Онъ зналъ, чему онъ смѣялся!

* *
*

Видѣлъ въ «Театрѣ и Искусствѣ» декоративный мотивъ изъ «Пелеаса и Мелисанды» съ основательнымъ предостереженіемъ: «Не карикатура». Право, даже трогательно искреннѣйшее довѣріе къ лубку и тмутараканскому болвану, которымъ проникнуто, въ археологическихъ поползновеніяхъ своихъ, стилизованное театральное дѣло.

Лубокъ дѣлался потому, что художество еще не въ состояніи было создать жанровую живопись. Тмутараканскій болванъ вырубался потому, что ваяніе не могло еще высѣчь статую. И лубокъ, и тмутараканскій болванъ лгали на современную имъ жизнь съ наивностью чеховскаго ребенка, который отказывается рисовать часового маленькимъ, а будку большою, потому что—если часовой будетъ маленькимъ, то у него не будетъ видно глазъ. Таковы и живопись, и скульптура средневѣковой готики, на которой помѣшался современный театр. Нѣтъ образа, но есть примѣта. Нѣтъ общаго впечатлѣнія, но рабски схвачена какая-нибудь, гипнотизировавшая мастера, частность. Нѣтъ тѣла, нѣтъ жеста, нѣтъ движенія, но съ тщаніемъ выписанъ или вырубленъ узоръ на подолѣ кафтана.

Пятьсотъ лѣтъ тому назадъ лгали невольно, по «незнанья жалкаго винѣ». Теперь эту ложь воскрешаютъ

совершенно сознательно и пытаются выдать за историческую правду.

Я вполне согласенъ съ тѣмъ, что если-бы средневѣковый рисунокъ или тмутараканскій болванъ могли заговорить, то рѣчи ихъ были бы очень похожи на лепеты героевъ Метерлинка. «Бельгійскій Шекспиръ» хорошо понималъ кукольный типъ этихъ зачаточныхъ изображеній. Нельзя лучше играть въ средневѣковыя куклы, чѣмъ играетъ Метерлинкъ.

Но людей-то такихъ не было и быть, въ то время, не могло. Это—тѣни, отброшенные при свѣтѣ едва восходящаго солнца, а ихъ выдаютъ намъ за людей.

Средневѣковыя драмы нашего времени—всегда романъ рисунка съ рисункомъ, тмутараканскаго болвана съ соотвѣтственной болваницей, тѣни съ тѣнью, сновидѣнія со сновидѣніемъ. Плоти и крови въ нихъ нѣту. Оттого имъ и возможно навязать какую угодно чепуху поступковъ, невозможность ситуаціи, белиберду бредовой мысли. Сны не стѣсняются логикою трехъ измѣреній. А пьесы эти—сны, при томъ, не о людяхъ, но о куклахъ.

XX вѣкъ не только лжетъ на средніе вѣка, принимая за историческую правду ихъ художественную ложь о самихъ себѣ, но еще и отъ себя подвираетъ, втискивая въ рамки средневѣковой жизни свои новыя идеи и представленія, и искажая, сообразно имъ, даже и тѣ-то линіялыя средневѣковыя тѣни, которыя намъ достались, какъ реальное наслѣдіе эпохи. Подобно тому, какъ XVII и XVIII вѣка сочиняли, въ псевдо-классицизмѣ, свой Римъ и свою Элладу во французскихъ кафтанахъ и парикахъ, конецъ XIX и XX вѣкъ упражняются въ лжеромантизмъ. Средніе вѣка и эпоха возрожденія у Метерлинка—такая же неправда тенденціозной идеализаціи, какъ Римъ, Эллада, библейскія фигуры Корнеля, Расина и т. д.—включительно до нѣмца Виланда, котораго такъ

зло высмѣялъ, въ молодости своей, великій реалистъ— Гете.

Сатира Гете на Виланда («Боги, герои и Виландъ») отлично подошла бы къ современной лже-романтической школѣ, только съ подстановкою, вмѣсто именъ классической древности, фигуръ Средневѣковья и Возрожденія. Гете издѣвался надъ сантиментальнымъ преображеніемъ античныхъ Геркулесовъ въ героев чахоточной добродѣтели, выношенной протестантскимъ гуманизмомъ. Эту сантиментальную чахоточность XX вѣкъ навязалъ теперь, съ легкой руки Метерлинка, и среднимъ вѣкамъ. Тмута-раканскіе болваны, желѣзные бароны и соотвѣтственные имъ дамы выходятъ у Метерлинка подобными пирожному «испанскіе вѣтры»: эфиръ! дунь, и улетить!

Я, въ молодости, много занимался фольклоромъ, между прочимъ, и фламандскимъ. Онъ поразительно рѣзокъ, грубъ, мраченъ и суевѣренъ *). Слова мужчинъ рушатся, какъ булыжники, а стыдливыя дамы отпускаютъ, ради милой шутки, такія словечки, что въ настоящее время произносить ихъ вслухъ не конфузится лишь знаменитая нижегородская рѣчная полиція. Когда я издалъ свою «Святочную книжку», одинъ критикъ упрекнулъ меня, именно за фламандскія легенды, въ грубости. Я, вмѣсто отвѣта, послалъ ему сборникъ Berthoud. Съ тѣхъ поръ критикъ укорялъ меня, что я, обрабатывая легенды, ужъ слишкомъ сокращалъ и умягчалъ ихъ. Гейне когда-то справедливо характеризовалъ «Das Nibelungenlied» фантастическою картиною, будто всѣ готическіе соборы окружили «Notre-Dame de Paris» и соперничаютъ, ухаживая за нею, а она, въ ужасѣ отъ ихъ варварскаго натиска, простираетъ къ небу свои башни-руки, и наконецъ, въ отчаяніи, хватаетъ гигантскій мечъ и сноситъ голову самому огромному собору. Но нѣтъ! восклицаетъ Гейне,

*) См. мой сборникъ «Красивыя сказки».

никакой камень не может быть твердымъ настолько, какъ жестоко Хагенъ и мстительна Кримгильда. А изъ этихъ людей мастерять сентиментальныхъ фразеровъ и нервничающихъ дѣвицъ. Одинъ impressario, которому лавры московскаго Художественнаго театра не даютъ спать, мечталъ поставить «Монну Ванну» съ детальною правдивостью и прислалъ мнѣ письмо съ запросомъ: какова должна быть Монна Ванна въ знаменитой сценѣ оголенія, чтобы, такъ сказать, даже лишь на минуту блеснувъ тѣломъ своимъ, уже оставить въ публикѣ ликующее впечатлѣніе Ренессанса? Я отвѣчалъ, что—если типическую женщину XV—XVI вѣка вывести голою въ «Моннѣ Ваннѣ», то публика подумаетъ, что это на смѣхъ, и расхохочется, пьеса-же обезсмыслится и провалится, потому что она совсѣмъ не рассчитана авторомъ на настоящую женщину XV вѣка, а на современный типъ женскій,—нервный и выродившійся, ничего общаго съ тою женщиною не имѣющій. Впрочемъ, подобралъ нѣсколько рисунковъ и послалъ. Impressario отвѣчалъ съ негодованіемъ:

— Къ чорту вашу историческую правду! У насъ въ труппѣ къ этому типу подходитъ одна Н. Не могу же я отдать Монну Ванну—комической старухѣ!

*
*

Когда братья-писатели, въ справедливомъ негодованіи, бичуютъ поименно порнографовъ, расплодившихся въ русской литературѣ, мнѣ всегда вспоминается визитная карточка, которую я видѣлъ въ болгарской Софіи:

N... N... N...

Директоръ на публичный домъ.

Адресъ.

Спрашиваю владѣльца:

—Какъ же вамъ не совѣстно расписываться на визитной карточкѣ хозяиномъ публичнаго дома? *

А онъ отвѣчаетъ совершенно резонно и справедливо:

— А если я не распишусь, то откуда же люди будутъ знать, что у меня есть публичный домъ?

Россійскіе порнографы нашли въ негодующей и клеймящей имена ихъ критикѣ необычайно услужливую визитную карточку, спѣшно и обстоятельно оповѣщающую, гдѣ, кто и какой «литераторъ» публичный домъ устроилъ и какими специальными мерзостями публика тамъ можетъ насладиться. Единственный видъ плодотворной борьбы съ этими господами—глубокое молчаніе объ ихъ именахъ и произведеніяхъ, система апостола Павла, который «не совѣтовалъ и думать о сихъ мерзостяхъ». Всякая огласка скандала—ему только реклама, на выгоду—и для неразборчивой Геростратовой славы, и въ еще болѣе неразборчивый карманъ.

Одинъ критикъ, которому я высказалъ эти соображенія, возразилъ мнѣ обидчиво и насмѣшливо:

— Не платятъ ли еще намъ эти господа за ихъ, какъ вы изволите выражаться, рекламу?

Друзья мои, не утѣшайтесь безкорыстіемъ,—что вы указываете дорогу въ публичный домъ даромъ. Вспомните Альфонса Карра:

La plus grande infamie, c'est être infâme gratis!

* * *

Самое отвратительное и кощунственное зрѣлище—когда новоявленная русская порнографія осмѣливается примѣривать на себя клочки и лохмотья несчастной русской свободы и самозванно выдавать себя за какую-то «революцію духа». Ибо нѣтъ реакціи, вящей, чѣмъ эта порнографія,—реакціи она нужна, реакціей поощряется, реакціей потребляется и на реакцію служить.

Вѣнскій корреспондентъ «Одесскихъ Новостей» сообщаетъ, что героиня пресловутаго венеціанскаго убійства, г-жа Тарновская, въ вѣнской тюрьмѣ неугомымо писала

письма о защитѣ въ союзъ русскаго народа и читала порнографическія книжки русскихъ «модернистовъ».

Вотъ это—такъ, это—компанія настоящая. Золото, кровь и блудъ воображенія. «Полны руки золота, розъ и крови!»—кажется, такъ назывался какой-то старый, старый романъ совершенно и всюду забытаго Арсена Уссэ.

Замѣчательная вещь! Еще Паранъ Дюшатле отмѣтилъ, что проститутки никогда не читаютъ порнографическихкихъ книгъ и прямо-таки брезгуютъ ими. Этотъ рынокъ держится и процвѣтаетъ вкусами исключительно «порядочнаго общества».

Самая развратная женщина, которую я зналъ въ жизни своей, любила читать только сентиментальные романы самага возвышеннаго тона и идеалистическаго содержанія: англичанъ, нѣмцевъ, старыхъ французовъ до Флобера. Золя ее возмущалъ. Въ Мопассанъ она признавала талантъ, но...

— Эхъ, милый другъ,—говорила она,—что новаго о мужчинѣ можетъ сказать мнѣ книга? У меня было любовниковъ больше, чѣмъ въ бочкѣ огурцовъ!

* * *

Къ глубочайшему моему сожалѣнію, я не читалъ пьесы Шолома Аша «Богъ мести», о которой теперь такъ много пишутъ въ русскихъ газетахъ. Но я прочиталъ десятки рецензій, изъ которыхъ вполне ясно, что въ выдающемся успѣхѣ пьесы этой мы имѣемъ дѣло не съ случайнымъ явленіемъ, что «Богъ мести»—произведение настоящаго художественнаго таланта и полно глубокой, трагической общественности.

Въ виду этого я хочу остановиться на одномъ важномъ моментѣ, который отмѣчается рецензентами, какъ пружина, движущая механизмъ пьесы къ ея фатальной развязкѣ: на любви Манки и Ривки. Такъ какъ всѣ ре-

цензенты характеризуют ихъ отношенія «сафическими», то, очевидно, авторъ приложилъ достаточно старанія, чтобы не оставить на этотъ счетъ никакихъ сомнѣній *). Надо ли, кстати ли это?

Я не принадлежу къ числу ханжей, способныхъ укорять талантливаго драматурга за смѣлость, съ которою онъ выдвинулъ на сцену новый для театра мотивъ взаимно-женской любви. Напротивъ, я утверждаю и буду крѣпко стоять на томъ, что искусство, какъ зеркало жизни, не въ правѣ потуплять глаза свои, подобно цѣломудренной Агнессъ изъ французскаго водевиля, предъ психо-физиологическими странностями современности, какъ бы щекотливы онѣ ни были. Реальность жизни должна быть реально же воспроизведена и объяснена, со всею безстрашною простотою, со всею откровенною научностью фактовъ, ее слагающихъ. И, къ слову сказать, такое реалистическое творчество по человѣческимъ документамъ,—творчество физиологовъ общества, какъ Бальзакъ, Стендаль, Флоберъ, Зола,—наилучшій и наиуспѣшнѣйшій, въ смыслѣ оздоровленія нравовъ, противовѣсъ той мистической порнографіи, которая, въ послѣднее время, такъ неутомимо просачивается въ русскую поэзію и беллетристику, созидая демоническіе апофеозы всевозможныхъ половыхъ извращеній. Со временъ пресловутаго лейпцигскаго совѣтника Ульрикса, убѣждавшаго свое правительство разрѣшить браки между лицами одного пола, не появлялось болѣе пылкой печатной проповѣди «урнингизма», чѣмъ романъ «Крылья» г. Кузьмина, пропаганду котораго «Вѣсы» сочли настолько важною, что отдали этому роману даже цѣлый отдѣльный выпускъ

*) Теперь, зная и изучивъ пьесу, я остаюсь при тѣхъ же впечатлѣніяхъ, что вынесъ изъ рецензій. «Богъ мести»—превосходная вещь, особенно въ бытовой ея части. Но подчеркнутый «садиизмъ» Манки и Ривки—грубая и совершенно ненужная приклепка къ драмѣ, въ угоду пошлой модѣ «модернизма».

Ал. А.—въ. 1908.

журнала. А, слѣдя за восторженными до захлебыванія «Лицами Творчества» г. Максимиліана Волошина-Кириѣнко, придворнаго одописца безконечно нарождающихся декадентскихъ величествъ, нельзя не убѣдиться, что г. Кузьминъ—не болѣе, какъ лишь одинъ изъ малыхъ сихъ, и идутъ по немъ нѣціи, у коихъ онъ не достоинъ развязать даже ремень сапога.

Итакъ, мотивъ, введенный Шоломомъ Ашемъ въ драму свою,—законное пріобрѣтеніе театра. И реалистическое освѣщеніе его даже желательно, если не необходимо,—въ виду все болѣе и болѣе широкаго распространенія «сафическихъ» уклоненій полового инстинкта среди женщинъ городской цивилизаціи.

Но, тѣмъ не менѣе, проявленіе этого мотива именно въ «Богъ мести» возбуждаетъ во мнѣ нѣкоторыя недоумѣнія. Естественно-ли? Не выбралъ-ли «Богъ мести», руководимый молодымъ драматургомъ, — чтобы наказать стараго грѣшнаго торговца живымъ товаромъ,—средства, ужъ слишкомъ исключительнаго, рѣдкаго и, потому, анекдотическаго?

Я не сказалъ бы ни слова противъ, если бы авторъ пьесы былъ не еврей, и если бы самая пьеса не признавалась единогласно типически еврейскою, расовою пьесою. Но въ расовой пьесѣ и соблазнъ, рѣшающій судьбы ея героевъ, долженъ быть расовымъ. Если въ немъ не дышитъ обобщающій фатумъ націи, онъ обращается просто въ печальную случайность, то есть именно въ прискорбный анекдотъ.

Не иначе, какъ къ этому разряду непріятныхъ исключеній приходится отнести и сафическій романъ Манки и Ривки. Евреи — не ангелы безпорочные, и специальныхъ грѣховъ союза расоваго, соціальнаго, религіознаго у нихъ имѣется достаточно, какъ во всякой народной группѣ. Но вотъ именно этого-то грѣха—увлеченій Манки и Ривки—въ еврействѣ, какъ будто, не замѣчается?

По крайней мѣрѣ, всеевропейская казуистика половой психопатіи—прямое противопоказаніе тому, чтобы принять романъ этотъ за явленіе типическое и постоянное для еврейской среды, въ особенности же, за расовое.

Показанія Каспера, Лемана, Крафтъ-Эбинга, Маньяна. Тарновскаго, Ломброзо, Ферреро, Мартино — налицо, Ихъ можетъ провѣрить каждый по общеизвѣстнымъ произведеніямъ этихъ знаменитостей. Но у меня, уже лѣтъ восемь, если не больше, хранится рукопись московскаго врача Т.,—результатъ его двадцатилѣтнихъ наблюденій за порокомъ, на который даетъ намеки Шоломъ-Ашъ.

Въ 149 наблюденіяхъ д-ра Т. еврейки занимаютъ послѣднее мѣсто: за 20 лѣтъ,—лишь семь случаевъ... притомъ, четыре изъ нихъ были—еврейки лишь по національности: крещенныя. И только двѣ изъ семи—не проститутки.

149 наблюденій д-ра Т. распредѣляются національно въ такомъ порядкѣ:

Русскія	66
Нѣмки.	27
Польки и др. славянки . . .	19
Француженки	17
Армянки	12
Другія восточныя народности .	11
Еврейки	7

149

Конечно, это распредѣленіе неспособно установить критерія международной нравственности. Такъ, напримѣръ, ясно, что огромный процентъ русскихъ, стоящихъ во главѣ печальнаго списка, зависитъ просто отъ того, что д-ръ Т. практиковалъ въ Москвѣ и, слѣдовательно, имѣлъ дѣло, по преимуществу, съ русскими пациентками. Въ амбулаторномъ списокѣ порока этотъ процентъ огроменъ, но, растворяясь въ массѣ населенія, настолько ничтоженъ,

что даже трудно уловить. Это—отношеніе единицъ къ сотнямъ тысячъ. Наоборотъ, процентное отношеніе прочихъ паціентокъ съ наличною численностью ихъ національныхъ колоній въ Москвѣ было бы ужасно обличительно, если бы не имѣло специфической причины: до 60% этихъ иностранокъ—наѣзжія или привозныя, явныя или тайныя проститутки. А въ этомъ классѣ «сафизмъ» — профессиональный недугъ—порокъ, поражающій отъ 20 до 35 проц. всѣхъ, занимающихся проституціей, женщинъ. По Бебелю—для Берлина—даже до 50%! Изъ 17 французенокъ, обращавшихся къ д-ру Т. за совѣтами, подъ категорію тайной или явной проституціи не подходили всего лишь четыре. Вообще, изъ 149 паціентокъ списка, профессиональность располагалась въ такомъ порядкѣ: 1) проститутки—42 проц., 2) артистки сцены, цирковъ, хоровъ, кафешантановъ и пр.—28 проц., 3) женская прислуга—16 проц., 4) женщинъ изъ интеллигенціи—14 проц. Такъ что, какъ профессиональный типъ, Манка въ пьесѣ г. Шолома Аша вполне оправдана статистически. Но, что касается національности, статистика, къ счастью еврейской расы, не на сторонѣ г. Шолома Аша. Опять-таки напоминаю данныя Ломброзо, Ферреро, Мартино. Въ списокъ д-ра Т. еврейкамъ отведено менѣе 5 проц. И—это накопленіе порока за 20 лѣтъ! И—при томъ печальномъ изобиліи, съ которымъ эксплуатація общественнаго темперамента выбрасываетъ на рынки живого товара несчастныхъ дѣвушекъ еврейской темноты и бѣдности!

Словомъ, въ виду рѣдкости этого извращенія среди еврейскихъ женщинъ,—съ чѣмъ, конечно, остается лишь отъ души ихъ поздравить,—приключеніе Ривки, которымъ «Богъ мести» караетъ преступнаго Янкеля,—обрушивается на послѣдняго не фатально, но катастрофически, «не въ счетъ абонементъ». Это—въ своемъ родѣ—черепаха, упавшая съ неба на лысину Эсхила, ударъ мол-

ніи среди яснаго дня, Кюри, растоптанный копытомъ ломового першерона. Скверная случайность безъ логической посылки и неспособная къ логическому выводу.

Конечно, «бываетъ». Но въ пьесѣ, столь опредѣленно дидактической и полезно морализирующей, какъ красивое произведеніе г. Шолома Аша, хотѣлось бы исхода болѣе послѣдовательнаго, простого и, потому, житейски необходимаго, чѣмъ путь описаннаго имъ чрезвычайнаго исключенія. Въ пьесахъ старинной морали на главу торжествующаго взяточника, въ послѣднемъ актѣ, опускалась съ колосниковъ «Рука Провидѣнія», поднимала негодя за волосы и уносила въ невѣдомое. «Богъ мести», въ случаѣ Янкеля, распорядился немножко по рецепту этой чудодѣйствующей руки, то есть—выбралъ въ своемъ мстительномъ арсеналѣ самую рѣдкостную и невѣроятную молнію, какую только могъ выбрать...

* *
*

Что, въ человѣческихъ отношеніяхъ, оскорбляетъ больше и глубже всего на свѣтѣ?

Говорятъ: внезапное предательство со стороны друга. Когда-то я самъ былъ того же мнѣнія. Но дружескія предательства — такое обычное и частое зло, что, въ концѣ-концовъ, отъ нихъ нарастаетъ мозоль на сердцѣ, и боль притупляетъ свою остроту. Съ годами я, по горькому опыту, убѣдился, что кое-что жалить и жжетъ больнѣе. Напримѣръ:

Предательскій ударъ врага, въ которомъ ты имѣлъ глуность уважать честнаго человѣка, а потому и церемонился съ нимъ, какъ съ «рыцаремъ».

Не вѣрьте во враговъ-рыцарей. Это—химера: звѣрь, который выставляетъ впередъ львиную голову, чтобы вы не замѣтили зажатого между ногъ хвоста съ змѣинымъ жаломъ на концѣ.

Когда васъ предаеть другъ, вы, по крайней мѣрѣ, имѣете утѣшеніе сказать ему:

— Иуда!

Когда васъ предаеть врагъ-«рыцарь», вамъ некому и нечего сказать, кромѣ, какъ самому себѣ:

— Дуракъ!

Жаль человѣка, который, опустивъ руку въ цвѣты, неожиданно встрѣчаетъ подъ ними ядовитые зубы скрытой змѣи. Но если человѣкъ, зная, что въ цвѣточной корзинѣ сидитъ змѣя, не только не убиваетъ ея, но еще суетъ въ цвѣты голую руку, въ глупой вѣрѣ, что змѣя, по благородству своему, его пощадитъ,—такъ и надо человѣку тому, чтобы хорошо укусила его змѣя... Туда ему и дорога!

* *
* *

Моя молодость прошла въ восьмидесятыхъ годахъ. Ненавижу я это поганое время. Если бы можно было, подобно доктору Фаусту, выпить чашу Мефистофеля и вернуться—на сколько хочешь лѣтъ назадъ, ни за что такъ далеко не возвратился бы...

Но... вотъ что, милостивые государи мои!

Вѣдь все то, что мы, восьмидесятники, имѣли въ себѣ постыднаго, на что такъ нелѣпо, грѣшно и безтолково промѣняли и размѣняли мы свои зачатки гражданственности, за что презирали насъ старшіе братья наши, граждане семидесятыхъ годовъ, и въ чемъ сами мы лишь черезъ презрѣніе къ себѣ барахтались, все это—сейчасъ чуть не въ апофеозѣ!.. Это—«Діонисово торжество»... это—«оргіазмъ»... это—«революція духа» и «воскресеніе плоти» или воскресеніе духа и революція плоти... все равно: отъ слова не станется! Сколько звонкихъ словъ для покрытія дряблой, пустой и грязной суетни, полной красивенькаго переливанія изъ пустого въ порожнее, утробныхъ восторговъ и фаллическихъ упованій! И, наоборотъ,

единственное хорошее, что оставалось въ нашемъ поколѣніи и что, въ концѣ-концовъ, кое-какимъ обломкамъ его помогло уцѣлѣть и ожить въ дѣйствительность, — сознание оскорбительныхъ правдъ жизни и способность къ мрачному стыду за рабское и развратное существованіе, которое мы имѣли низость трусливо влачить, — сейчасъ все это ужъ куда не въ авантажъ и не въ фаворъ обрѣтается.

Среди восьмидесятнаго поколѣнія торжествующая свинья торжествовала, но, по крайней мѣрѣ, въ хлѣбѣ, а не въ храмѣ, и твердо знала, что она, свинья, — только свинья, а не богъ. Сейчасъ она, красавица, на пьедесталѣ и, самодовольно кобелясь, хрюкаетъ къ толпѣ:

— Нѣтъ, вы еще докажите мнѣ, что я — свинья... Я, можетъ быть, совсѣмъ не свинья, но аватаръ Адониса!

Меня въ ужасъ привело письмо въ «Руси», что цѣлая комиссія молодежи занималась, какъ серьезнымъ дѣломъ, разбирательствомъ «вопроса чести»: можетъ ли оставаться въ студенческой средѣ товарищъ, откровенно сдѣлавшійся проституткомъ и поступившій на содержаніе къ какому-то богатому старику?

И мнѣнія раздѣлились! И обвиняемый, съ наивностью Агнессы, вопрошаетъ:

— Да почему же это, собственно говоря, безнравственно?

И летятъ со всѣхъ сторонъ, и печатаются праздные письма непутевой обывательщины, которая поддакиваетъ:

— Да, да, конечно, оно, дѣйствительно, какъ будто того... пахнетъ... Но, въ самомъ дѣлѣ, почему же это безнравственно?

Въ томъ же номерѣ газеты какой-то возмущенный корреспондентъ цитируетъ объявленіе:

«За деньги на все способенъ», — и адресъ.

Не то, что въ восьмидесятыхъ или девяностыхъ годахъ, но еще три года назадъ подобное объявленіе было

бы принято, какъ злая иронія, вызывающій щедринскій фарсъ какого-либо циническаго шутника. Сейчасъ это— «въ самомъ дѣлѣ» и «очень просто».

Да и, дѣйствительно, какой же смыслъ и резонъ человѣку, чувствующему себя «за деньги на все способнымъ», стыдливо прятаться въ тѣни, когда общество оставляетъ вопросомъ еще спорнымъ — даже мораль прекраснаго молодого человѣка, торгующаго среди мужчинъ тѣломъ своимъ?

Долго не видать вамъ свободы, господа. Не добыть ея вѣку людей, «за деньги на все способныхъ»,—какъ продавать, такъ и покупать.

* *
*

Есть у меня пріятель-эмигрантъ. Три года тому назадъ онъ уложилъ чемоданы свои, чтобы при первой возможности ѣхать въ Россію. Бѣжали дни... недѣли... мѣсяцы... Эмигрантъ мой, вмѣсто Россіи, поѣхалъ съ чемоданами своими погостить въ глухую французскую провинцію. Не все ли равно, впрочемъ, откуда ни ѣхать въ Россію, при первой возможности,—изъ Парижа или изъ захолустья? Прошло еще полгода. Пріятель мой—агрономъ. Слышу, что онъ въ захолустьѣ уже не гоститъ, но арендовалъ дикій клочокъ земли и чемоданы разложилъ, а землю принялся воздѣлывать. Я написалъ ему: — Охота вамъ платить довольно дорогую аренду, не лучше ли купить?—Онъ отвѣчалъ: «Что вы! Какъ можно! Вы же знаете, что я при первой возможности ѣду въ Россію! Аренду передать всегда легко, а собственность меня свяжетъ». Прошло еще полгода,—бѣдняга пишетъ: «Вы были правы, я тоже пришелъ къ убѣжденію, что выгоднѣе пріобрѣсти землю въ собственность. Тѣмъ болѣе, что, какъ только я получу возможность поѣхать въ Россію, пропріетеръ обѣщаетъ взять мой участокъ обратно за $\frac{2}{3}$ стоимости». Потомъ опять пишетъ: «Хозяйство идетъ

отлично; но изъ осторожности, чтобы быть всегда наготовѣ къ отъѣзду, не сажаю даже двухлѣтнихъ растеній, однѣ скороспѣлки... Что же на чужихъ-то работать? Не разсчитъ!»

Сейчасъ получилъ письмо отъ него, послѣ годового слишкомъ антракта. Пишетъ, что только что прикупилъ еще два акра и хочетъ разбить на нихъ... плодовый садъ!..

«Если когда-нибудь явится возможность поѣхать въ Россію, повезу роднымъ яблоки изъ своего собственнаго сада» и т. д., и т. д.

Яблоня даетъ первый свой плодъ на шестой годъ посадки...

А во сколько лѣтъ увядаетъ человѣческая надежда?

* *

Когда при мнѣ говорятъ общія оптимистическія фразы, въ родѣ—«надо уважать человѣчество!»—мнѣ всегда хочется спросить:

— Съ кого прикажете начать?

Когда-то давно, въ очень серьезномъ разговорѣ, Д. В. Григоровичъ сказалъ мнѣ:

— Какъ хотите, душа моя (это у него была поговорка), но въ нашъ вѣкъ между людьми еще не было такого поголовнаго взаимонеуваженія, какъ теперь. Въ настоящее время, если одинъ человѣкъ говоритъ вамъ о другомъ, — изъ ста въ девяносто девяти случаяхъ, онъ того человѣка нисколько не уважаетъ. Если вы видите двоихъ за столомъ, пари можете держать, что они оба другъ друга въ тайнѣ не уважаютъ, ненавидятъ, презираютъ... Откуда это взялось? Какъ началось? Почему?

Я отвѣчалъ:

— Вѣроятно, потому, что каждому самого-то себя не за что уважать... А за что же онъ будетъ другого считать лучше себя? Когда не уважаешь себя, уважать сосѣда—обидно...

Со времени этого разговора прошло одиннадцать лѣтъ. Процессъ взаимонеуваженія, о которомъ говорилъ Григоровичъ, разросся съ тѣхъ поръ, какъ баобабъ африканскій... И не могу сказать, чтобы время заставило меня переменить мысли о коренной причинѣ взаимонеуваженія. Напротивъ, укрѣпило...

Нѣ за что, не за что людямъ эпохи уважать самихъ себя,—ну, и другъ друга не уважаютъ.

* *
*

Спрашиваютъ меня:

— Читали вы «Комедію о Евдокіи изъ Геліополя, или Обращенную Куртизанку»? Авторъ — г. Михаилъ Кузьминъ.

— Къ сожалѣнію, читалъ. Комедія заинтересовала меня на третьей страницѣ необыкновенно сильнымъ сравненіемъ:

«Не находите-ли вы ея щеки напоминающими чайныя розы, освѣщенные зарей?»

Чайныя розы въ Геліополѣ Сврскомъ (ради стиля, даже черезъ ъжицу!) достаточно выразительны, чтобы, встрѣтивъ ихъ на третьей страницѣ, уповать, что на дальнѣйшихъ найдешь добрыхъ геліопольцевъ за кипящимъ самоварчикомъ, пьющими «ханскій цвѣтокъ» или «лянсинъ». Надежды мои, однако, не сбылись. Вѣрнѣе, сбылись лишь на-половину. Ни самовара, ни магазина китайскихъ чаевъ въ Геліополѣ, по хитрому умолчанію автора, будто бы, не оказалось. Я совсѣмъ уже готовъ былъ повѣрить, что въ самомъ дѣлѣ г. Кузьминъ завелъ насъ куда-то въ глубь вѣковъ по сосѣдству съ античнымъ міромъ, какъ вдругъ Евдокія изъ Геліополя проговорила:

— Къ завтраму приготовить мнѣ зеленое платье съ розами и сафирныя серьги!

Слыша, что геліопольская Евдокія столь отчетливо выражается на чистомъ таганскомъ нарѣчій, я воскре-

силъ надежды угоститься античнымъ чайкомъ—и даже не въ накладку, а въ прикуску, по старинному, по Островскому. Чтобы приказывать «къ завтраму» зеленое платье съ розами (по купечеству это называется—«пукетами») при сафирныхъ серьгахъ, Евдокія должна была съ малолѣтства «парить брюхо китайскою травкою».

Вообще, эта Евдокія объясняется языкомъ столь сверхъестественнымъ, что — такъ и хочется сказать ей изъ «Бесплодныхъ Усилій Любви»:

— О, Господи, какое бы это было несчастье, если бы вамъ пришлось добывать себѣ хлѣбъ насущный преподаваніемъ грамматики!

Евдокія утѣшаетъ влюбленнаго въ нее Филострата:

— Когда взойдетъ одна и та же (!) одинокая вечерняя звѣзда, я буду молиться о васъ, который будетъ думать обо мнѣ.

«О васъ, который будетъ»... Вы, который онъ. Это что-то въ родъ знаменитой жалобы одесскихъ грековъ на вора-матроса:

— Мы купили рыбу для мы, а онъ скушалъ для я.

Положимъ, что и Евдокія тоже предполагается гречанкою.

Евдокія пишетъ стихи, очень полезные для экзаменовъ декламациі—косноязычнымъ, ищущимъ избавиться отъ своего порока. Ежели такую штуку можешь выговорить вслухъ и не запнувшись,—значить, возблагодари Господа Бога твоего: ты болѣе не заика и никогда уже онымъ не будешь! Напримѣръ:

Магдалина, ты пророчицею

Не была,

А Христа, какъ вертоградаря, ты

Обрѣла.

Размѣръ этихъ стиховъ,—въ особенности, третьяго съ протяженносложеннымъ «вертоградаремъ»—просодическая тайна. Впрочемъ, по части стиховъ, у Евдокіи

въ «Комедіи» есть побѣдоносный конкурентъ, въ лицѣ Ангела, декламирующаго, между многими подобными же, и такія вирши:

Одна рѣка стремить стрѣлой,
Другая крутитъ вправо, влѣво;
Кто святъ вдовою пожилой,
Кто святъ, какъ молодая дѣва.

По-ангельски, должно быть, хорошо, но по-русски непонятно и малограмотно.

Мѣсяца три тому назадъ въ сатирическомъ фелъетонѣ «Карьера литератора Вьенпупульскаго» я заставилъ одного молодого поэта произнести слѣдующій, какъ я полагалъ, «шаржированный» монологъ:

— Что такое фѣзическій полъ? Условность, насиліе природы. Истинный полъ—въ душѣ, въ сознаніи человека. Надо быть сильнѣе и выше природы. Надо повелѣвать. Какое право природа имѣла создавать меня мужчиною, если я сознаю себя и желаю быть женщиною? Я—женщина. Не смотрите на мои брюки: это условность... все, что вы видите во мнѣ мужского, не болѣе, какъ условности.

Каково же было мое изумленіе, когда въ пьесѣ «Опасная Предосторожность» г. М. Кузьмина я обрѣлъ идеи моего «шаржа» выраженными не только полностью, но даже еще и въ стихахъ:

Между женщиной и молодымъ мужчиной
Разница совсѣмъ не такъ ужъ велика,
Какъ между холмомъ и низкою равниной
Или какъ отъ уха разнится рука:
Все только мелочи,
Все только мелочи;
Узкія бедра да гибкій станъ
Юношѣ отъ неба, отъ неба данъ,
Въ женщинѣ цѣнится округлость полноты—
Вотъ и вся разница—видишь ты?
Орелъ или рѣшка, верхушка или дно,
Для игрока это—все одно.

Ну, и тѣмъ лучше для г. Кузьмина. Жаль только, что стихи-то—опять-таки ангельскіе:

Узкія бедра да гибкій станъ
Юношѣ отъ неба, отъ неба данъ...

Невольно хочется исправить въ томъ же поучительномъ размѣрѣ:

Бедра бываютъ не данъ, а даны,
Ибо на нихъ укрѣпляютъ штаны.

И все это безграмотное приемачество, и вся эта якиманско-таганская проза выдаютъ себя за проповѣдь и утвержденія «стиля»!

* * *

Завѣтная мечта и задача каждого русскаго декадента-порнографа—ставить точку на і даже въ тѣхъ случаяхъ, когда онѣ поставлены. На нѣкоторыхъ і выросли уже цѣлыя шапки точекъ, но ненасытнымъ труженикамъ словобудія все мало. Я уже говорилъ въ «Временахъ и Нравахъ», что русскій декадансъ не удовлетворился непристойностями ни потайныхъ русскихъ сказокъ, ни греческой миеологіи. Надо было «перепохабить» и—чортъ знаетъ, какихъ только новыхъ пороковъ и прегрѣшеній не взвели усердствующіе россіяне на сконфуженный Олимпъ! Брантомъ, съ его придворною хроникою XVI вѣка, казалось бы, тоже писатель не для дѣтскаго возраста. Но художники русской порнографіи находятъ: мало! не договорилъ! Сочиняются «Приключенія», страницы которыхъ, лѣтъ триста пятьдесятъ тому назадъ, съ удовольствіемъ прочитала бы Екатерина Медичи. Шекспиръ, чтобы характеризовать «странности любви», ставилъ прекрасную Титанію влюбиться въ мастерового съ ослиною головою. Русскому декадансу опять мало. Является мистерія, гдѣ уже настоящій четвероногій осель-оборотень оказывается любовникомъ... Оберона!

Вообще, вся эта пародія на «Сонъ въ Иванову ночь» — сплошной лепетъ безстыдничавшей импотенціи. Ужъ стараются, стараются разжечь свое воображеніе милые чело-вѣчки, а нѣтъ огня, только зловонный чадъ курится. Оберона влюбили въ осла, невинныхъ Елену и Гермію обратили въ безпутныхъ бабъ и бросили на изнасило-ваніе шайкѣ бродягъ... вертятъ предъ глазами циниче-скій стереоскопъ и такъ, и этакъ... нѣтъ, не помогаетъ!

Когда-то «Сонъ въ лѣтнюю ночь» пытался покон-чить мистеріей («Духи Шекспира») В. К. Кюхельбе-керъ — тотъ самый, о которомъ Пушкинъ острилъ:

Такъ было мнѣ, мои друзья,
И Кюхельбекерно, и тошно...

Везетъ же Шекспиру на русскихъ преемниковъ!

* * *

О порнографичности пресловутыхъ «Тридцати трехъ уродовъ» накричали слишкомъ много. Несмотря на острую щекотливость темы этого разсказа, онъ, все-таки, долженъ быть выдѣленъ изъ вонючей груды ремеслен-ныхъ писаній декадентскаго рынка, удовлетворяющаго неврастеническій безпутный спросъ порнографическихъ предложеній.

Если бы эта вещь — «Тридцать три урода» — не была напечатана, а осталась въ рукописи, наука лишилась бы очень важнаго «человѣческаго документа», мимо кото-раго впредь не имѣютъ права пройти безъ вниманія ни художникъ, ни беллетристъ, ни психіатръ, ни фізіологъ. Я совершенно перемѣнилъ свое предубѣжденіе противъ «Уродовъ», какъ скоро познакомился съ ними не по выпискамъ въ рецензіяхъ и перепечаткамъ въ газетахъ, а цѣликомъ, по оригиналу. Это — «никакая литература», жалкое, ребяческое письмо, но — какъ «человѣческій до-кументъ», — повторяю, памятникъ первостепенной важ-ности.

Въ рукахъ моихъ находится рукопись одного московскаго врача-невропатолога, посвященная опытному изслѣдованію того самаго недуга «однополой любви», которымъ дышать «Тридцать три урода». Мнѣ уже пришлось однажды говорить объ этой рукописи по поводу любви Манки и Ривкеле въ «Богѣ мести» г. Шоломъ Аша. Теперь мнѣ приходится упомянуть ту же рукопись по поводу «Тридцати трехъ уродовъ». Интереснѣйшую часть ея составляютъ письма и дневники взаимно-влюбленныхъ женщинъ. Подобныя письма и дневники имѣются также у Дю-Комманжа, Парана-Дюшатле, Ломброзо и Ферреро и т. д. Письма и дневники рукописи доктора Т. интереснѣе для русскаго читателя тѣмъ, что ихъ писали русскія же больныя (по преимуществу). Какъ и ранѣе оглашавшіеся документы однополой любви, эти письма и дневники дѣлятся на двѣ категоріи. Или они возмутительно грубы, циничны, непристойны, какъ по мыслямъ, такъ и по выраженіямъ; или, наоборотъ, необычайно сентиментальны, полны самой возвышенной декламации о самыхъ утонченныхъ и эфирныхъ чувствахъ, пылко и поэтически страстны, бурно и отвлеченно ревнивы. Середины не бываютъ. Или первое, или второе. Притомъ, первое встрѣчается рѣдко, въ почти ничтожномъ меньшинствѣ, а второе — въ подавляющемъ большинствѣ заурядъ.

Читая «Тридцать три урода», я убѣждался каждою страницею, что вижу передъ собою художественную обработку одного изъ такихъ дневниковъ — второй, сентиментальной категоріи. Законный вопросъ: не лишняя ли здѣсь какая бы то ни было художественная обработка? Не лучше ли было бы оставить натуру въ натурѣ? Но наличность и подлинность человѣческаго документа несомнѣнна. Покойная Аннибаль-Зиновьева менѣе всего думала о реализмѣ, какъ въ жизни, такъ и въ писательствѣ своемъ, воевала съ нимъ не на животь, а на смерть, но нечаянно написала

брошюру, которая останется драгоценнѣйшимъ матеріаломъ не только для реалистическаго, но даже и для натуралистическаго творчества. Въ вопросѣ извращенія половой морали, котораго изображеніемъ занялась Аннибалъ-Зиновьева, повѣсть ея можетъ быть цитирована, какъ точное медицинское наблюденіе. Это — книга полового ужаса, но не порнографія. Это — рисунокъ изъ анатомическаго атласа, который совершенно напрасно и ошибочно выдается публикѣ за художественное произведеніе, но не картинка для стереоскопа молодыхъ старичковъ и мышинныхъ жаробчиковъ. Это — слово искреннее и безъ расчета потрафлять на сладострастный спросъ рынка. Чувствуется крикъ страданія, желающаго высказаться, ищущаго, чтобы его поняли и пожалѣли. Но, опять-таки, совсѣмъ особымъ вопросомъ становится: стоитъ ли жалѣть-то?

Жалѣть героинь «Тридцать трехъ уродовъ», конечно, не за что и не стоитъ. Все ихъ напускное несчастье выросло и развилось на почвѣ аристократическаго вырожденія, въ средѣ рѣдкостной сытости и праздности матеріальной. Видѣть въ немъ страданіе, обобщающее чело-вѣчество, — а только такія страданія и заслуживаютъ участія, — невозможно, какими пышными словами ни украшай и ни заслоняй некрасивую суть болѣзни. Она эгоистически грязна, противообщественна, и на судъ общества состраданія не встрѣтитъ. Но врачъ — не судья. Изслѣдуя больного, онъ обязанъ помочь его страданіямъ, не считаясь съ тѣмъ, поскольку почтенны или презрѣнны причины недуга. Онъ равно обязанъ — перевязать честную боевую рану воина за свободу и чистить промывательнымъ засоренный желудокъ обожравшагося вивера. И долженъ одинаково умѣть и то, и другое. Ибо онъ борется съ властью смерти въ мірѣ семъ, а умереть возможно одинаково — что отъ боевой раны, что отъ засоренія желудка.

Гастонъ Дюбуа Десолль, — ученый морякъ, когда-то

вызвавший своими разоблаченіями ревизію французскихъ дисциплинарныхъ батальоновъ и преждевременно погибшій въ 1903 году въ Абиссиніи отъ руки убійцы, — оставилъ огромный посмертный трудъ: «Etude sur la Bestialité au point de vue Historique, Médical et Juridique». Онъ былъ обнародованъ въ 1905 году всего въ 500 экземплярахъ, пущенныхъ по очень высокой цѣнѣ. Это замѣчательная работа объ извращеніи инстинкта, еще болѣе мрачномъ, чѣмъ то, съ которымъ мы встрѣчаемся въ повѣсти Аннибалъ-Зиновьевой. Въ числѣ многихъ своихъ отдѣловъ, она имѣетъ отдѣлъ «литературныхъ документовъ», «La Bestialité dans la Littérature»: сводъ обширныхъ выписокъ, показывающихъ, какъ понимали психологію общенія съ животнымъ народныя сказки, Бальзакъ, Рапильдъ и т. д. Вотъ, если однополая любовь дождется въ Россіи не только сладострастно-сентиментальныхъ декадентскихъ вздоховъ и брезгливыхъ пуританскихъ плевковъ, но и серьезнаго научнаго изслѣдованія, то тамъ, среди «литературныхъ документовъ», книга Аннибалъ-Зиновьевой будетъ на своемъ мѣстѣ — въ высшей степени полезна и выразительна.

Я нѣсколько разъ убѣждалъ д-ра Т. опубликовать свою рукопись, но всегда имѣлъ одинъ и тотъ же отвѣтъ:

— Послѣ моей смерти.

Человѣкъ не хотѣлъ, чтобы о немъ шла молва, — какъ то было о Крафтъ-Эбингъ послѣ «*Psicopatia Sexualis*», — что онъ, ради наживы, бросилъ въ общественное море рѣчку грязной казуистики. Дюбуа Десолль тоже не хотѣлъ печатать «*La Bestialité*» при жизни своей. Вотъ тактика, которой я рѣшительно не понимаю. Пьяные и безумные бредятъ, кричатъ и дѣлаютъ гадости, а трезвые и знающіе зашиваютъ себѣ ротъ цѣломудренными страхами и щекотливыми опасеніями, не причислится бы невзначай къ вороватымъ и обреченнымъ казни воробьямъ, будучи добродѣтельною овсянкою. Больные сладострастнымъ одурѣ-

ніемъ овладѣли печатными станками и, чрезъ нихъ, заражаютъ здоровыхъ, а врачи—скрывай свои наблюденія и лекарства подъ спудомъ и цѣломудренно молчи?

О литературномъ значеніи «33 уродовъ», конечно, не стоитъ говорить... Повѣсть хороша только тамъ, гдѣ она — исповѣдь безыскусственной искренности. Чуть отвлеченіе, — пошли шумѣть жиденскія, избитыя, условно-лживыя идейки, облеченныя въ огромно-раздуваемыя, звонкія, пустыя слова. Тема — что называется на конкурсныхъ экзаменахъ — по самозаданію и куца. Красота, созданная и обожествленная большимъ воображеніемъ двухъ взаимно-влюбленныхъ психопатокъ, умираетъ для нихъ, — видите ли, — какъ скоро 33 художника, каждый по-своему, изобразили ее въ рисункахъ своихъ. Ахъ, это не та, это не Вѣрина красота! Ахъ, значить, той, Вѣриной красоты нѣтъ? Ахъ!.. И все это столь огорчительно, что Вѣра отравилась... Туда и дорога!

Любопытно, что Аннибаль-Зиновьева даже и не подозревала, какое торжество ненавистнаго ей реализма рассказала она въ своей повѣсти. Каждая правда жизни — такая огромная штука, что разсматривать и изображать ее реалистически можно не только съ 33 точекъ зрѣнія, но и съ 333-хъ, и болѣе. Но каждымъ реалистическимъ изображеніемъ запечатлѣвается и утверждается какая-нибудь наблюденная сторона правды и разрушается, окружавшій ее, бредъ мечтательнаго міеа. И, когда реализмъ дѣлаетъ подсчетъ своимъ наблюденіямъ и сводитъ ихъ вмѣстѣ, — міеъ улетучивается незримымъ газомъ, и, вмѣсто фантасмагоріи, открывается жизнь; вмѣсто призраковъ, инкубовъ и суккубовъ, требуетъ къ себѣ вниманія зримый, чувствуемый, осязаемый человѣкъ. И — кто, въ эгоистическихъ кривляніяхъ извращеннаго аристократизма, не согласенъ имѣть дѣло съ человѣкомъ, но требуетъ среды міеа, общества призраковъ, сладострастія инкубовъ и суккубовъ, питанія лжами ффеерической мистики, — того

жизнь безжалостно и справедливо выметает за порог свой, какъ ненужный соръ. Потому что слишкомъ много въ ней настоящихъ страданій, чтобы сберечь и утѣшать напускныя коверканія — самозванные маски страданія — какихъ-то съ жиру взбѣсившихся Вѣръ. Единственное, что можетъ жизнь сдѣлать въ ихъ пользу, — своевременно отдать ихъ въ руки невропатолога или психіатра. Не пользуются эти, — значитъ, обреченное гибели должно погибнуть. И нисколько не жаль.

* * *

Салтыковъ говорилъ:

— Есть господа, которые догадываются о томъ, что они, должно быть, сдѣлали подлость, только, когда ихъ бьютъ по рожѣ, и начинаютъ подозрѣвать, что они — свиньи, только, когда имъ наплюютъ въ «лаханъ».

Наивный Михаилъ Евграфовичъ! Онъ еще воображалъ, будто для «господина» заподозрить въ себѣ свинью — своего рода познай самого себя, и, слѣдовательно, шагъ къ самоисправленію. Могъ ли онъ подозрѣвать, что не пройдетъ даже 20 лѣтъ со смерти его, а сознаніе себя свиньею сдѣлается уже самоуслажденіемъ — да не какихъ-нибудь Разуваевыхъ и Колупаевыхъ, но литераторовъ, интеллигентовъ, въ нѣкоторомъ родѣ соли земли русской?

Сейчасъ я получилъ изъ Москвы номеръ юмористическаго журнала, сплошь глупый, пошлый, порнографическій, съ ярко выраженнымъ тяготѣніемъ къ чернымъ сотнямъ. Редакторъ подписывается Геростратикъ, уже много лѣтъ тому назадъ старавшійся обратить на себя общественное вниманіе литературными скандалами, но, при всемъ томъ, сыгравшій нѣкоторую роль въ русскомъ декадентствѣ и бывшій одною изъ первыхъ его ласточекъ. О дрянномъ московскомъ изданіи не стоило бы и поминать, если бы оно не поражало именно восторгомъ свинорадости, именно гордою полнотою свиного самосо-

знанія. Двѣ страницы номера заняты четырьмя рисунками, изображающими торжествующихъ свиней, — два борова и двѣ чушки, — во всемъ ихъ вестфальскомъ великолѣпнѣи... Подпись: «Редакція журнала такого-то въ полномъ составѣ»... Думаю, что до подобныхъ автохарактеристикъ не унижался еще ни одинъ печатный органъ, ни въ какой странѣ, ни въ какую эпоху. Это даже не цинизмъ. Это — сусизмъ!

Гамлету за человѣка страшно было. Но, если такъ дальше пойдетъ, то — что ужъ о человѣкѣ! Даже за свинью страшно становится. И даже за свиную репутацію вступить придется. Клеветать на бѣдную хавронью новые всеядные самозванцы... куда же ей, глупой, до нихъ!

Vies imaginaires

Въ безсонную ночь взялъ я съ полки первую книгу, какая подъ руку попала, развернулъ тоже, гдѣ попало, и началъ читать съ первой открывшейся строки:

«Полуляховъ учился недолго въ школѣ, но настоящее воспитаніе получилъ въ публичномъ домѣ».

Книга была—«Сахалинъ» В. М. Дорошевича. Полуляховъ—герой знаменитаго въ свое время преступленія, убійца семьи Арцимовичей, въ г. Луганскѣ. Тутъ же портретъ Полуляхова приложенъ. Красивый, привлекательный молодой человѣкъ.

Я вполне увѣренъ, что не читалъ «Сахалинъ» уже года четыре, и Полуляхова забылъ совершенно. Между тѣмъ, угрюмая начальная фраза его характеристики прозвучала въ моей памяти свѣжо до недоумѣнія, словно я ее только сегодня или вчера видѣлъ или слышалъ. Гдѣ же?

Вспомнилъ. Въ фельетонѣ «Руси». Г. Максимиліанъ Волошинъ писалъ о поэтѣ Валеріи Брюсовѣ и оповѣщалъ почтеннѣйшую публику:

— Дѣтство Валеріа Брюсова прошло у дверей публичнаго дома.

И такъ радостно оповѣщалъ, словно онъ тѣмъ г. Валерію Брюсову, по меньшей мѣрѣ, Бѣлаго Орла жаловалъ. Дальше сообщалось съ неменьшимъ упоеніемъ, что, вырастая у дверей публичнаго дома, г. Валерій Брюсовъ не умѣетъ смотрѣть на женщину иначе, какъ

на проститутку, и что, въ глуби вѣковъ и въ отдаленіи странъ, онъ, по женской части, кромѣ проституціи, ничего не хочетъ или не можетъ видѣть. Сии черты изъ жизни г. Валерія Брюсова повергли меня въ новое смущеніе: какъ разъ то же самое сообщаетъ В. М. Дорошевичъ и о Полуляховѣ. Унылая параллельность прецедентовъ внушала невольное опасеніе за дальнѣйшія открытія г. Максимиліана Волошина: ну-ка, вдругъ, и въ чертахъ жизни г. Валерія Брюсова отыщется какая-нибудь семья Арцимовичей? Увѣрялъ же самъ г. Брюсовъ когда то,—и даже стихотворно,—будто у К. Д. Бальмонта—«каторжника взглядъ». Но, къ душевному облегченію читателя, г. Волошинъ никакой кровавой уголовщины на г. Валерія Брюсова, покуда, не взвелъ, а только произвелъ героя своего въ всесвѣтныя завоеватели и императоры. Почти изъ Гаршина:

— По указу императора Петра Перваго, объявляю ревизію сему сумасшедшему дому...

Не знаю, какъ откровенія г. Максимиліана Волошина нравятся самому г. Валерію Брюсову, но «вообще» полагаю, что триумфаторомъ изъ-за этакихъ похвалъ чело-вѣку почувствовать себя мудрено. Валерій Брюсовъ—величина опредѣлившаяся и солидная: не молоденькій начинающій, не мальчишка, балующійся отъ нечего дѣлать риемованнымъ сквернословіемъ и рѣшительно никому не нужнымъ хвастовствомъ, какъ евреи говорятъ, «схватить Бога за бороду». Періодъ декадентскихъ дурачествъ, творившихся *pour élever le bourgeois*, остался въ творествѣ Валерія Брюсова настолько далеко позади, что, переиздавая стихи своей молодости, онъ, какъ пишетъ г. Волошинъ, выметаетъ добрую треть ихъ безпощадною метлою придирчивой авто-редакціи. Я не принадлежу къ страстнымъ поклонникамъ поэтическаго дарованія г. Валерія Брюсова: отъ застылой красоты его, можетъ быть, и «бронзовыхъ», но холодныхъ, трудно сдѣланныхъ, стиховъ

слишкомъ пахнетъ масломъ лампы. Бальмонтъ, привсей своей хаотичности, говорить мнѣ много больше и теплѣе. Но нѣтъ никакого сомнѣнія, что въ Брюсовѣ мы имѣемъ дѣло съ крупнымъ и яркимъ литературнымъ характеромъ, сломавшимъ, въ любви къ искусству, тысячи естественныхъ преградъ между собою и публикою, заставившимъ и научившимъ слушать себя, «разсудку вопреки, наперекоръ стихіямъ», и наложившимъ властную печать на стихотворство своей эпохи. Какъ выразитель и катехизаторъ школы, онъ самый представительный и самый отвѣтственный поэтъ русскаго декаданса. Въ Брюсовѣ нельзя не уважать человѣка очень умнаго, въ высшей степени трудолюбиваго, образованнаго, начитаннаго, съ развитымъ художественнымъ вкусомъ, можетъ быть, нѣсколько узкимъ, но строго послѣдовательнымъ и вооруженнымъ доказательствами. Съ Брюсовымъ легко, а во множествѣ случаевъ и должно не соглашаться, но очень трудно съ Брюсовымъ не считаться и совершенно безсмысленно Брюсова «не признавать». Политическая неподвижность Валерія Брюсова, его способность вмѣщаться въ дряхлыя славянофильскія рамки, его циническія примиренія съ царствіями силы, его оторванность отъ соціальныхъ вопросовъ и лишь книжное къ нимъ любопытство—для меня лично, напримѣръ,—не симпатичны, часто враждебны. Но, когда я читаю Брюсова, я заранѣе увѣренъ, что не прочту ни одной строки, съ вѣтра надутой, что человѣкъ такъ и думалъ, какъ писалъ, а сѣлъ писать послѣ долгой умственной работы, въ которой трудилась не одна «своя» голова, но еще и много головъ позвано было на совѣтъ изъ шкафовъ библіотечныхъ. Брюсовъ—фигура настоящей литературной и настоящей-интеллигентской. Даже слишкомъ интеллигентская, старомодно-интеллигентская по нынѣшнимъ малограмотнымъ временамъ. И потому-то вчужѣ обидно видѣть его въ полуляховской машкерѣ, которую,

въ любезно блаженномъ невѣдѣніи своемъ, предложилъ ему г. Максимиліанъ Волошинъ своею странною статьею.

Покуда я писалъ все это, пришла «Русь» съ отвѣтнымъ письмомъ г. Валерія Брюсова. Онъ, дѣйствительно, не восторгнулся, но, повидимому, серьезно обидѣлся, — да и правъ! — легендами г. Максимиліана Волошина и отчиталъ своего неудачнаго воспѣвателя жестоко. Слабыхъ возраженія г. Максимиліана Волошина, что онъ, дескать, пишетъ не критику, но *vies imaginaïres*, и потому воленъ изображать каждого писателя такимъ, какъ тотъ ему «субъективно» представляется—или ужъ очень наивны, или ужъ очень увертливы. Не говоря о томъ, что не существуетъ болѣе фальшиваго и нелѣпаго типа литературы, чѣмъ искаженіе исторіи посредствомъ *vies imaginaïres*, и взрослымъ, какъ Пушкинъ говорилъ, «мужикамъ лѣтъ 30» и выше, заниматься подобными благоглупостями, пожалуй, ужъ и стыдненько, — г. Максимиліанъ Волошинъ напрасно ссылается на Марселя Швоба, какъ на образецъ свой. *Vies imaginaïres* Марселя Швоба—историческая фантастика: рядъ характеровъ, взятыхъ изъ лѣтописей и мемуаровъ давно прошедшихъ временъ, обработанныхъ въ беллетристической манерѣ и умышленно написанныхъ съ подмѣною вѣдѣнія фантазіей,—такъ, какъ если бы авторъ не зналъ о герояхъ своихъ ничего, кромѣ ихъ имени и смутныхъ отрывковъ ихъ легенды. Большой талантъ и серьезное историческое знаніе, прорывающееся въ изящныхъ поддѣлкахъ Марселя Швоба, спасаютъ интересъ его труда и придаютъ ему литературное значеніе. Но сочинять апокрифы о живыхъ лицахъ? Извините, какими красивыми словами и цитатами ни облакайте вы это «рукомесло», но въ концѣ-то концовъ оно сведется просто на просто къ литературной сплетнѣ. Г. Максимиліанъ Волошинъ, конечно, неспособенъ посвятить себя этому милостивому занятію сознательно, но бессознательно наговорилъ

же онъ о г. Валеріи Брюсовѣ небылицъ и непристойностей, противъ которыхъ тотъ вынужденъ энергически протестовать. А найдутся теплые ребята—пустятся сочинять *vies imaginaires* и съ совершенною сознательностью, и съ скандальныхъ расчетомъ. Если о поэтѣ дозволительно сообщать, какъ фактъ, воображаемую небылицу, что его дѣтство прошло въ публичномъ домѣ и каждая женщина для него—проститутка, то почему же завтра не написать о какой-нибудь поэтессѣ: она развратна съ семилѣтняго возраста и занимается тайною проституціей? А вонъ этотъ беллетристъ отравилъ родного дядю и сожительствуетъ съ бабушкой, а вонъ тотъ критикъ—убійца и растлитель малолѣтнихъ. Васъ одернуть:

— Послушайте, ну, что вы врете? Вѣдь это же клевета, никогда ничего подобнаго не было... Марья Ивановна—почтенная мать семейства. Бабушка Ивана Ивановича умерла десять лѣтъ тому назадъ, а дядя вчера былъ у него въ гостяхъ и игралъ въ винтъ. Сидоръ же Сидоровичъ—не то что убивать и насиловать,—плачетъ, когда извозчикъ хлещетъ клячу свою...

А вы отвѣтите съ безмятежностью:

— Я и не утверждаю, чтобы что-либо подобное было въ объективной дѣйствительности. Но таково мое субъективное представленіе о Марьѣ Ивановнѣ, Сидорѣ Сидоровичѣ и Иванѣ Ивановичѣ. Это ихъ *vies imaginaires*.

У Чехова есть рассказъ «Первый Любовникъ»: тамъ Евгений Алексѣевичъ Поджаровъ все рассказывалъ, да рассказывалъ *vies imaginaires* о знакомыхъ барышняхъ, да и наткнулся, наконецъ, на «тульского дядю», и нехорошо вышло. И въ жизни реальной *vies imaginaires* всегда нехорошо кончаются. Какой же резонъ наполнять ими литературу? Вѣдь «тульскіе дяди» и въ литературѣ водятся. Не думаю, чтобы г. Максимилианъ Волошинъ чувствовалъ себя очень ловко, читая брюсовскую отповѣдь.

Всѣ эти искусственныя «субъективности» и выдуман-
ныя лже-искренности—скверная мода богемы парижскихъ
модернистовъ, изнывающихъ въ погонѣ за *la gloire* и,
чтобы добиться крика о себѣ, готовыхъ, въ самомъ дѣлѣ,
хоть въ палачи пойти: лишь бы публика заговорила.
Въ Парижѣ *vies imaginaires*—не Швобовы, а въ родѣ
тѣхъ, что преподносятъ г. Максимиліанъ Волошинъ, подъ
именемъ «Ликовъ Творчества»,—откровенная кружковая
реклама, афишный «бумъ», самооклеветаніе Ивановъ
Ивановичей Марьями Ивановными и обратно, по взаим-
ному товарищескому соглашенію, опять-таки *rouge éra-
ter le bourgeois*... Парижскій книжный рынокъ очень тру-
денъ, буржуа любить острые ощущенія, и прочитатъ
стихи Ласенера для него много любопытнѣе, чѣмъ стихи
Маллармэ. Отсюда проистекла и накопилась та «ласене-
ризація» литературныхъ біографій и легендъ, которой
съ такой добродушною дѣловитостью предаются нѣкоторые
парижскіе кружки модернистовъ и поддерживающая ихъ
часть «молодой» критики (этакъ лѣтъ отъ 40 до 50 и
выше). У насъ, россіянъ, при пересадкѣ парижскаго мо-
дернизма на петербургское болото, наивный и, по суще-
ству, довольно противный рыночный пріемъ этотъ былъ
съ благоговѣніемъ понять въ-серьезъ. И, какъ водится,
парижская мода взята была на Руси нотою выше. Вѣдь
мы же не можемъ не хватить черезъ бортъ. И—пошла
писать губернія! Нашли, что необыкновенно лестно об-
зывать другъ друга сатирами, фавнами, центаврами, ка-
торжниками, воспитанниками публичныхъ домовъ, грѣш-
никами по Оскару Уайльду, грѣшницами по Сафо. Загу-
ляли такіе «лики творчества», что и въ масляничное
заговѣнье взглянуть страшно. Сплелись такія *vies imagi-
naires*, что дѣйствительность, имъ соотвѣтствующая,—мы
только что слышали,—аукается имъ съ Сахалина! Че-
ловѣкъ рассказываетъ біографію Полуляхова, а увѣряетъ:
предъ вами—Валерій Брюсовъ, и самъ убѣжденъ, что

польстили. «Ласенеризація» слѣпить глаза настолько, что съ, дѣйствительно, очень умнымъ и образованнымъ разговорщикомъ-эстетомъ, эффектнымъ острякомъ, но посредственнымъ романистомъ и совсѣмъ уже слабымъ драматургомъ, Оскаромъ Уайльдомъ, въ Россіи нѣсколько лѣтъ подрядъ носились, какъ съ богомъ-вдохновителемъ и гениемъ первой величины. Только теперь, съ прошлаго 1907 года, журналистика осмѣлѣла до критическаго къ нему отношенія. Раньше между Оскаромъ Уайльдомъ и критикою непоколебимою стѣною стояло романтически увеличительное стекло Рэдингской тюрьмы.

Въ старинной «Монастырѣ» Погорѣльскаго двѣ захолустныя дѣвицы «французскаго воспитанія» ищутъ грибовъ, и Любочка спрашиваетъ Вѣрочку:

— Фуа, Фуа, ке се ля?

А Вѣрочка отвѣчаетъ:

— Ахъ, Амуръ, се подосиновикъ!

Откровенно говоря, когда нырнешь въ глубь новѣйшей «стилизованной» литературы, только и слышишь теперь вокругъ себя, какъ Фуа съ Амуромъ, на чистѣйшемъ французско-нижегородскомъ нарѣчій, стараются извернуться, чтобы у петербургскихъ Пяти Угловъ было тотъ въ точъ, какъ «у насъ на Монмартрѣ», и чтобы московская Вшивая горка стала «двѣ капли воды—Монпарнасъ». Но, какъ водится, даже и тутъ, въ подражаніи-то французско-нижегородскомъ, все начинается съ конца. Сперва словятъ собаку и отрубятъ ей понапрасну хвостъ, а потомъ уже вспомнать: ахъ, чортъ возьми! да вѣдь — для безхвостой собаки — у насъ еще нѣтъ Алкивіада!... И, въ концѣ концовъ, собакъ безхвостыхъ — бѣгаетъ сколько угодно, Алкивіадовъ же къ нимъ хоть газетными объявленіями вызывай: «Ищутъ Алкивіада, въ стихахъ и прозѣ, средне порочныхъ нравовъ, но возможно трезваго поведенія. Безъ аттестатовъ не являться и своихъ собакъ не приводить. Знакомому съ право-

писаніемъ дано будетъ предпочтеніе». На безалкивіадіи стараются назначать въ Алкивіады даже насильно, какъ попробовалъ г. Волошинъ опредѣлить г. Брюсова, но, — мы видѣли, — кандидатъ забрыкался. Да и есть отъ чего! Что за охота умному человѣку застрять между французско-нижегородскими Фуа и Амуромъ, — пусть ихъ спорять себѣ о «се подосиновикахъ»!

Вопія и стеная противу «мѣщанства», когда только Максимиліаны Волошины и прочіе тридцатилѣтніе младенцы діонисовы догадаются, наконецъ, и уразумѣютъ, что на свѣтѣ нѣтъ, вотъ именно, ничего болѣе пошлаго и мѣщанскаго, какъ ихъ трафаретное оригинальничанье безъ оригинальности, наивно перебалтывающее дѣтскимъ языкомъ старые-старые монмартрскіе и монпарнасскіе рецепты, како «огорошивать мѣщанъ»? И пошло оно, да и безплодно. Увы! Мѣщанства русскаго давнымъ давно уже ничѣмъ нельзя огорошить. Въ странѣ, гдѣ Wahrheit послѣдовательно находится въ рукахъ С. Ю. Витте, П. Н. Дурново и П. А. Столыпина, какое Dichtung удивить обывательство? Теофиль Готье когда-то на всю Европу прогремѣлъ тѣмъ ужаснымъ обстоятельствомъ, что на какой-то парадный спектакль явился, къ ужасу мѣщанъ, въ принципиально красномъ жилетѣ. Сейчасъ, я такъ полагаю, г. Максимиліанъ Волошинъ — хоть принципиальныя юбки надѣнь, вмѣсто мѣщанскихъ штановъ, и то никому до того дѣла не будетъ: штаны, такъ штаны, юбка, такъ юбка... эка невидаль! Потому что, когда чуть не половина интеллигенціи одѣта въ арестантскіе халаты, то другую половину уже никакимъ экстреннымъ костюмомъ не озадачишь. Мысль русская сейчасъ переживаетъ что-то въ родѣ Наполеонова отступленія изъ Москвы къ Березинѣ. Трещать морозы, люди гибнуть, а изъ уцѣлѣвшихъ — никому никто не интересенъ, чѣмъ онъ грѣется. Кто въ бабьей душегрѣйкѣ, кто въ чиновничьей шинели, кто въ поповской парчевой ризѣ, кто въ двор-

нишкомъ тулупѣ, кто въ персидскомъ архалукѣ. Все равно!

Въ злоупотребленіяхъ «субъективнымъ» вымысломъ, который примѣняетъ къ критикѣ и рекомендуетъ г. Максиміанъ Волошинъ, есть еще одна очень печальная сторона. *Vies imaginaires* вредятъ жертвѣ своей не только въ настоящемъ, но и въ далекомъ будущемъ. Англійскіе мѣщане сочинили для Байрона такую пакостную *vie imaginaire*, что настоящаго Байрона надо теперь отказывать изъ-подъ наслоеній ея словно какой-нибудь ассирійскій идолъ. У французовъ темныя легенды густо клубятся вокругъ образовъ Альфреда де Мюссе, Бодлэра, Верлена. У насъ полуміе — Пушкинъ, который и умеръ-то оттого, что компанія великосвѣтскихъ мѣщанъ «субъективно вообразила» его семейную жизнь и сплетнями довела до дуэли, Лермонтовъ, Некрасовъ. *Vies imaginaires* очень прочны, — точно кровавыя пятна на мраморѣ. Бываетъ, что въ десятилѣтіяхъ до чиста стирается все творчество писателя, и самое имя его едва живетъ еще, но въ анекдотическихъ клоакахъ мѣщанской памяти продолжаютъ звучать скабрёзныя «черты изъ жизни»: картежникъ, пьяница, опіофагъ, держалъ гаремъ и т. д. А когда историкъ приближается къ легендамъ этимъ съ серьезнымъ изслѣдованіемъ, почти всегда оказывается, что никогда ничего подобнаго не было, но пьянствомъ, картежничествомъ, гаремомъ репутацію покойника обременили современные ему любители «субъективнаго воображенія». Все — для «интересности», все — для удовольствія той великой Липочки Большой, что зовется мѣщанскою публикой. Помните, какъ Липочка Большова, не довольствуясь громыханіемъ офицерскихъ шпоръ, сожалѣла еще:

— И зачѣмъ это они, когда танцуютъ, саблю отвязываютъ? Сами не понимаютъ, какъ блеснуть очаровательнѣе!

И вотъ, потрафляя на Липочкины вкусы, субъективные вообразители, сочиняющіе писательскіе *vies imaginaïres*, заставляютъ своихъ героевъ, такъ сказать, танцовать при саблѣ. Эксцентричности хочешь? Ласениризации? На-жъ тебѣ — острогъ! публичный домъ! Содомъ и Гоморра! Съ родною сестрою живетъ! Въ семи душахъ повинился! Липочка Большова содрагается въ сладострастномъ ужасѣ и говорить:

— Батюшки!... Надо почитать... Да неужто въ семи?

— Честное слово!

Такъ-то и оказывается вотъ, что, хотя выходятъ російскія *vies imaginaïres* изъ среды, мѣщанство будто бы ненавидящей, но—повторяю—дѣлаютъ онѣ воистину мѣщанское дѣло и безсознательно потрафляютъ, аккуратно и въ точку, на самыя низменныя и, что ни есть, мѣщанскія любопытства сплетничающей праздности.

Надо уняться¹⁾.

Надо уняться.

Не то, чтобы по собственному хотѣнію и разуму, но съ редакціей у меня контры. Что пишетъ, что телеграфируетъ, — все одно. Только и слышу:

— Уймись, братецъ!

Отвѣчаю:

— Не могу, братецъ!

Отвѣчаетъ:

— Смоги, братецъ!

Отвѣчаю:

— Не хочу, братецъ!

Отвѣчаетъ:

— Захоти, братецъ!

Отвѣчаю:

— Но—мои убѣжденія, братецъ?

Отвѣчаетъ:

— А что будешь жрать, братецъ?

Какъ говорить донъ-Базиліо — «у графа есть такіе

¹⁾ Сохраняю и помѣщаю здѣсь этотъ фельетонъ (въ сокращеніи) только затѣмъ, что онъ можетъ быть любопытнымъ показателемъ быстроты, съ какою свершилась порнографическая эволюція русской беллетристики. Онъ написанъ въ началѣ 1907 г.—и оказался въ пародіяхъ своихъ не только пророческимъ, но даже слишкомъ слабымъ и наивнымъ въ пророчествѣ!

Ал. Ам—ст. 1908.

аргументы», что противъ нихъ не устоитъ никакая логика и ничья воля — хотя бы даже самая закоренѣлая въ пороѣкъ безсмысленнаго мечтанія и праздныхъ упований. «Жрать»... короткое оно слово, а сколько въ немъ выразительности!.. Я не спорю болѣе...

Надо уняться!

Довольно. постѣяно плевеловъ! Тѣмъ паче, что права редакція — съ плевела сытъ не будешь, хотя господа Гурко и Лидваль пытались недавно убѣдить русскаго мужика въ противномъ. Но къ чему же сіе привело?!

Довольно постѣяно плевеловъ! Доздѣ я сѣялъ плевелы, отздѣ буду ихъ полоть и насаждать цвѣты невинности. И, когда изъ оныхъ цвѣтовъ будутъ ягоды — сожру!

И благо мнѣ будетъ, и долголѣтень буду на землѣ!

Еще вчера у меня на письменномъ столѣ красовался портретъ Бакунина. *Ni plus, ni moins!*..

Сегодня онъ исчезъ. Когда? какъ? Не помню. Должно быть, я истребилъ его въ экстазѣ поворота отъ плевеловъ къ цвѣтамъ невинности. А, можетъ быть, тарикъ и самъ расточился? Потому что — цвѣтъ невинности... вѣдь это въ своемъ родѣ... зрѣлице! Не всякій эту марку выдержитъ... Тѣмъ болѣе, что портретъ Бакунина, въ качествѣ предмета неодушевленнаго, не можетъ быть переубѣжденъ въ пользу цвѣтовъ невинности потребностью жрать, ибо таковой потребности не ощущаетъ.

Какъ бы то ни было, Бакунина больше нѣтъ. И — такъ какъ освобожденное отъ портрета мѣсто портитъ симметрію моего рабочаго святилища, то я колеблюсь, кѣмъ и чѣмъ заполнить мнѣ упрекающую пустоту? Какой именно цвѣтъ невинности водрузить на сію опустошенную клумбу, чтобы въ ароматѣ его погасла и самая память объ исторгнутомъ плевелѣ?

О, если бы у меня былъ портретъ г-жи Эстеръ! Третьей великой Эстеръ, прославленной въ исторіи.

Эстеръ персидскаго царя Ахверуша.

Эстеръ Казимира Великаго.

Эстеръ — Гурко-Лидваль. Эстеръ — изъ артистическаго тріо подъ фирмою: «Небольшая, но честная компанія».

Откровенно говоря—съ тѣхъ поръ, какъ я рѣшилъ питаться цвѣтами невинности — третья Эстеръ нравится мнѣ гораздо больше двухъ первыхъ. Относительно Эстеръ персидскаго царя Ахверуша еще г. Шмаковъ доказалъ обстоятельно, что она была отъявленная мерзавка, такъ какъ вела въ персидскомъ столичномъ городѣ Сузахъ еврейскую интригу и очень хитро воспрепятствовала погрому, который онъ, г. Шмаковъ, подъ псевдонимомъ Амана, наладилъ было во всѣхъ населенныхъ мѣстахъ персидской монархіи.

Найдутся скептики, способные усомниться въ столь глубокой древности г. Шмакова, а, слѣдовательно, и въ справедливости его показаній. Но, въ доказательство, я сошлюсь на моего поэтическаго друга Максимилиана Волошина; онъ еще недавно свидѣтельствовалъ печатно, что зналъ нѣкоего господина Кузьмина за двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ въ Александріи. Если господинъ Кузьминъ жилъ и писалъ стихи и прозу въ Александріи двадцать вѣковъ назадъ, то я не вижу причины, почему не признать и г. Шмакова персидскимъ фруктомъ тридцативѣковой давности. Да! г-нъ Шмаковъ жилъ въ Сузахъ, его звали Аманомъ, и онъ былъ министромъ внутреннихъ дѣлъ. Вотъ какъ тогда цѣнились таланты! Эхъ!

Въ старину жилали дѣды,
Веселѣй своихъ внучать...

Объ Эстеръ Казимира Великаго я конфужусь даже и распространяться. Достаточно сказать, что именно эта черная женщина—виновница поселенія евреевъ въ При-

висянскомъ краѣ (въ то время крамольно называвшемся Польшею), откуда расселились они въ Литву и Украину. Къ счастью для Россіи, усиліями опомнившейся администраціи зловредныя чары прекрасной Эстеръ были парализованы чрезъ благодѣтельное учрежденіе «черты осѣдлости», а также чрезъ назначеніе г. Курлова губернаторомъ въ Минскъ.

Вы ясно видите, что обѣ эти Эстеръ принадлежали къ разряду несомнѣнныхъ плевеловъ. Если возсіяла міру третья Эстеръ, то не иначе, какъ для специально вышей—мистической цѣли, чтобы искупить вину бытія первыхъ двухъ. Подобно щедринской дѣвицѣ Волшебновой, г-жѣ Эстеръ по всѣмъ правамъ и видимостямъ суждено осуществить петербургскую Жанну д'Аркъ, съ распубликованіемъ о томъ на послѣдней страницѣ «Новаго Времени» и «Петербургской Газеты», чрезъ извѣстнаго контръ-агента «посредническихъ» и брачныхъ дѣлъ, губернскаго секретаря Томилина.

Хорошо-съ. Я отказался отъ плевеловъ и сѣю цвѣты невинности. Я признаю г-жу Эстеръ русскою Жанною д'Аркъ (по силѣ извѣстной резолюціи сороковыхъ годовъ: «Возвратить оную въ первобытное состояніе и считать попрежнему дѣвицей»). Я согласенъ водрузить ея портретъ на мѣстѣ исчезнуваго (или сбѣжавшаго) Бакунина. Но дальше-то что же? Прекрасно сѣять цвѣты невинности, но гдѣ же сѣмена? Безъ сѣмянъ не разсѣешься...

«Сѣйте разумное, доброе, вѣчное»... Бывало двѣнадцатаго января, на Татьяну, «всякій дуракъ» умѣлъ сѣять. А нынѣ—ау! Гдѣ она и сама Татьяна-то? —не говоря уже о сѣющемъ «всякомъ дуракѣ»!.. А вольтеріанцы утверждаютъ, будто въ благополучно текущемъ году двѣнадцатаго января-то даже и совсѣмъ не было. Было одиннадцатое, потомъ сразу стало тринадцатое, а

двѣнадцатаго не было. Куда оно дѣвалось? Неизвѣстно. Можетъ быть, само ушло изъ календаря, убоясь — подобно моему Бакунину — слишкомъ пышнаго расцвѣта всероссійской невинности. А, можетъ быть, просто конфисковано начальствомъ, въ качествѣ календарнаго оберъ-плевела, подобно тому, какъ конфискуются наполненные плевелами номера ежедневныхъ газетъ. И тогда злые и порочные трепещутъ и унывають, а невинные испытываютъ «радость вѣрныхъ о Господѣ».

Сегодня сбѣжить изъ календаря 12 января... потомъ 8 февраля... потомъ девятнадцатое... Оно, конечно, сѣятелю цвѣтовъ невинности—въ сущности, наплевать: ну, сбѣжали крамольныя числа, стало быть, въ календарѣ просторнѣе стало! Но все-таки дальше-то что же? Дальше-то что? Гдѣ сѣмена? Сѣмянъ, сѣмянъ мнѣ дайте! Безъ сѣмянъ не расцѣшься!

Плохо вѣрять въ сѣятельныя способности нашего брата блюстителю невинныхъ сѣяній! Хорошо Александру Аркадьевичу Столыпину, когда онъ отъ сомнѣній застрахованъ—по родственному довѣрію съ передовѣріемъ! А то, вонъ, даже о Сигмѣ—да! о Сигмѣ!!!—въ «сферахъ» разговариваютъ: «И лучшая изъ змѣй есть все-таки змѣя!»! Какимъ—послѣ того—усердіемъ человѣкъ себя оправдать можетъ? Развѣ ужъ, что пойдетъ на крайности: напримѣръ, объяснится въ любви г жѣ Смирновой, проглотить живого Винавера или—еще градусомъ выше—изъявить готовность стать четвертымъ «г» въ союзѣ гг. Гурлянда, Гурьева и Грингмута. Но, вѣдь, сіе уже, что называется, «отрекшися отъ отца-матери»...

Въ старину, говорятъ, въ подобныхъ случаяхъ выручало «пѣнокоснимательство». Но возможны ли нынѣ усилія его—столь успѣшныя и благопріемлемыя лѣтъ еще пятнадцать, двадцать тому назадъ, когда оно владычествовало и давало тонъ русской журналистикѣ, литературѣ, наукѣ? Увы! Увѣренъ ли я, напримѣръ, что, начавъ уче-

ный трудъ хотя бы «О древности происхожденія сокровищъ Оружейной палаты вообще, и такъ называемой Шапки Мономаха въ особенности», я благополучно доведу его дальше эпиграфа—«Охъ, тяжела ты, шапка Мономаха!» Гдѣ гарантіи, что въ семъ самомъ мѣстѣ я не подвергнусь подозрѣніямъ въ намѣреніи перепишеть сказанную шапку на европейскій фасонъ и не поѣду за то въ Суздаль-монастырь дѣлить компанію съ Григоріемъ Спиридоновичемъ Петровымъ? Дайте мнѣ сѣмена, которыя не сожигаютъ руки, ихъ разсѣвающей! Дайте мнѣ безопасно-невинныя темы, ведущія не въ умертвіе, но—если не въ храмъ славы, то хотя бы, съ позволенія сказать, въ академію наукъ по отдѣленію изящной словесности! Иначе—къ чему же весь процессъ «пѣнкоснимательства» и за что наполнять душу свою его блѣднорозовымъ срамомъ? Иначе—какая же практическая разница между плевеломъ и цвѣтомъ невинности? Гдѣ кончается первый и начинается второй?

.

Мы живемъ въ вѣкъ свободы печати.

Откровенно говоря, я не совѣмъ увѣренъ въ наличности этой свободы. Но колебанія мои—не болѣе, какъ результаты стариннаго засоренія мозговъ плевелами.

И лечусь я отъ этого недуга не чѣмъ инымъ, какъ зрѣлищемъ очевидности.

Нѣтъ свободы печати?!

Но—взгляни, о, сомнѣвающійся!

«ТАЙНЫ АЛЬКОВА»

Еженощное партійное изданіе
группы

«Раз-про-пери-ахъ ты, чтобъ тебя».

При ближайшемъ участіи

КАМАРИНСКАГО МУЖИКА (безъ пропусковъ),

тѣни К. А. Скальковского,

а также и многихъ живыхъ покойниковъ, хотя и облеченныхъ въ маски.

(NB. Не столько изъ уваженія къ себѣ—сколько къ чину и возрасту читателей).

Отдѣломъ объявленій завѣдуетъ губернский секретарь *Томилинь*. Отдѣломъ модъ (девизъ: «Не очень много шили тамъ, и не въ шитьѣ была тамъ сила!»)—*г-жа Эстеръ*. Отдѣленія редакціи: въ маскарадахъ *Благороднаго Собранія*, *Приказчичьяго Клуба*, въ книгоиздательствѣ *г. Аскарханова* и въ *Чубаровомъ переулкѣ*. Собственныя корреспонденціи изъ всѣхъ кафешантановъ и наиболѣе популярныхъ веселыхъ домовъ Россійской Имперіи. Ежемѣсячныя литературныя приложенія:

—!Въ первый разъ въ Россіи!—

Маркизь де Садъ. Жюстина или Горе отъ добродѣтели!..

—!Только пользуюсь свободой благодѣтельной гласности!—

Брантомъ. Жизнеописаніе куртизанокъ!

—!До сихъ поръ конфисковалось!—

Луве. Приключенія кавалера Фоблаза!

—!Сто лѣтъ подъ запрещеніемъ!—

Стихотворенія Баркова!!!

—!По спеціальному разрѣшенію!—

Лермонтовъ.

! Уланша. — Монго. — Петергофскій праздникъ!

Съ иллюстраціями художниковъ

Кузнецова и Бодаревскаго!

—!Еще годъ тому назадъ было бы невозможно!—

—!Необходимо въ каждомъ семействѣ!—

Жафъ. Искусство быть мужемъ, не имѣя дѣтей!

— !Place aux dames! —

Сафо и Фрина. Полныя біографіи, теорія любви и практическія наставленія приѣмлющимъ.

— Pendant къ предыдущему во имя безпристрастія и равноправія половъ. Важно для каждого! —

Кузьминъ. Крылья. Романъ, плагиатируемый изъ «Вѣсовъ». Съ предисловіемъ Валерія Брюсова. Рисунки художниковъ журнала «Вѣсы».

Замѣчательный выборъ неблагопристойныхъ фотографій, какъ съ натуры, такъ и изъ воображенія!

Адресъ-календаръ извѣстнѣйшихъ кокотокъ обоого пола, какъ въ обѣихъ просвѣщенныхъ столицахъ, такъ и Одессѣ, Харьковѣ, Варшавѣ, Ростовѣ-на-Дону и проч., а равнымъ образомъ и въ Манчжуріи.

Таковой же списокъ всѣхъ игорныхъ домовъ, квартиръ для свиданій и прочихъ учреждений, предназначенныхъ для удаленія подъ сѣнь струй.

Полный ассортиментъ полезныхъ аксессуаровъ къ утѣхамъ любви!

Подписная цѣна на годъ—двугривенный! На полгода — двѣнадцать копѣекъ! Ежемѣсячно — пятачокъ!

Примѣчаніе I. Сверхъ того, каждый подписчикъ, внесшій годовую плату полностью, имѣетъ право пользоваться бесплатными совѣтами находящихся въ распоряженіи редакціи врачей по секретнымъ болѣзнямъ (списокъ прилагается) и спеціалистовъ по предупрежденію вещественныхъ знаковъ невещественныхъ отношеній, также по фабрикаціи ангеловъ (списокъ не можетъ быть приложенъ, въ виду временнаго несогласія сихъ про-

фессій съ уголовнымъ законодательствомъ, но—просимъ уважаемыхъ кліентовъ вѣрить редакціи на слово: не подведемъ!).

Примѣчаніе II. Имена, фамилія и адреса подписчиковъ «Тайнъ Алькова» печатаются полностью въ каждомъ номерѣ журнала. По возможности, и портреты. Особенно замужнихъ подписчицъ.

Примѣчаніе III. Лица, не желающія, чтобы ихъ имена, фамиліи, адреса и портреты появились на страницахъ «Тайнъ Алькова», благоволятъ довести къ подписной платѣ по пяти рублей въ мѣсяцъ или, со скидкой, 50 рублей въ годъ.

Sapienti sat!

Журналъ расходится въ 666,666 экземплярахъ!!!

Спѣшите подписаться!

Отвѣтственный редакторъ
тит. сов. Модестъ Цѣ-
ломудровъ (онъ же
ходатай по бракоразвод-
нымъ дѣламъ).

Издатель дѣйствительный
статскій совѣтникъ При-
апъ.

Милостивые государи! Намъ ли говорить объ отсутствіи свободы печати, когда лучи ея, послѣ 17-го октября 1905 года, возсіяли даже въ нѣдрахъ алькововъ, отъ коихъ до сего времени и не весьма стыдливая Кліо отвращала свое, весьма сконфуженное лицо?

Вы скажете:

— «Тайны Алькова»—это шаржъ¹⁾, титулярный со-

¹⁾ Увы! Не прошло и года со времени напечатанія этого фельетона, какъ шуточная программа журнала «Тайны Алькова», предполагавшаяся мною невозможною, была осуществлена полностью и въ значительно превосходной степени порнографическою прессою въ Москвѣ, Петербургѣ и провинціи!.. См. выше: „Минуты“.

вѣтникъ Цѣломудровъ и дѣйствительный статскій совѣтникъ Пріапъ—лица не существующія.

Мы живемъ во время конституціонное и даже, не при насъ будь сказано, парламентское, и ничто конституціонное и парламентское намъ не чуждо!

А, слѣдовательно, и дѣленіе общества на партіи. И партій—на фракціи.

Бываетъ центръ. Бываютъ лѣвая и правая. Бываютъ лѣвая поправѣ и правая поллѣвѣ. Бываютъ правая и лѣвая «вообще»; то есть правая, которая не правая, и лѣвая, которая не лѣвая. И—наконецъ—правая (лѣвая) крайняя и самая крайняя правая (лѣвая). Эти послѣднія уже—какъ въ старинныхъ стихахъ описывалось:

Чортъ—довольно страшный Гогъ,

А Магогъ еще лютѣй.

Что-жъ такое Демагогъ?

Это—чортъ изъ всѣхъ чертей!

Партія «разъ-про-пери-ахъ ты, чтобъ тебя!» не можетъ быть исключеніемъ изъ конституціонно-парламентскихъ правилъ о партіяхъ. И если органъ ея «Тайны Алькова» представляется нѣсколько преувеличенною карикатурою на дѣйствительность, то лишь потому, что, очевидно, редакція почтеннаго журнала попала въ руки крайнихъ партизановъ группы. Демагогическую рѣзкость группы обличаютъ и сіяющія въ сотрудническомъ спискѣ литературныя имена. Но, если крайній демагогъ партіи «Раз-про-пери-ахъ ты, чтобъ тебя!» удовлетворяетъ свое вождельющее любопытство не менѣе, какъ «Тайнами Алькова» съ произведеніями Камаринскаго Мужика (безъ пропусковъ), тѣни Скальковскаго, маркиза Де-Сада и г. Кузьмина, то для болѣе умѣреннаго партійнаго «магога» достаточно уже и «Тайнъ Жизни», а для «гога», который самъ не знаетъ, кто онъ въ партіи, лѣвый, правый или просто вольнопрактикующій безстыдникъ,—довольно за глаза и «Почты Амура»... А дерзнете ли вы,

о, скептики, отрицать бытіе «Тайны Жизни» и «Почты Амура»? Нѣтъ! Ибо это было бы такимъ же плевеломъ, какъ отрицаніе бытія дьявола! И даже худшимъ, потому что «Тайны Жизни» и «Почты Амура» получили санкцію въ полицейскомъ участіи, дьяволу же утвержденіе въ таковой инстанціи до сихъ поръ — не по чину. Я не спорю, что, по объявленной программѣ «Тайны Алькова», гг. Цѣломудровъ и Пріапъ должны быть «чертами изъ всѣхъ чертей», но не смѣю отрицать ихъ реальности, такъ какъ издаетъ же кто-нибудь «Тайны Жизни», есть же какой-нибудь редакторъ у «Почты Амура» и «Стрѣль Любви»! Ну, а для такого гражданскаго мужества, чтобы взять на себя столь серьезныя общественныя отвѣтственности, да еще въ наше бурное время, — согласитесь, — надо быть тоже гогомъ и магогомъ въ своемъ родѣ... и презираемыми!

Во всякомъ случаѣ, я, кажется, нашелъ наконецъ одинъ изъ вѣрныхъ рецептовъ къ засѣиванію общественныхъ клумбъ цвѣтами невинности. Это — сотрудничать, по мѣрѣ силъ, въ «Тайнахъ Алькова», издаваемыхъ подъ отвѣтственностью титулярнаго совѣтника Цѣломудрова и на иждевеніе дѣйствительнаго статскаго совѣтника Пріапа. Ахъ, есть у меня, есть стихи... ахъ, какіе стихи! Самому стыдно вспомнить: вотъ какіе стихи... Ну, да кто молодъ не бывалъ?.. Признаться сказать, хотѣлъ было я отослать ихъ лучше въ «Вѣсы» г. Валерію Брюсову: честолюбіе одолѣло! Но — прочитавъ романъ «Крылья» г. Кузьмина (того самаго, который жилъ двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ въ Александріи, не то на Маломъ Клеопатриномъ проспектѣ, не то на Большихъ Птоломеевыхъ пескахъ) — смирился: куда ужъ намъ съ суконнымъ рыломъ въ калашный рядъ?..

— Энтотъ прокормить! — говорилъ толстовскій мужикъ о Коко Звѣздинцевѣ. А я о г. Кузьминѣ только и могу сказать съ благоговѣніемъ:

— Этого не достигнешь! Не говоря уже, что—не превзойдешь!

Русская изящная литература всегда страдала чрезмерным усердием к психологии. Физиологическія же и анатомическія изысканія въ ней сравнительно рѣдки. Крупныхъ открытій второй категоріи, въ такъ называемомъ «новѣйшемъ» періодѣ литературы російской, было сдѣлано едва-ли не всего два.

Первое—нѣкогда—Авксентіемъ Поприцинымъ (онъ же испанскій король Фердинандъ VIII):

— А знаете-ли, что у алжирскаго бея подъ самымъ носомъ—шишка?

Второе—въ наши дни—г. Кузьминымъ (онъ же александрійскій обыватель и, быть можетъ, выборщикъ двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ):

— А знаете-ли, что на той части, которою человѣкъ садится на стулъ, имѣются крылья?...

Помилуй Богъ!.. И вдругъ г. Кузьминъ улетитъ?!

1907 г.

Январь.

Талантъ во тѣмѣ.

I.

Прочиталъ я «Тьму» Леонида Андреева, и надо было мнѣ писать о ней. Долго колебался; писать или не писать, потому что любовь къ молодому и сильному дарованію Л. Андреева боролась во мнѣ съ отвращеніемъ къ огромной и нехорошей ошибкѣ,—будемъ надѣяться, что мимолетной и безсознательной ошибкѣ,—въ которую впалъ его заблудившійся талантъ.

Я скажу съ полною откровенностью, что ни одинъ изъ памфлетическихъ беллетристовъ, состоящихъ на добровольческой или платной службѣ реакціи, не рискнулъ бы изобразить революціонера въ такомъ противномъ и лживомъ освѣщеніи, какъ осѣнило написать Леонида Андреева, который, однако, ни къ добровольцамъ, ни къ наемникамъ реакціи не принадлежитъ и многими повѣствованіями, начиная съ первыхъ литературныхъ шаговъ своихъ, доказалъ право свое числиться въ станѣ «погибающихъ за великое дѣло любви». Никто не сомнѣвается и не хочетъ сомнѣваться въ наличности и законности этого андреевскаго права,—напротивъ, всѣ рады, что оно существуетъ, счастливы, что могутъ вѣрить въ него. И тѣмъ болѣе горькое недоумѣніе должна возбуждать «Тьма» въ читателяхъ, привычныхъ вѣрить, что Леонидъ Андреевъ—пѣвецъ свѣтовъ человѣческой свободы и счаст-

ливыхъ этою вѣрою. Когда какой-нибудь Маркевичъ, Крестовскій, Стебницкій изображали нигилистовъ подлецами и идіотами, было гнусно, но понятно:

Такъ, побѣдивъ послѣ долгаго боя,
Врагъ уже мертвого топчетъ героя.

Но здѣсь, во «Тьмѣ», топтать героевъ, быть можетъ, даже и не мертвыхъ еще, а лишь въ летаргическомъ снѣ находящихся, принялся не врагъ, но другъ. Да и другъ-то не изъ случайныхъ и дальнихъ, но ближайшій и, казалось бы, съ литературно доказанною репутаціей постоянства. Въ грѣхахъ Маркевича какого-нибудь или, на примѣръ, въ перелицовкѣ Достоевскимъ грозной фигуры Нечаева въ вульгарнаго «мошенника» Верховенскаго, кромѣ политическаго умысла, сыграла свою роль «незнанья жалкаго вина». Маркевичъ, вѣроятно, никогда ни одного революціонера и въ глаза-то не видывалъ. Достоевскій сочинялъ Верховенскаго по темнымъ слухамъ и сплетнямъ, вихрившимся вокругъ загадочнаго нечаевского процесса *). Это была отсебятина не только преднамѣренной злобы, но и глубокаго невѣдѣнія революціонной жизни. У г. Андреева, который подолгу жилъ за границею, въ центрахъ русской эмиграціи, который, несомнѣнно, и на родинѣ связанъ,—какъ личными знакомствами, такъ и всею громадою своего нравственнаго обаянія, съ кругами освободительнаго движенія,—подобнаго невѣдѣнія быть не можетъ. И этимъ условіемъ еще болѣе углубляется читательское недоумѣніе передъ «Тьмою». Если для нехорошей выдумки нѣтъ даже извиненія незнаніемъ дѣйствительности,—какимъ именемъ должна быть названа такая выдумка? Если же предположить почти невозможное, то-есть, что Леонидъ Андреевъ написалъ своего революціонера, не позаботившись о пред-

*) См. о томъ статью „Вѣсы“ во 2-мъ изданіи моихъ „Кургановъ“.

варительномъ изученіи революціонной среды, на авоську «художественной интуиціи», то вина нехорошей выдумки лишь осложняется легкомысленнымъ отношеніемъ автора къ слишкомъ важному и отвѣтственному сюжету. Да и странное понятіе дала бы въ такомъ случаѣ «Тьма» о настроеніяхъ самого Леонида Андреева. Считался и считается человѣкъ художникомъ освободительнаго движенія, а понадобилось ему вообразить и написать революціонера, и—какое же представленіе рождается въ авторскомъ умѣ? Пьяный болтунъ въ публичномъ домѣ, котораго дѣвки бьютъ по лицу, и приглашаютъ въ товарищи къ лакею Маркушкѣ. И болтунъ тѣмъ премного доволенъ, ибо дошелъ до блестящей идеи, что хорошимъ быть стыдно, когда есть скверные, что надо унизиться до скверноты скверныхъ и быть какъ они, а, слѣдовательно, и нѣсть для человѣка въ земной юдоли сей мѣстопробыванія и назначенія крапе, чѣмъ—въ публичномъ домѣ. Поутру этого удивительнаго философуса арестовали,—къ великому для него счастью. Потому что, если бы не арестовали, то что же дальше-то было бы съ фантастическимъ «революціонеромъ», за котораго стало стыдно даже арестующему его участковому приставу? Куда дальше-то могъ бы повести его авторъ? Вѣдь, какъ ни раскрашивалъ г. Андреевъ перья на своемъ небываломъ героѣ, какъ ни старался сдѣлать его симпатичнымъ, а все-таки, не могъ не сознаться съ душевнымъ прискорбіемъ, что герой-то—легкомысленнѣйшій предатель-неврастеникъ, даже сознающій свое предательство, но, что называется, жидкій на расправу, потому что, опять-таки, неврастеникъ. Хо́да ему назадъ къ товарищамъ, къ «хорошимъ», въ «свѣтлую и прекрасную жизнь», нѣтъ. Онъ и самъ туда не пойдетъ, и Любу не поведетъ, не послушаетъ голоса пробудившейся въ ней совѣсти, не сдѣлаетъ ее изъ дѣвки человѣкомъ и, быть можетъ, героинею. Напротивъ, онъ и собственное-то бывшее герой-

ство и человѣческое достоинство за дѣвकीною юбкой спрятали. Такъ что, въ единственномъ исходѣ, остается этому апопоеозированному г. Андреевымъ бѣднягѣ—дѣйствительно, осуществить свое, столь твердо выраженное намѣреніе—уйти изъ революціи въ проституцію и, въ самомъ дѣлѣ, принять любезное предложеніе—въ лакеи «на мѣсто Маркушки». Что же? Послѣдовательность, такъ послѣдовательность. Глядѣть въ корень, такъ глядѣть въ корень. Унижаться, такъ ужъ унижаться до конца. Тьма, такъ тьма. Какъ ни печальна, какъ ни грязна жизнь проститутки, а имѣются въ обществѣ и болѣе глубокія, черныя дна. Есть «должности, которыхъ не рѣшится занять послѣдній чортъ въ аду», которыхъ благороднѣе «скоблить нечистыя мѣста иль водостоки или наняться въ помощники у палача», которыя «презрѣнными нашла бы и мартышка, когда бы говорить могла». Такъ, триста лѣтъ назадъ, Марина въ шекспировомъ «Периклѣ» характеризовала житейское значеніе и нравственное паденіе именно «Маркушки». И на такомъ-то миломъ порогѣ, въ такомъ-то красивомъ выборѣ, г. Леонидъ Андреевъ рисуетъ намъ революціонера, да не какого-нибудь. Предъ нами человѣкъ закала—чтобы не напоминать болѣе современныхъ именъ—Кравчинскаго, Стародворскаго, Вѣры Фигнеръ и т. д. Здѣсь не мѣсто разсуждать о террорѣ, его принципахъ, морали, тактикѣ и дѣятельности, повторять обвиненія противъ него и провѣрять его оправданія. Но я увѣренъ, что даже самый лютей врагъ революціи, даже самый крайній правый на самой крайней правой Государственного Совѣта не найдетъ въ себѣ увѣренности — сочетать представленіе о революціонерѣ съ представленіемъ о философическомъ скандалѣ въ публичномъ домѣ, включительно до возможности принципіальнаго поступленія въ «Маркушки». У Маркевичей, Крестовскихъ и пр. на такую изобрѣтательность не хватило полемической фантазіи. У враговъ

было больше уваженія къ силѣ, которая ихъ боролъ, чѣмъ нашлось у друга. Впрочемъ, г. Андреевъ и самъ не забылъ отмѣтить эту черту и согласиться съ нею. Быть можетъ, самый сильный и реальный психологическій моментъ въ разсказѣ г. Андреева это—глубочайшее негодованіе пьянаго, пошлаго, грубаго участковаго пристава, когда онъ находитъ террориста, котораго уважалъ и боялся, какъ героя, на слѣдахъ мелкотравчатой оргіи, въ постели проститутки, въ нравственномъ и тѣлесномъ свинствѣ. На описаніе послѣдняго, кстати сказать, Л. Андреевъ не пожалѣлъ красокъ.

— Такіе герои нужны, хотя бы для того, чтобы ихъ вѣшать. Вѣшаешь—и ему пріятно, и тебѣ пріятно. Ему потому, что идетъ прямо въ царствіе небесное, а мнѣ, какъ удостовѣреніе, что есть храбрые люди, не перевелись.

Такъ разговаривалъ приставъ наканунѣ ареста. И нельзя не сознаться, что—когда арестъ совершился въ той гнусной и противной обстановкѣ, при насмѣшливыхъ, недоумѣлыхъ и презирающихъ офицерахъ,—самымъ несчастнымъ и оскорбленнымъ дѣйствующимъ лицомъ унижительной сцены остается въ памяти читателя именно этотъ ничтожный приставъ, разочарованный въ враждебномъ богѣ, которому онъ вѣровалъ, какъ бѣсы «вѣрують и трепещуть».

«Приставъ вдругъ подошелъ къ нему, сталъ такъ, чтобы загородить его отъ офицеровъ своимъ туловищемъ, въ широко свисавшемъ сюртукѣ—и заговорилъ сдушеннымъ шепотомъ, бѣшено ворочая глазами:

«—Стыдно-съ!.. Штаны бы надѣли-съ!.. Офицеры-съ!.. Стыдно-съ. Герой тоже... Съ дѣвкой связался, съ стервой... Что товарищи твои скажутъ, а?.. У-ухъ, ска-а-тина»...

Не разъ приходилось отмѣчать съ удовольствіемъ тотъ несомнѣнный фактъ, что русская реакція въ настоящее время совершенно безсильна художественно: не произвела

ни одного замѣтнаго беллетристическаго таланта, не дала ни одного сколько-нибудь яркаго романа, повѣсти, разсказа, стихотворенія, которые могли бы противопоставлены быть быстрому расцвѣту освободительной литературы ¹⁾). Но недавно одинъ очень крупный дѣятель русскаго освободительнаго движенія, когда разговоръ коснулся этой темы, возразилъ мнѣ не безъ остроумія:

— А зачѣмъ «имъ» теперь полемическая беллетристика? Спрось удовлетворенъ предложеніемъ и помимо ихъ. «Друзья» движенія избавляютъ враговъ его отъ обязанности имѣть таланты...

И—въ самомъ дѣлѣ—какихъ же еще литературныхъ оппозицій должно ожидать оклеветанное движеніе, однимъ изъ лучшихъ якобы представителей котораго «дружески» рекомендуется такая грязно-похотливая, низменно самолюбивая тварь, какъ «Санинъ», и типическимъ героемъ котораго г. Андреевъ представляетъ почтеннѣйшей публикѣ, стоящаго на Маркушкиной стезѣ, господина изъ «Тьмы»? Хуже-то вѣдь ничего и выдумать нельзя на революцію. У времени нѣтъ и не можетъ быть потребности въ Маркевичахъ, Стебницкихъ, Крестовскихъ и Ключниковыхъ, если роли ихъ безсознательно берутъ на себя вдесятеро талантливейшіе Андреевы и Арцыбашевы.

Не прошло и пяти лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ Россія съ радостнымъ подъемомъ душевнымъ слышала изъ вѣщихъ устъ могучаго поэта-трибуна.

— Люди живутъ для лучшаго... Человѣкъ—это звучить гордо...

И вотъ теперь стараются ее увѣрить, что не надо лучшаго, что звучить гордо не человѣкъ, а свинья, что совершенство человѣческое заключается въ томъ, чтобы безвыходно засѣсть въ публичномъ домѣ и изыскивать глубинъ «тьмы» его. *S'encanailler jusqu'au bout!* Горькій! Горькій!

¹⁾ См. о томъ вышеупомянутую статью мою въ „Курганахъ“.

Шиллеръ земли Русской! Какою трагическою фигурою остается онъ, на фонѣ русской литературы—чистый и одинокій—со своимъ неизмѣнно-гордымъ, фанатически-соколинымъ стремленіемъ въ высь, въ то время, какъ сотни приспособляющихся ужей твердятъ намъ:

— Въ лужу, въ лужу, ползите въ лужу... Свободы вверху, въ полетахъ—нѣтъ... это испытано... Она—въ глубинахъ лужи... Въ лужу, въ лужу! Какъ можно глубже зарывайтесь въ лужу!

— Рожденный ползать—летать не можетъ!—училь насъ могучій пѣвецъ безумства храбрыхъ. А литературный смѣнникъ его, со всею силою несомнѣннаго художественнаго таланта своего, старается внушить, что, наоборотъ:

— Летать рожденный—летать не смѣть!

И даже:

• — Летать рожденный обязанъ ползать!..

Среди всѣхъ проповѣдничествъ на тему, что съ волками жить—по волчьи выть, предика г. Леонида Андреева несомнѣнно самая краснорѣчивая и радикальная, и такъ какъ она очень льстива по адресу тѣхъ, кого убѣждаетъ къ волчьему вытью, то и самая вкрадчивая. Недавно въ одномъ восторженно-глупомъ интервью я читалъ, что подвигъ самоотреченія (!), изображенный въ «Тьмѣ», равносильнѣ крестному подвигу на Голгоѣѣ. Какъ, право, прогрессъ усовершенствовалъ всѣ проявленія духа человѣческаго, включительно до самоотреченія! Какъ теперь легко сдѣлаться Францискомъ Ассизскимъ, Буддою, Христомъ! Совсѣмъ не необходимо предавать тѣло свое на пожраніе голодной тигрицы, на пропятіе и гвоздное пронзеніе. Nous avons changé tout cela! Равныхъ результатовъ, по доказательству «Тьмы», можно достигнуть, просто запутавшись въ публичномъ домѣ съ драчливою дѣвкой, въ краснорѣчивомъ пьянствѣ и въ декламирующей трусости!..

— Какое же ты имѣешь право быть хорошимъ, когда

я—плохая?—восклицаетъ къ герою «Тьмы» побѣдоносная проститутка Люба.

И—такъ, вотъ, сразу и покончила террориста столь уничтожающимъ вопросомъ. До двадцати шести лѣтъ былъ фанатикомъ социалистической «хорошести», и вдругъ, изъ устъ случайной дѣвки, осіяла этого Савла новаго откровеніемъ тайная истина міра сего. И сразу рѣшилъ онъ «бросить подъ ноги проституткѣ и умъ, и честь, и достоинство, и даже—страшно подумать—безсмертіе» и самъ, въ отвѣтъ Любѣ, принялся выкликать:

— Я не хочу быть хорошимъ!.. Зрячіе, выколемъ себѣ глаза!.. На мою честность!.. Если нашими фонариками не можемъ освѣтить всю тьму, такъ погасимъ же огни и всѣ полѣземъ въ тьму... Моя жизнь была чиста и прелестна, какъ тѣ красивыя вазы изъ фарфора. И вотъ, поглядите: я бросаю ее! Топчите же ее, дѣвки! Топчите, чтобы кусочка не осталось!..

Вотъ, какъ краснорѣчиво изъясняются гости въ російскихъ публичныхъ домахъ! Вотъ гдѣ у насъ оказываются школы истиннаго, классическаго риторства-то!.. И, главное, что утѣшительно и правдоподобно: гость выронить перлъ элоквенціи, а дѣвки его сейчасъ же подхватятъ и—въ золотую оправу. Онъ имъ—брильянтовый афоризмъ, онѣ ему—изумрудную апогемму... И, наконецъ, когда истощаются самоцвѣтныя слова, обѣ стороны пускаются въ мрачно-романтическій сатанинскій балетъ. И всѣ ужасно другъ другомъ довольны: какіе они умные и какъ хорошо говорить умѣютъ. А публика читаетъ съ пріятностью, а критика ищетъ глубинъ, и лишь забвенная умная тѣнь Базарова бормочетъ, про себя, гдѣ-то въ загробныхъ потемкахъ:

— О, другъ мой, Леонидъ Николаевичъ, объ одномъ прошу тебя: не говори красиво!..

Базаровъ объяснилъ когда-то, что «говорить красиво—неприлично». неприлично—вообще. Тѣмъ паче—стоя въ

позиціи, болѣе чѣмъ некрасивой. Потому что,—повторю любимую цитату мою,—какъ Владиміръ Соловьевъ выражался,—«словами пышными возможно ли украсить поступки гнусныя?» А въ гнусности поступковъ своихъ герой «Тьмы» даже и самъ не сомнѣвается, хотя и уповаешь чрезъ гнусность эту совершить что-то «страшнѣе Христа». Такъ какъ, видите ли, Христосъ только «прощаль и любилъ грѣшниковъ: но самъ не грѣшилъ съ ними, не прелюбодѣйствовалъ, не пьянствовалъ». Герой же «Тьмы» именно эту вторую программу «самоотреченія» на себя мужественно принимаетъ. Какая жалость, что столь удобный способъ «положить душу свою» (герой «Тьмы» увѣряетъ, что именно таково его намѣреніе) оглашенъ слишкомъ поздно! Бѣдный Ѳедоръ Павловичъ Карамазовъ! Онъ жилъ и умеръ по программѣ героя «Тьмы», съ полною искренностью считая себя свиньею, и весьма несчастный чрезъ то. То-то радости было бы старику узнать передъ смертью, что онъ былъ совсѣмъ не свинья, но лишь, въ нѣкоторомъ родѣ, искупаль міръ «самоотреченіемъ отъ честности».

Когда Васыка Пепель спросилъ у Луки, старца лукаваго:
— Старикъ, зачѣмъ ты все врешь?

Лука, хотя и не могъ отрицать, что онъ все вреть, но могъ, по крайней мѣрѣ, указать положительныя побужденія къ своимъ «лжамъ съ благонамѣренною цѣлью»:

— Правда-то—она, можетъ, обухъ для тебя.

Но для какой положительной цѣли, для избавленія насъ отъ обуха какой правды лжетъ на жизнь талантливый авторъ съ начала до конца выдуманной «Тьмы»? Эта ложь сама—обухъ, отъ этой лжи—слабая душа и умъ недалекій и недостаточно развитой, чтобы сопротивляться авторитету и обаянію художественнаго таланта, должны прійти въ отчаяніе, злѣйшее, чѣмъ отъ самой скверной правды. Да такъ именно въ отчаяніе и пришелъ участковый приставъ, искавшій въ террористѣ врага-героя и,

вмѣсто того, по волѣ г. Андреева, обрѣтшій безштаннаго «бабника», какъ—по свидѣтельству Кропоткина—называла подобныхъ господъ Софья Перовская.

Вѣдь во всей этой «Тъмѣ» нѣтъ момента правды. Солгано все. Не было такихъ революціонеровъ. Солганъ, и нехорошо солганъ, этотъ революціонеръ. Не было, нѣтъ, не бываетъ такихъ проститутокъ. Солгана проститутка. Въ старомъ, смѣшномъ анекдотѣ Павла Вейнберга являлась когда-то на сцену «дѣвица», которая *Klavier spielt und Чернышевски gelesen*. Но тутъ—куда тебѣ *Klavier und Чернышевски*! Тутъ—«Антихристъ» Ницше въ юбкѣ карамазовской Грушеньки, излагающій мысли свои съ красно-рѣчивою энергіей Демосѐена, съ романтической звучностью Мейерберовой *ari!*¹⁾ «Надежда Николаевна» Гаршина въ сравненіи съ Любой—глупая дѣвочка и оптимистка. О Сонѣ Мармеладовой я не смѣю даже вспоминать сравнительно. На всемъ протяженіи «Тьмы»—ни одной реальности: поза и фраза, фраза и поза, авторскія мысли, неспособныя овладѣть головою, въ которой онѣ, будто бы, являются; авторскія слова и обороты рѣчи, неспособные звучать изъ тѣхъ устъ, которымъ они приписаны; жесты и движенія, которыхъ въ дѣйствительности не способны ни нанести, ни принять люди, изображенные авторомъ. Проститутка пять лѣтъ ожидаетъ настоящаго «хорошаго» человѣка, именно—революціонера, съ цѣлью ударить его по лицу за то, видите ли, что онъ смѣетъ быть хорошимъ, когда она плохая! И, въ теченіе пяти лѣтъ, она сортируетъ приходящихъ «хорошихъ», пора или не пора бить, стоитъ или не стоитъ гость чести быть битымъ, пока, наконецъ, судьба не приводитъ въ

¹⁾ По-моему у г. Л. Андреева, въ богатомъ, но холодномъ его дарованіи вообще, много общаго съ Мейерберомъ—такимъ же шумнымъ мастеромъ ловко придуманныхъ, романтическихъ эффектовъ и контрастовъ, искусно рассчитанныхъ на оглушеніе публики то симъ, то онымъ звуковымъ обухомъ. См. мою статью „Литературный Мейерберъ“ въ моемъ сборникѣ „Современники“.

вертепъ ея героя «Тьмы»... «и нынѣ, кажется, мой часъ насталъ!» Изъ какой неистовой французской мелодрамы взята эта инфернальная дѣвица, съ ея коллективной оплеухой по коллективной ланитѣ, ни въ чемъ предъ нею неповиннаго, «революціонера»? Сильвіо въ «Выстрѣлѣ» пушкинскомъ что-то лѣтъ десять или около того обдумывалъ мщеніе за полученную пощечину. Есть тоже провансальская сказка о мулѣ папы, который семь лѣтъ думалъ, какъ ему лягнуть врага, за то уже, когда лягнулъ, то лягнулъ хорошо. Но Сильвіо и мулъ знали, кому именно и за что именно они мстятъ. У молодого поэта С. Городецкаго я нашелъ недавно стихи о проституткѣ, которая гонить съ своей постели солдата, хотя только что была влюблена въ него, потому, что онъ ей напомнилъ лицомъ своимъ брата, разстрѣяннаго карательнымъ отрядомъ. Стихи слабоваты, но психологія ихъ понятна, естественна, реальна, человѣчна, — такъ бываетъ. Тутъ и солдатъ, и проститутка, и убитый братъ — личности, характеры, осязаемая, всегда возможная реальность. И, если бы наоборотъ было, положимъ, если бы проститутка была дочь, сестра, вдова полицейскаго, застрѣленнаго революціонерами, и мстила бы имъ, — это тоже понятно, естественно, реально, человѣчно, такъ бываетъ. Но коллективная проститутка, бьющая коллективнаго революціонера коллективною плюхою въ знакъ коллективнаго неудовольствія плохихъ на коллективную добродѣтель хорошихъ? Ожидающая сего принципиальнаго наслажденія пять долгихъ лѣтъ? Нѣтъ, такихъ проституткокъ въ городской регистраціи не водится. Онѣ существуютъ только въ фантазіи авторовъ, удрученныхъ заботою, какъ бы не повториться, а отсюда и сверхсильными напряженіями, какъ бы вяцше изломиться, чтобы пресыщенная публика не зѣвнула: *déjà vu*.

Ирреальность «Тьмы», небрежность автора къ тому, какъ было дѣло и даже какъ могло оно быть, обнару-

живается съ первыхъ же строкъ разсказа,—не наблюденныхъ, но воображенныхъ авторомъ, хотя «Былое», Степнякъ и заграничная литература освободительнаго движенія могли бы избавить Л. Андреева отъ его наивныхъ представленій о террорѣ.

Не бываетъ бомбометателемъ человѣкъ, настолько примѣтный для полиціи, такъ точно выслѣженный, такъ тѣсно загнанный, что, наканунѣ покушенія, ему уже некуда головы приклонить: всюду, какъ бѣлый волкъ, извѣстенъ. Если полиція стиснула «революціонера» желѣзнымъ кольцомъ и слѣдуетъ за нимъ по пятамъ, какъ же онъ завтра-то пойдетъ бросать свою бомбу? И зачѣмъ пойдетъ, разъ онъ видитъ себя въ ловушкѣ? Чтобы навѣрняка быть схваченнымъ на порогѣ публичнаго дома? Кстати о пребываніи «революціонера» въ послѣднемъ. Г. Леонидъ Андреевъ слыхалъ, что въ старину бывали случаи, когда террористы успѣшно укрывались въ публичныхъ домахъ. Да, но не какъ въ послѣднемъ убѣжищѣ. Можетъ ли быть послѣднимъ убѣжищемъ для бѣлаго волка мѣсто, гдѣ хозяева, прислуга, даже и женщины очень многія—или довѣренныя сыска, или прямо сыщики? Какъ-то разъ Борисъ Минцесъ, редакторъ «Die Zeit», просилъ меня добыть ему портретъ одного крупнаго русскаго террориста. Я обратился за содѣйствіемъ къ извѣстному репортеру Юрьеву. Онъ мнѣ привезъ желаемую фотографическую рѣдкость на другой же день.

— Гдѣ вы достали?

Онъ мнѣ называлъ «заведеніе», очень громкое въ Петербургѣ. Я удивился:

— Какимъ образомъ тамъ можетъ быть его портретъ?

— У нихъ всѣ такіе портреты есть,—кого очень ищутъ... Охранка ихъ снабжаетъ.

Такъ повелось еще съ восьмидесятыхъ годовъ. Въ настоящее время убѣжищемъ публичнаго дома съ успѣ-

хомъ могъ бы воспользоваться революціонеръ, развѣ мало извѣстный и безынтересный для полиціи, а ужъ никакъ не столь яркая и примѣтная фигура, какъ рекомендуетъ г. Л. Андреевъ героя своей «Тьмы». Столько же неестественны и невѣроятны отсылка револьвера въ контору, показываніе его другимъ гостямъ и т. п. Это—не то, что не бываетъ, но даже и «не въ нравахъ»: «Die Hölle hat selbst ihre Rechte»!

Скажутъ: да, что же вы ищете реализма во «Тьмѣ»? Это—символы, а не дѣйствительность, это обобщающія тѣни авторскаго синтеза. А какой прокъ въ символѣ, если онъ мечется въ воздухѣ безпорнымъ бредомъ, оторвавшись, какъ произвольная отсебятина, отъ реальной основы? А на что годится такой синтезъ, который не выдерживаетъ анализа? Если число не дѣлится на множимое и множителя, значитъ, оно—не ихъ произведеніе. Если литературный образъ не допускаетъ повѣрочнаго расчлененія на осязательности реальной жизни, значитъ, въ немъ нѣтъ правды, значитъ, онъ изящная реторика, краснорѣчивая ложь, «хорошій слогъ». Символъ не можетъ быть выдумкою, онъ имѣетъ смыслъ лишь какъ сдѣпленіе обобщенныхъ правдъ.

Г. Леонидъ Андреевъ, одѣвшись въ краснорѣчивую ложь, торжественно приглашаетъ общество во тьму:

— Выпьемъ за то, дѣвицы, чтобы всѣ огни погасли! За подлецовъ, за мерзавцевъ, за трусовъ, за раздавленныхъ жизнью. За тѣхъ, кто умираетъ отъ сифилиса...

Это предсмертное *brindisi* напоминаетъ трагическій тостъ Софьи Михайловны въ «Просвѣщенномъ времени» Писемскаго:

— За здоровье всѣхъ лоретокъ, кокотокъ и камелій! Что же вы не пьете? и т. д.

Но вопль женскаго отчаянія, загнаннаго къ выбору между самоубійствомъ и проституціей,—голосъ жизни

а вопль не-подлеца во славу подлецовъ, тость не-мерзавца за мерзавцевъ, храбреца за трусовъ, рожденного летать за рожденныхъ ползать, дѣвственника за сифилитиковъ—не жизнь, но праздная реторика: крикливая театральная выдумка по рецептамъ «сатанинской» школы. Квазимодо тридцатыхъ годовъ столько натрубили въ уши, что «le beau c'est le laid», что бѣдный Квазимодо, на старости лѣтъ, возгордился, заболѣлъ маніей величія и требуетъ, чтобы весь міръ сталъ Квазимодо.

— Погасимъ огни и полѣземъ во тьму!

Таковъ финалъ пятидесятилѣтней эволюціи русской художественной мысли послѣ «Свѣтлаго луча въ темномъ царствѣ»! Свѣтлый лучъ—преступленіе, темное царство — излюбленная наличность, примирительная наглядность: — Да скроется солнце, да здравствуетъ тьма!

И зачѣмъ, право, г. Андреевъ арестовалъ своего подложнаго «революціонера»? Ужъ, въ самомъ дѣлѣ, вель бы это изобрѣтенное имъ сокровище до вождѣннаго идеала, со ступеньки на ступеньку той «тьмы», которой онъ братски предается. Сегодня—любovníкъ и сожитель дѣвки, въ просторѣчій «котъ». Завтра—товарищъ Маркушки. Послѣ завтра—по взятымъ на себя новымъ обязанностямъ тьмы—понесетъ чей-нибудь револьверъ на-показъ въ участокъ, какъ настоящій Маркушка отнесъ его револьверъ. Отчего не поступить въ шпіоны? Шпіонъ—тьма. Почему не организовать погромъ? Погромщикъ—тьма. Почему, «погасивъ огонь и залѣзая во тьму», «революціонеркѣ» по Андрееву не связаться съ какимъ-нибудь Крушеваномъ? и не участвовать въ его милыхъ предпріятіяхъ? Почему «революціонеру» не якшаться по душамъ съ компаніями шпиковъ, выпивая, съ ними брудершафты до снятія ризъ и совмѣстнаго братскаго паденія подъ столъ? Крушеванъ и шпикъ—тоже тьма, да еще и какая! Не той чета, что г. Леонидъ Андреевъ

описалъ мрачными ферматами своего громкозвучнаго, опернаго слова...

Неудачная ссылка Леонида Андреева на Христа, котораго герой «Тьмы» хочетъ превзойти своимъ «болѣе страшнымъ» самоотреченіемъ, даетъ мнѣ толчокъ—обратиться тоже къ Писанію. А именно—вспомнить автобіографическое свидѣтельство ап. Павла, какъ онъ—геніальный, вѣчный образецъ всякой идейной пропаганды—обращался съ «тьмою», чтобы пронизать ее своимъ свѣтомъ. «Будучи свободенъ отъ всѣхъ, я всѣмъ поработилъ себя, дабы больше пріобрѣсть: для іудеевъ я былъ какъ іудей, чтобы пріобрѣсть іудеевъ; для подзаконныхъ былъ какъ подзаконный, чтобы пріобрѣсть подзаконныхъ; для чуждыхъ закона какъ чуждый закона, чтобы пріобрѣсть чуждыхъ закона. Для немощныхъ былъ какъ немощный, чтобы пріобрѣсть немощныхъ. Для всѣхъ я сдѣлался всѣмъ, чтобы спасти, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыхъ».

Не правда ли, на первый взглядъ, это кажется какъ будто почти подтвержденіемъ замысловъ андреевскаго героя и тактическимъ оправданіемъ идей «Тьмы»? Но звукъ и начертанія словъ—еще не смыслъ ихъ, и, пріемля формулу Павловыхъ уподобленій учителя ученикамъ, не слѣдуетъ забывать ни способа, какимъ онъ примѣняется въ средѣ ихъ, ни вывода, къ которому устремляется. Практическое руководство Павла, написанное противъ партійнаго фанатизма, учитъ лишь, что, желая поднять человѣка до уровня истины, которую вы сами увѣдали и чувствуете, вы не должны навязывать неофиту своего кодекса въ повелительный абсолютъ, но лучше доводить его до своихъ правдъ, умѣя доказать ихъ съ его точекъ зрѣнія, входя въ его положеніе, снисходя къ его умственному складу, характеру и кругу знанія. Будь свободенъ отъ всѣхъ, но не брезгуй никѣмъ и умѣй быть вровень съ каждымъ, чтобы онъ не испугался твоей нетерпимости и позволилъ

тебѣ поднять его. Такимъ образомъ, становится возможнымъ рай «по крайней мѣрѣ, нѣкоторыхъ». Но герой «Тьмы» не желаетъ рая для нѣкоторыхъ:

— Если нѣтъ рая для всѣхъ, то и для меня его не надо,—это уже не рай, дѣвицы, а просто-на-просто свинство...

— А потому,—выводъ,—чтобы избѣжать «свинскаго рая», пребудемъ въ адскомъ свинствѣ.

Революціонеръ не можетъ вѣрить въ небесный рай и, слѣдовательно, рай здѣсь — только метафора, смѣющаяся надъ идеалами тѣхъ «хорошихъ», которыхъ покидаетъ краснорѣчивый герой «Тьмы» для того, чтобы стать плохимъ съ плохими. Кто эти покинутые «хорошіе», мы знаемъ отъ г. Андреева: социалисты дѣйствія. Конечно, социализмъ не сдѣлаетъ «хорошими» всѣхъ по взмаху волшебнаго жезла, «плохіе» не могутъ исчезнуть изъ міра по щучьему велѣнію, по нашему хотѣнію. Десятилѣтія пройдутъ, прежде чѣмъ равноправіе женщины, свобода брака и обезпеченіе материнства уничтожатъ проституцію; нѣсколько поколѣній сойдетъ въ могилы прежде, чѣмъ человѣчество начнетъ ощущать оздоровленіе отъ сифилитическаго вырожденія. Исторія не знаетъ чудесъ и фокусовъ. Но—увы и ахъ!—эволюціи прогресса такъ скучно ждать, такая лѣнь на нее работать, такъ коротка душа—въ нее вѣрить. Въ такомъ случаѣ, чего же проще, дѣйствительно: не все—такъ ничего! Объявить социалистическій идеаль «просто свинствомъ» и, зачеркнувъ его, пребывать въ самоотреченномъ сліяніи съ тѣми, кого онъ отрицаетъ,—съ Маркушками, съ пьянымъ околоточнымъ, съ Крушеваномъ, съ Оомою Сейномъ и т. д. Ибо—по логикѣ г. Андреева—если въ социалистическомъ раю нѣтъ мѣста для Крушевана, Оомы Сейна, Маркушки и пьянаго околоточнаго, то—стоитъ ли быть социалистомъ? Пустое занятіе. Топчи жизнь въ черепки... Убивай и развращай самого себя до уровня другихъ падшихъ,

убивай и развращай другихъ примѣромъ своего паденія, разрушеніемъ своего идеала. Ап. Павелъ, созидая свой «рай нѣкоторыхъ», говорилъ съ восторгомъ о ловцахъ душъ, готовыхъ переплывать моря и совершать дальнія опасныя путешествія по одному слуху, что есть гдѣ-то душа, ищущая рая и способная къ спасенію. Исторія всѣхъ освободительныхъ движеній созидалась тѣмъ же порядкомъ накопленія добра, покуда оно не окрѣпало количественно для открытой войны и рѣшительной побѣды надъ зломъ. Убоявшійся «рая нѣкоторыхъ», какъ «просто свинства», герой «Тьмы», не переплывая морей и не двигаясь съ мѣста, совершилъ въ одну ночь три совершенно обратныхъ подвига: пріюбщилъ къ «тьмѣ» себя самого, не пустилъ изъ тьмы къ свѣту, со дна ввысь, отъ плохихъ къ хорошимъ, отрезвленную проститутку и загасилъ отвращеніемъ послѣднюю искру человѣческую, задавилъ послѣднее дыханіе какихъ-то слабыхъ отраженій идеала въ жалкомъ, грѣшномъ участковомъ приставѣ. Входилъ участковый приставъ въ публичный домъ арестовать героя, а нашелъ «ска-а-тину». Утромъ участковый приставъ вѣрилъ, что, если онъ самъ свинья, такъ все же есть гдѣ-то люди-искупители, которыми жизнь красна и достоинство человѣчества спасено будетъ,—къ полдню онъ уже зналъ, что «не свиней» нѣтъ на свѣтѣ, и свиньею между свиньями быть не только не обидно и не стыдно, но даже похвально, чортъ возьми. Трое, шедшихъ къ свѣту,—трое озвѣренныхъ!

.
Въ дѣйствительной исторіи русскаго освободительнаго движенія не было и нѣтъ андреевскихъ героевъ тьмы,—по крайней мѣрѣ, на тѣхъ отвѣтственныхъ боевыхъ позиціяхъ, какъ угодно было написать г. Л. Андрееву. Повторяю: какъ результатъ художественнаго творчества, нелѣпаго неврастеника, изображеннаго г. Андреевымъ, приходится занести по той же категоріи, плачевныхъ

отсебятинъ «изъ головы», какъ небывалыхъ никогда нигилистовъ Маркевича, Крестовскаго, Стебницкаго или злобно искаженныхъ социалистовъ Жителя, съ писаніями котораго «Тьму» сближаетъ угрюмо-истерическій тонъ ея. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что попалъ г. Л. Андреевъ въ такую компанію по недоразумѣнію, и оставаться въ ней, сколько ни приглашай онъ «гасить огни и лѣзть во тьму», ему по вкусу быть не можетъ. Если бы г. Л. Андреевъ не имѣлъ крупнаго имени, то его «Тьму» лучше было бы замолчать, какъ случайный *lapsus calami* таланта сильнаго, но капризнаго, не опредѣлившагося, тревожно мечущагося въ жаждѣ сказать новое слово, котораго еще самъ не предчувствуетъ и не знаетъ, темно оригинальничающаго изъ страха не быть оригинальнымъ. Парадоксальное творчество всегда эффектно, да къ тому же оно и легче всякаго другого, и сейчасъ въ модѣ: роковое условіе даже для андреевскихъ недюжинныхъ силъ. Но нѣтъ парадоксовъ не обоюдострыхъ, и потому-то въ нѣкоторыхъ областяхъ мысли игра парадоксовъ или недопустима вовсе или, по крайней мѣрѣ, требуетъ отъ автора особо деликатной чуткости и осторожности. Иначе она обращается въ некрасивую и двусмысленную софистику фальшивыхъ выдумокъ, въ неловкую стрѣльбу по своимъ въ разгарѣ смертельнаго и несчастливаго боя. На тѣлѣ освободительнаго движенія слишкомъ много тяжкихъ ранъ и безъ парадоксальныхъ капризовъ г. Андреева. Любимцу ли освобожденія оскорблять друзей вражескими ударами? Удары-то не изъ опасныхъ, но нѣтъ раны болѣе мучительной, больной и памятной, чѣмъ—нанесенная любимой рукой.

II.

(Отвѣтъ S. R.—Аккерманъ).

Вполнѣ присоединяюсь къ вашему отрицательному взгляду на «Тьму» г. Леонида Андреева. Это произведение свидѣлствуетъ не только объ усталости таланта, но и о глубокомъ невѣдѣніи, что онъ творить. Говорю: о невѣдѣніи, потому что не можемъ же мы подозрѣвать Л. Андреева въ безразличіи, что творить. Никогда еще ни одинъ беллетристъ русскій, не исключая даже реакціонныхъ, не рисовалъ дѣятеля освобожденія такими оскорбительными чертами, такими лживыми красками. При томъ, реакціонеры, въ памфлетическихъ карикатурахъ своихъ, по крайней мѣрѣ, послѣдовательны и цѣлесообразны,—вѣрны предвзятой и обязательной имъ тенденціи клеветать на освободительное движеніе и пачкать грязью его бойцовъ. Это ихъ ремесло. У Леонида Андреева подобной тенденціи быть не можетъ. Ничто не даетъ намъ права предполагать въ немъ поворота въ ту сторону, какъ вы поспѣшили заподозрить. Тѣмъ не менѣе, герой «Тьмы»—конечно, въ высшей степени печальное, фальшивое и обидное искаженіе освободительной дѣйствительности, и видѣть подъ нимъ подпись Леонида Андреева грустно. Ни исторія освободительнаго движенія, ни его современность не дають г. Андрееву нравственнаго права преподносить публикѣ сочиненный имъ некрасивый анекдотъ, какъ учительную программу, съ опорой на авторитетъ будто бы «отступившаго въ тьму» героя

разказа. Такихъ случаевъ не было, такихъ дѣятелей не было. Формулу «загасимъ огни и полѣземъ въ тьму» мы привыкли слышать отъ Иліодоровъ и Крушевановъ, а не отъ Андреевыхъ. Мрачный софизмъ формулы этой, я полагаю, не требуетъ комментаріевъ. И малый ребенокъ легко увидить, куда тянетъ насъ послѣдовательность андреевскаго призыва. И глубокая неправда это! Даже противъ «тьмы» неправда! «Тьмѣ» совсѣмъ не нужно, чтобы огни погасли. Порокъ и тоска «тьмы» ищутъ излеченія и оздоровленія, а совсѣмъ не оправданія и новаго сообщества. Люба втянула андреевскаго героя въ свою тьму, а самоё-то ее тянетъ къ свѣту, стать и быть — свѣтомъ. Ужасъ проституціи не избудется тѣмъ, что герой «Тьмы» пошелъ въ проституты, и ни одной проституткѣ не станетъ лучше отъ того, что у нея оказался вдругъ такой неожиданный товарищъ по быту и сочувственникъ по профессіи. Ни одна проститутка не мечтаетъ о томъ, чтобы всѣ женщины стали проститутками, а мужчины сутенерами, и не увидить въ такой «темной» возможности ни высшей справедливости, ни нравственнаго удовлетворенія за собственную гибель. Тьму можно и должно жалѣть, просвѣщать, озарять, но признавать власть тьмы, отдаваться въ ея сообщество, покоряться ея количественному превосходству, провозглашать тосты за ея позоры и безобразія,—значить пятить прогрессъ человѣческой, объявлять побѣду реакціи и на реакцію работать. Правило *tant pis, tant mieux* и въ политикѣ-то сомнительно, хотя, можетъ быть, и примѣнимо иной разъ, какъ гуммозный пластырь, полезный, чтобы довести нарывъ до естественнаго вскрытія, безъ разрѣза. Въ соціальной же эволюціи оно ровно никуда не годится и, смѣясь надъ друзьями свободы человѣческой, служить на враговъ ея съ самымъ злобнымъ и язвительнымъ усердіемъ. «Загасимъ огни и полѣземъ во тьму». Да вѣдь — кабы во тьмѣ-то были только проститутки, Васьки Пеплы и т. д.

Еще куда бы ни шло! Но вѣдь въ глубинѣ-то тьмы сидятъ Крушеваны, Иліодоры, хулиганы и т. д. А за тьмою—творцы тьмы, «въ нихъ же есть заковыка». Разъ герой «Тьмы» подѣмлетъ на себя подвигъ самоотреченія (?) «страшнѣ Христа», онъ, спасающій проститутку чрезъ свое уподобленіе ей, долженъ будетъ спасать Крушевана черезъ самоуподобленіе Крушевану, Иліодору — чрезъ фанатическое изувѣрство, хулигана — рыска съ резиною и дубьемъ на погибель мирному еврейству и интеллигенціи. Онъ долженъ быть Побѣдоносцевымъ съ Побѣдоносцевымъ и унизиться до Дубровина и Пуришкевича, потому что они—тоже тьма, тьма темъ, самые «плохіе», а слѣдовательно, тоже подлежатъ андреевскому искупленію чрезъ самоотреченное уподобленіе имъ «хорошихъ». До такой логической бессмыслицы доводитъ насъ фантастическій рецептъ г. Леонида Андреева—попирать тьму тьмою. *Similia similibus*—по-русски переводятся «клинь клиномъ выгоняй». То-то вотъ и есть, что не точна старая пословица. Нижній забитый клинь выгоняется совсѣмъ не верхнимъ вбиваемымъ клиномъ, но обухомъ топора, которымъ вбиваетъ верхній клинь рука, покорствующая сознательной и ясной волѣ.

Вы спрашиваете меня, какъ объясняю я себѣ «психологію» появленія «Тьмы». Очень просто, долженъ сознаться. Васъ, идеалистку, ищущую въ жизни героевъ Карлейля, мое прозаическое, житейское объясненіе, можетъ быть, и не удовлетворить. Я вижу въ «Тьмѣ» одинъ изъ тѣхъ скороспѣлыхъ и размахистыхъ трудовъ, которые сейчасъ г. Леонидъ Андреевъ сталъ печь, какъ блины, съ лихорадочною поспѣшностью стараясь использовать, какъ можно шире и быстрѣе, громкую масленицу своего богатаго таланта. Самый модный писатель въ Россіи, онъ словно боится, что мода недолговѣчна, и торопится выбрасывать свои мысли на бумагу, очень мало заботясь о провѣркѣ этого стихійнаго матеріала и

о приведеніи его въ логическій порядокъ. Лишь бы «звучало»! И—«за вкусъ не берусь, а горячо будетъ»! Собственно говоря, «Тьма» не обнаружила какого-либо новаго недостатка въ Леонидѣ Андреевѣ, но лишь раскрыла публикѣ глаза на одинъ важный старый: на хаотическую небрежность его творческой мысли, не то слишкомъ надменной, не то слишкомъ недосужной, чтобы разграничивать дѣйствительность отъ галлюцинаціи, и, будучи по природѣ вполне способною къ реалистическому наблюденію (напримѣръ, въ «Губернаторѣ»), тѣмъ не менѣе предпочитающей послѣднему болѣе легкую дорогу призрачнаго ирреализма.

Недостаточность образованія, при спѣшной небрежности письма, уже не разъ подсовывала Андрееву подъ перо непріятныя ошибки. Превосходный «Элеазаръ» испорченъ произвольностью исторической обстановки (фантастическій кесарь). «Къ звѣздамъ» — астрономическими наивностями. «Іуда» — незнаніемъ евангельской литературы. Андреевъ презируетъ объективное изученіе предметовъ, о которыхъ онъ пишетъ, и, надѣясь на огромную силу своего эффектнаго таланта, раздѣляется съ ними субъективною отсебятиною. Когда онъ пишетъ вещи фантастическія, внѣ времени и пространства, или легендарныя, или аллегорически отвлеченныя, то въ отсебятинахъ этихъ крупный талантъ, несомнѣнное психологическое чутье и, прибавлю, весьма значительная техническая ловкость и знаніе вкусовъ публики выручаютъ Леонида Андреева, если не искупая, то прикрывая основную ирреальность его письма. Въ темахъ же живой современности онъ постоянно срывается въ небылицу и выдумку, въ невѣроятность обстановокъ, не наблюденныхъ, но измышленныхъ.

Замѣчательная способность къ красиво парадоксальнымъ построеніямъ и эффектамъ и яркая красочность языка спасли отъ недоумѣній много рассказовъ Л. Ан-

дреева, хотя они были бесспорно ирреальны—и до сихъ поръ въ воздухѣ висятъ, а не на твердой почвѣ стоятъ крѣпкими ногами. «Бездна»—миѡ, но миѡ, стоящій реальности. Въ этихъ торжествахъ надъ умомъ и въ этомъ перекорѣ стихіямъ одинаково сказываются—сила таланта Андреева и его искусство поворачивать свое мастерство къ публикѣ самыми казовыми, ошеломляющими сторонами. Такъ, напримѣръ, я считаю однимъ изъ шедевровъ Андреева рассказъ «Христіане», гдѣ проститутка-свидѣтельница на судѣ отказывается принять присягу: она перестала считать себя христіанкою, потому что живетъ заработкомъ, противнымъ ученію Христа, и въ обстановкѣ, не имѣющей ничего общаго съ евангельскою идилліей. Эта проститутка—какъ бы старшая сестра Любы изъ «Тьмы», хотя «Христіане», въ лаконической энергіи своей, были куда же сильнѣе и глубже. «Христіане»—вещь потрясающей могучести. Настолько, что, благодаря энергіи тона и красочности «Христіанъ», публика оставила безъ вниманія то обстоятельство, что судебная обстановка рассказа—фантастична и невозможна, какъ будто Л. Андреевъ и въ судѣ то никогда не бывалъ. Критика же, хотя, помнится, этого пробѣла безъ вниманія не оставила, но рассказъ производилъ такое сильное впечатлѣніе, что—махнула рукою: да будетъ ему триумфъ! Что считать пятна на солнцѣ! Такимъ образомъ, мрачная мощь исповѣди проститутки въ «Христіанахъ» заставила забыть и извинить, что длинная и подробная исповѣдь эта ни предъ какимъ судомъ не могла быть произнесена; что судъ не въ состояніи былъ, да и права не имѣлъ ея слушать; что предсѣдательствующіе россійскіе богословствовать и философствовать свидѣтелямъ не позволяютъ; что—чуть не до холодного пота теряться предъ отказомъ свидѣтельницы отъ присяги предсѣдательствующему не съ чего: дѣло формальное и легко оформляемое,—развѣ,

что, при цѣпкомъ адвокатѣ, лишній поводъ къ кассации,— такъ это уже сенатъ разбирай!

Вотъ такъ-то и всегда у Леонида Андреева. Онъ схватываетъ тему съ лета и, безъ наблюденія, начинаетъ воображать, какъ бы она могла сложиться въ сцену. Онъ воображаетъ: что—если бы проститутка отказалась отъ судебной присяги? что—если бы террористъ заночевалъ съ подобною проституткою въ публичномъ домѣ? Въ великорусской натурѣ Леонида Андреева есть—таки и способность, и склонность къ той самобытно-гипотетической философіи *à la russe*, что Гоголь высмѣивалъ въ метафизическо-мечтательномъ типѣ натурь-философа Киѣи Мокіевича: «Что было бы, если бы слонъ родился изъ яйца»? И, размышляя о возможности слону родиться изъ яйца, Андреевъ уже великолѣпно воображаетъ себѣ фантастическую толщину небывалаго, но предположительно-необходимаго яйца и пишетъ о ней, будто имѣетъ ее передъ глазами. Это—писатель условныхъ предложеній, человѣкъ, живущій въ сослагательномъ наклоненіи. Спѣшные плоды субъективныхъ гипотезъ и условностей онъ съ нервною торопливостью подаетъ жадно ждущей, налету хватающей талантливое слово, публикѣ. Въ «Христіанахъ» воображенію Андреева удалось побѣдить враждебные протесты дѣйствительности и захватить насъ эффектами психологической условности, къ тому же, всегда, мастерски маскированной натуралистическими штришками и словечками. Это вѣдь обычная манера г. Андреева: изобрѣтать, нафантазировать, напредположить красивую сумятицу романтическихъ призраковъ, а потомъ, чтобы люди приняли фантомы за людей и галлюцинацію за жизнь, заставить привидѣнія ругаться между собою площадными словами, обнажить какой-нибудь животъ, полный газами, либо, какъ во «Тьмѣ», разольетъ по комнатѣ содержимое ночного горшка. Въ темахъ не слишкомъ острой и

общей психологіи эта масочная смѣшанность достигла своей цѣли. Но вопросы и люди освободительнаго движенія черезчуръ близки и дороги русскому читателю. И вотъ, какъ ни гремѣлъ Андреевъ богатымъ арсеналомъ своихъ мейерберовскихъ словъ, а не могъ замаскировать, что въ вопросахъ этихъ онъ путается и мало смыслить, а людей этихъ не знаетъ и не понимаетъ. Въдъ первый-то промахъ по этой цѣли былъ данъ Андреевымъ еще въ «Саввѣ», котораго онъ бросилъ побѣжденнымъ покойникомъ къ ногамъ странника-фанатика «царя Ирода», — тоже символическаго носителя «тьмы», да еще столь, видите ли, великолѣпнаго и могучаго, что даже и пришибъ-то Савву онъ одною лѣвою рукою. И реализмъ письма, попавъ на тему болѣзненно острой, неотступной жизненности, окончательно выдалъ въ «Тъмѣ» грубо-наивную условность и небрежную спутанность политической мысли автора.

Воображая да отсебятничая, изобрѣтая призраки внѣ жизни и исторіи, г. Андреевъ забрелъ «Тьмою» своею въ прескверное болото, сталъ, къ огорченію читателей и, полагаю, также и къ своему собственному, нечаяннымъ и, будемъ надѣяться, лишь случайнымъ и однодневнымъ сосѣдомъ Маркевичей и Крестовскихъ. Въ Каннѣ, Ниццѣ, Монтекарло «Тьма» принята съ злораднымъ восхищеніемъ:

— Вотъ почитайте, какъ свой же «ихъ» аттестуетъ!..

Г. Андреевъ очень много пишетъ, слишкомъ много, для того, чтобы художественное творчество являлось длительно отвѣтственнымъ и прочнымъ. И, дѣйствительно, каждый, выбрасываемый г. Андреевымъ на рынокъ, новый рассказъ какъ-то покрываетъ предыдущіе. Онъ диктаторски владѣетъ днемъ, но прежнее дѣлается — точно 31 декабря послѣ наступленія новаго года. Разъ талантливый человѣкъ въ состояніи часто устраивать себѣ новый годъ, это его великое счастье, съ которымъ можно

только каждый разъ поздравлять богато одареннаго автора. Но такъ какъ всѣ эти андреевскія многократныя новогодія истекають не изъ реальныхъ впечатлѣній, но изъ субъективной выдумки, то съ любопытствомъ и радостью приѣмлющая ихъ публика, однако, не терпитъ въ нихъ повтореній.

Реальное наблюденіе, реальная идея неисчерпаемы и не боятся повторности. Чеховъ, какъ великій реалистъ, могъ хоть 12 разъ подходить къ одной и той же темѣ съ двѣнадцати сторонъ и каждый разъ давалъ еще неиспытанныя впечатлѣнія, которыя были интересны читателю, какъ новыя открытія почти научнаго совершенства. Романтикъ и трибунъ, могучій нашъ Максимъ Горькій шесть лѣтъ держалъ русскую мысль въ рукахъ одной и той же крѣпкой своей идеи, въ обществѣ однихъ и тѣхъ же «бывшихъ людей», повторялся десятки разъ и, однако, читатель русскій до сихъ поръ сожалеетъ, что Горькій закончилъ этотъ періодъ творчества своего и не возвращается ни къ его темамъ, ни къ его манерѣ. Не то съ Леонидомъ Андреевымъ. Какъ чудо выдумки, онъ обязанъ давать публикѣ все новое, новое, новое,—схемами, фантазіями, набросками, намеками и мазками, потому что наблюденій отъ него и не ждутъ,—но новое, новое, новое. При томъ многописаніи, въ которое теперь увлекъ Андреева широкій его успѣхъ, этотъ капризный запросъ на новизны, эта обязательность сочинять художественную злобу дня во что бы то ни стало,—страшное условіе. Какимъ талантомъ ни одари природа человѣка, мозгъ не губка, изъ которой—по нажатію—сочатся новые образы, парадоксы, риторическія красоты стиля *moderne*. Безъ повтореній при такой огромной «поставкѣ» не обойдешься, а повторенія для Андреевыхъ и Мейерберовъ—смерть. Все, слишкомъ эффектно сказанное однажды, въ авторскомъ повтореніи звучитъ—хорошо еще, если только блѣдно, а

то вѣдь, бываетъ, и пошло. Когда громкая фраза переходитъ изъ момента, прозвучавшаго ею оригинально, въ моменты, призывающіе ее на помощь, какъ запасный товаръ изъ склада, она превращается въ пародію, въ карикатуру. Поэтому Мейерберы и Андреевы,—слишкомъ умные, чтобы не сознавать, что они прокляты роковою формулою *non bis in idem*,—осуждены на вѣчное изысканіе новыхъ способовъ производить впечатлѣніе, новыхъ эффектовъ, новыхъ вывертовъ, новыхъ средствъ *pour épatier le bourgeois* (огорошивать мѣщанство). При усталости таланта, эта отчаянная погоня можетъ втравить человѣка въ большую и неразборчивую грубость. Мейерберъ на старости лѣтъ написалъ же такую музыкальную безтактность, какъ «Африканка». Андреевъ же, переутомившись за 1907 годъ, окончилъ его во всѣхъ отношеніяхъ слабою, а политически неловкою, гримасою «Тьмы».

Сквозь технику вывертовъ и эффектовъ, усталость въ «Тьмѣ» чувствуется тяжелая: повторяются лица изъ «Христіанъ», повторяются образы и ремарки изъ «Жизни Человѣка», даже цѣлая сцена сатанинской пляски проститутокъ вокругъ разбитой жизни «революціонера»—повтореніе оттуда же. Г. Андреевъ не можетъ не чувствовать своей усталости, не можетъ не сознавать и не бояться повтореній. Весьма вѣроятно, что отсюда-то и родилась крикливая напряженность новаго выверта, которымъ выброшены на свѣтъ отвратительная фигура, кривляющагося во «Тьмѣ», героя съ его дикимъ призывомъ—«загасить огни и лѣзть въ тьму». Позировалъ, позировалъ человѣкъ да невзначай и допозировался до мракобѣсія! Результатъ, нечего сказать! А ужъ что за охота пуще неволи г. Леониду Андрееву переутомлять себя до такихъ плачевныхъ возможностей,—это его авторская тайна. Слава у него есть, человѣкъ онъ молодой, жизни впереди—не одинъ десятокъ лѣтъ: казалось бы, нѣтъ никакихъ причинъ погонять свое

творчество, чтобы оно, хочет не хочет, въ силахъ не въ силахъ, бѣжало невѣсть куда, сломя голову и не разбирая дороги. Творить, бѣжа опрометью, во «тьмѣ»— значить забрести въ лужу. Талантъ г. Андреева дорогъ русскимъ людямъ. Въ лужной ваннѣ больно его видѣть. Отъ всей души желаю, чтобы это антипатичное недоразумѣніе кончилось, и чтобы русская публика опять увидала своего любимца, съ привычною ей радостью, отдохнувшимъ и на привычныхъ ему путяхъ.

С п и с а н і е

ВИДѢНІЯ АЛЕКСАНДРОВА,

яко, ни спяще, ни бдяще, удостойхся азъ, худый, въ духѣ тонцѣ, зрѣти Аввакума Протопопа, въ Пустозерскомъ градѣ отъ никоніанъ сожженна суща непокорствъ его протопоповыхъ ради.

Януарія въ двунадесятый день, преблагія памяти святыя мученицы Татіаны, ей же единожды въ году воздается честь и поклоненіе отъ всихъ, иже негдѣ въ училищѣ первопрестольнаго града Москвы, университетъ рекомомъ, сладость наукъ воссосу, азъ, многогрѣшный Александръ, книгочей, въ латинскомъ градѣ Торинѣ, иже по-русски Бычокъ знаменуется, сиротѣхъ единъ во огражденіи садовомъ, яко вранъ на нырищи, приємляй во чрево свое, для ради памяти Татіаниной, питіе чермно и кисло, отъ бусорманъ торинскихъ кіантіемъ обличаемое. И бысть ми, яко приємше реченнаго кіантія сосуды ино два, ино три, изступихъ ума восторгомъ, воеже незримыя зрити и неслышимыя слышати. Се убо видѣста очи мои, яко вниде во огражденіе садовое старчище нѣкакое, кафтыремъ покровенно, манатейкою одѣянно, мужъ добре древень, образомъ велій и зѣло нечесанный, ризами дранъ, брадою мразоподобенъ, очима грозень и гласомъ громащъ, яко во трубу златозвончатую:

— Александре, Александре, экъ тебѣ, громобитный, врагъ, угораздило!

Азъ же, дивяйся, яко русскимъ языкомъ во бусурманстѣй странѣ глаголетъ, тымъ же до Никоновой прелести вси праведници глаголаху, вострепетахъ, вопрошая со смиреніемъ и даже до дрожанія въ поджилцѣхъ:

— Отъ кѣихъ еси, старче честный? Аще чаеши милостыню стяжати, тщетны суть упованія твоя, растратившу бо мнѣ, окаянному, пенязи моя, абы токмо уплатити потребленіе кіантійское. Отыди съ миромъ, поелику се уже грядетъ на тя распорядитель огражденію сему, рекомый камеріеръ.

Старець же, отвѣщая, рече:

— Милостыни не ищю и камеріера не страшусь, никомуже не могущу зрѣти мя развѣ тебе, оле ми неразумѣнія твоего, маловѣрче! Азъ же есмь недостойный протопопъ Аввакумъ, иже, непокорства властямъ земнымъ и крѣпкословія своего ради, пріяхъ отъ никоніанъ огненную смерть въ Пустозерскомъ градѣ въ лѣто 7190-е апрѣля во 14 день.

Внемше то слово протопопле, а бысть ми сердечный трусъ, а души раздвоеніе и въ пятцѣ ухижденіе. Той же, ослабивше устнѣ своя, съ умильностью рече:

— Не бойся, чадо, не погубити тя пріидохъ, но исправить, да не усушится духъ твой въ сомнѣніехъ твоихъ, но вѣдѣніемъ крѣпкимъ, аки кринъ сельный и финикъ и кипарисъ, процвѣтеши. Извѣстенъ бо есмь о тебѣ, яко поважаеши имя мое и отъ древнихъ писаній моихъ прилежне начитанъ еси, и иные отцы, иже со мною, такожде усердно чытеши. Того книгочейства твоего ради (паче же прошеніемъ друга твоего Григорія-попа, иже Петровыхъ рода, сына Спиридонова, въ немъ же нѣчто отъ моего протопопова духа уповаеся), подвигнуть есмь, да открою ти тайная и реку неизреченная. Въ сихъ, чадо, воззови обратне изъ пятокъ душу свою, да

сочинимо благое совопросничество, еже неистовствомъ никоніанскихъ дней вашихъ нарицается интервью.

Азъ же, худый, слыша, возрадовался зѣло и, въ нарочитомъ веселіи сердца моего, еще единъ сосудъ великъ кіантія купивый, учинихъ протопопови повелѣнное то совопросничество, — интервьюяхъ онъ даже часъ и другой, абы же вспотѣти намъ обоимъ, а тому интервьюйному говоренію списокъ ту есть.

И абіе на первое искусихъ азъ, окаянный, Аввакума-протопопа, тако глаголяй:

— Рцы ми, авво, како мыслещи о синодѣ російстѣмъ?

Тотъ же, склоншеся къ уху моему, провѣща, но что провѣща, о томъ, простите, отцы и братіе, умолчу недостойный, буесловія протопопляго ради, да не ѣхати ны соборне въ Череменецъ-монастырь исправленія духовнаго ради, идѣ же и Григорій-попъ исправляемъ бысть якоже три мѣсяцы.

И еже вопросихъ:

— О Петрѣ Столыпинѣ, окольничемъ, той же нынѣ ближній бояринъ слыветъ, что ми речеши?

Протопопъ же, отвѣщай, причтою искусне оградися:

— Ему же возревѣвшу, и притекають къ нему звѣріе.

И паки усугуби:

— Всѣ однако власти те кромѣ избранныхъ, да лихо су избраннымъ тѣмъ и тѣсно бываетъ отъ нихъ.

Азъ же, худоумный, недоумѣвая, пытахъ ево:

— Поелику оный Петръ, окольничій, творецъ російскаго успокоенія нарицается, рцы ми, отче, возможно ли быти сему успокоенію?

Отвѣща двоумысленно:

— Неопасивая дерзость и безчеловѣчіе всю русскую землю пусту показа и слезъ и рыданія исполнену, но, яко паучина мизгирева отъ мухи бываетъ протерзаема, таково и сіе гордоусіе.

И о Кауфманіи-нѣмчинѣ пытахъ онъ, нарочито же о Герасимовѣ, думномъ дьяцѣ, откуда бысть ему сіе, еже, отъ младости своея въ опричницѣхъ просвѣщенія отъ публики предполагаемъ бывше, нынѣ учинися со крамольники сопритченъ, Стенькѣ Разинѣ и Ивану Мазепѣ анаеемою начальственною уподобляемъ. Воструби отецъ Аввакумъ стрѣчу вопрошенію моему:

— Діаволь отъ десныхъ ссору положилъ, — въ догматахъ считалися, да и разбилися. О прочемъ, чадо, читай у Гурляндія.

О семъ же послѣднемъ, егда спросихъ, изъясни тако:

— Что же начну о страннѣмъ семъ звѣри, изшедшемъ изъ бездны отступленія? Крѣпко реветъ, ѣсть прося. Не прахъ ли былъ? Въ землѣ лежалъ, кто его зналъ? Земля ино земля! А нынѣ зѣло завонялъ на всю русскую землю.

Егда же о нѣмчинѣ Шварцѣ спросихъ, обратися противу мя со гнѣвомъ нѣкакимъ, аркучи:

— Что искушаеши? или не челъ еси повелѣнная Алексѣемъ Тишайшимъ царемъ? «А учили на Москву приходить нѣмцы и ихъ, нѣмцовъ, на воеводства бы не сажать, а писать по черной сотнѣ».

А зъ. Виттія графа Сергія мниши ли въ великихъ быти?

Пр. Аввакумъ. А, неистовства! А, безумія! Упоилъ Русь чашею вина не растворенна! Аще онъ и мягко съ тобою говоритъ, отклоняйся его, понеже ловить тебя, да наведетъ бѣду душевную и тѣлесную.

А зъ. Гурьева, наперсника его, како чтиши?

Пр. Аввакумъ. Сергіевымъ ухомъ въ житіе вниде и неизреченно задомъ изыде. Мужъ въ поученіи хитръ, обаче вѣроу непостояненъ.

А зъ. Чесо мыслиши, еже, по грѣсѣмъ нашимъ, несоглашенни суть между собою персты шуйцы російскія, елицы нынѣ партіи нарекаются?

Пр. Аввакумъ. О семъ не сомнѣвайся, но уповай. *Аще сопѣль, аще гусли разньствія писканіемъ не дадять, како будетъ разумное писканіе или гудѣніе? аще безвѣстенъ гласъ труба дастъ, кто уготовится на брань?

Азъ. О раздѣленіи союзническомъ, еже Пуришкевичъ Дубровину «дурака» рече, а Дубровинъ Пуришкевича «негодяемъ» печатне лаяй, каковая глаголеши?

Пр. Аввакумъ. Писано о сицевыхъ мною изъ темничища Пустозерскаго: «Тѣло ваше есть калъ и пепелъ и прахъ, а вы ужъ другъ друга гнушаетесь и хлѣба не ядите вмѣстѣ, глупцы, гордитесь другъ передъ другомъ, а все одинъ калъ и пепелъ».

Азъ. Восторгова Іону како разумѣть повелѣши?

Пр. Аввакумъ. Мужъ забѣглаго ума, своенравенъ и безсовѣстенъ.

Азъ. «Русскаго Знамени» и «Колокола» сладкогласіе уразумѣль ли?

Пр. Аввакумъ. И сами пѣвцы, поюще, не разумѣютъ, токмо лише омрачаютъ ся ревуци.

Азъ. Иліодора инока въ каковыхъ умозриши?

Пр. Аввакумъ. Бѣсомъ сдѣлался чернецъ,— и играетъ, ругаясь, страшнымъ и неизреченнымъ таинствомъ.

Азъ. Объ іоанитѣхъ прорцы слово къ поученію нашему.

Пр. Аввакумъ. Души единораствѣны и тѣлесовидны. Оле безстудія! оле непотребства! Въ карету сядуть, растопоршатся, что пузыри на водѣ, сѣдючи на подушцѣхъ, расчесавъ волосы, что дѣвки, да ѣдутъ, выставляя рожи на площадѣ, чтобы черницы-волухи любили.

Азъ. Розанова Василія Васильева сына пономарствія, чель ли еси?

Обаче отецъ протопопъ на сіе десною махнулъ.

Пр. Аввакумъ. Толкуютъ нѣццы пестрообразно и отнюдь неподобно, да не реку и еретическо!

А зъ. Вижду, авво, чѣто нелюбы ти мудрованія въ касего?

Пр. Аввакумъ. Ни, чадо, понеже настоящаго града не имуть, грядущаго не взыскають. Вопросы иное чѣто, поелику гребтить отъ сихъ сердце мое.

А зъ. Злая на праведная премѣнивши, — како разумѣши Григорія Спиридонова сына Петрова-попа?

Пр. Аввакумъ. Прямой былъ священникъ, не искалъ ренскихъ и романей, и водокъ, и винъ процѣженныхъ, и пива съ кардамономъ, и медовъ лимоновыхъ и вишневыхъ бѣлыхъ разныхъ крѣпкихъ. Діаволь же, не терпя добродѣтели мужа сего, паки наущаше нанъ фарисеевъ, влагая имъ ненависть велію, и распыхуся зѣло сердца своими на праведнаго и непрестанно поношаху тому, съ досадами укоряюще его.

А зъ. Такъ, отче. О судьбищѣ Стесселевъ чѣсо речеши?

Пр. Аввакумъ. Бѣдныя, бѣдныя, всѣ правы и виноватова нѣтъ, а поличное на шеѣ висить. Дѣло кругомъ пошло, другъ на друга переводятъ: а всѣ заодно своровали.

А зъ. Аграрныя реформы уповаеши ли?

Пр. Аввакумъ. Развѣ мѣшокъ да горшокъ, а третіе лапти на ногахъ.

А зъ. Плеваку знаеши ли?

Пр. Аввакумъ. Отъ чрева матери своей работаетъ сластемъ, не его дѣло то дѣло еже сѣдѣти на Моисеовѣ сѣдалищѣ.

А зъ. О займѣхъ коковцевскихъ како мыслѣши?

Пр. Аввакумъ. Не начный блаженъ, но скончавый. Не займый, но отдавый. Сребро сіе народу не въ хлѣбы, и трудъ банкирѣмъ не въ постъ.

А зъ. Истиною полна устнѣ твоя, авво. Въ ежемѣсячія російскія вниклъ ли еси?

Пр. Аввакумъ. Запустѣли обители! Которы разорены и знаку отъ нихъ не осталось, которые отданы хромцамъ на обѣ плеснѣ.

А зъ. «Россію» чель ли?

Пр. Аввакумъ. А кормятся въ писчей избушѣ площаднымъ письмомъ посадскіе оскудалые люди, а смотрѣтъ бы за площадными подьячими, чтобы кто воровски не написалъ.

А зъ. Суворинъ Алексій Сергіевъ сынъ, иже есть старчище-пилигримище вѣку сего, вѣдомъ ли ти?

Пр. Аввакумъ. Вѣдаю разумъ его, умѣетъ многими языки говорить, да што въ томъ прибыли?

А зъ. Мецѣрскаго князя Владимира княжъ Петрова сына, иже Карамзину внукъ, а мастодонтомъ и мамонтомъ пещерне современникъ и одномышленникъ сый, съ кѣими сопритеши?

Пр. Аввакумъ. Аще и столѣтенъ сый, неправедне живой, младъ есть таковой и подобенъ робяти.

А зъ. Не къ ночи будь сказано—о Меньшиковѣ Михайлѣ прорцы.

Пр. Аввакумъ. Ласкосердѣствуетъ, лѣститъ мира, показуя себе свята, а внутри діаволь. Семидневное, яко вельбудъ, избрысуетъ, аще на кого осердится, семидневную ядъ на него выблюетъ.

А зъ. Смирновой боярыни кликушества како судиши?

Пр. Аввакумъ. Во снѣ брусить, говорить суторщину, я на ея плюсканье не гляжу.

А зъ. Вѣдомо ли ти суть писателіе новаго вѣку, иже сами ся въ психоловѣхъ мнѣть, блуднаго помышленія своего ради, отъ публики же порнографи, сирѣчь блудописи, нарицаются?

Пр. Аввакумъ. Иныя рѣчи блазнено и говорить. Вся сія міра сего любителемъ смѣхъ сѣуть и игралище, и никто же ищетъ воды живыя, еже угасити пламень сатанинъ, но всякъ ищетъ смолы и изгребія и тростія сухого на горшее распаленіе.

А зъ. Отъ сипцевыхъ Кузьмина Михайлу чель ли еси?

Пр. Аввакумъ. Не зрѣть внутрь души своей наготы и срамоты, яко вмѣсто ризъ благодатныхъ скверными ризами оболченъ, и помазанъ блудною тиною, и вонюею злосмрадною повить, и бѣсъ блудной въ душѣ и на шеѣ сидитъ.

Азъ. Арцыбашевъ Михайло знаемъ ли смиренію твоему?

Пр. Аввакумъ. Каковъ самъ волосать, таковы и образы пишетъ, да въ нихъ же однако не разъ есть диаволь. Видѣхъ на брюхѣ его язву зѣло велику, исполнену гноя многа, и убоявся вострепетахъ душою своею. И паки поворотихъ онъ вверхъ спиною его, и видѣхъ спину его згнившу паче брюха, и язва больше первыя явися.

Азъ. Андрееву Леониду чѣто речеши?

Пр. Аввакумъ. Задняя забывающе, на предняя простирающесе, падаетъ, яко глина, возстаеъ, яко ангель.

Азъ. Городецкаго Сергѣя, отрока, не забуди, авво, во благомъ совѣтѣ твоємъ.

Пр. Аввакумъ. Посмотри же, любимиче, на просодіи, и на запятыхъ, и точки!

Азъ. Ремизова, прудосписателя, волхвованій и чародѣйствъ скомрашескихъ изумленъ ли еси?

Пр. Аввакумъ. Попалъ къ чертямъ въ атаманы, а нынѣ, яко кинопсъ волхвуя, уже пропадетъ скоро и память его съ шумомъ погибнетъ.

Азъ. Ѳедора-нѣмчина лже-ученицы россійстїи, иже облыжне нарекають ся нищсеане, не антихристи ли мнятыя быти?

Пр. Аввакумъ. Ни, чадо! Развѣ шиши антихристовы! *) Что-то имъ пособить другъ ихъ антихристъ, его же жадаютъ поюще?

*) Излюбленное слово Аввакумова.

А зъ. Мережковского боярина съ боярынею его Зинаидою свѣтъ Гиппіусовноу извѣстенъ ли еси благочестивствъ?

Пр. Аввакумъ. Два супруга неразпряженная, двѣ ластовицы сладкоглаголивья, двѣ маслины и два свѣщника на земли стояще!

А зъ. Буренина Виктора, во бахарствѣхъ сѣда суща, како разумѣши?

Пр. Аввакумъ. Читатель есть и грамотѣ гораздъ, а никому не укажетъ, лише смѣется, изрицая поносная ругательная, измѣтая отъ злого сокровища сердца своего злая глаголанія.

А зъ. Академіи російской казенно-безсмертные мужи поважаеши ли?

Пр. Аввакумъ. Получили старики милые дары драгія, превращаютъ сѣмо и овамо въ рукахъ своихъ, удивляются глаголяще: аще не быхомъ вѣровали, не быхомъ такового безценнаго дражайшаго бисера получихомъ. Ради бѣдненкіе старики!

А зъ. Въ Думу російскую вхождаше ли благоглѣпіе твое? Родичева Федора слыхано ли ти златоустіе?

Пр. Аввакумъ. Стреляетъ огненными словесы мѣтко: не обмешулится во пленникъ отъ, — ужъ какъ пустить слово то свое, тотъ часъ неправду ту въ еретикѣ-то заколетъ.

А зъ. Объ октябриствѣхъ како мыслеши?

Пр. Аввакумъ. Аще и живи суть, но исполу живи, дѣла мертвѣчія творять, — увязше въ совѣтахъ, яже умышляютъ нечестивіи.

А зъ. Хомяковымъ бояриномъ доволенъ ли еси?

Пр. Аввакумъ. Не отъ шуйцы явится будеть, но десными народъ прельстити покусится. На злочинномъ соборѣ ересь прія, погибельнаго Петра велѣнія соблюдая.

Азъ. Ев—іа еп—па зряще, въ коихъ мниши быти смиренію его?

Пр. Аввакумъ. Вздыхаетъ чернецъ, что долго во власти не поставятъ, а какъ докупится великія степени, вотъ ужжо и воздыхать перестанетъ.

Азъ. Аще Пихна мужа видѣста очи твоя, повѣдь ми зраковидіе мужа сего.

Пр. Аввакумъ. Рассохать и пазнокти имать, а изнутри нечистъ сый.

Азъ. Шмида, депутата отъ уголовныя тюрьмы минскія, зрѣлъ ли еси?

Пр. Аввакумъ. Ему, страднику, ни въ какой чести не бывать, и въ иншу пору хуже его никто не бывалъ.

Азъ. Щегловитова болярина трепещеши ли?

Пр. Аввакумъ. Се убо глаголю, яко пріидутъ дніе. внегда расказать челоувѣцы книги, измѣнять времена и законъ.

Азъ. О Камышанскомъ-игемонѣ прорцы.

Пр. Аввакумъ. Какая тебѣ честь, владыко, что всякому ты страшень, а другъ другу грозя говорить: знаете ли, кто онъ, звѣрь ли лютый, левъ или медвѣдь, или волкъ?

Азъ. Гер-на Сар-скаго—обличи!

Пр. Аввакумъ. По многіе дни великія бѣды бѣсы творили, являясь овогда ангелами, овогда старцами.

Азъ. Гучкова Александра Ивановича испыталъ ли еси?

Пр. Аввакумъ. О томъ глаголено: купцы твои бѣша вельможи земстіи. Тѣхъ гордоусовъ мочно вамъ разумѣть: языкомъ говорить, а дѣлы отめщется.

Такъ глаголивый, отецъ Аввакумъ, внемше звучанію часы на башни градскія, дванадесятью удара полунощъ біющи, исказися ликомъ и, бывъ унынію сопричастень, рече:

— Се убо исполнися часъ мой! Ну, старецъ, моего

вяканья много вѣть ты слышалъ! Полно! Довлѣтъ ти къ укрѣпленію.

Азъ же, худый, возразихъ тому съ моленіемъ слезнымъ:

— Авво, обожди еще мало, да, кратко вопросивъ, отпущу ты съ миромъ въ дальнія твоя. Рцы ми, високосу наченшуся, жадати намъ, грѣшнымъ, добра или лиха въ свершеніи индикта сего?

Протопопъ же, омрачившися зракомъ,—возопи противу мене гласомъ велиимъ:

— Охъ, грозы нестерпимыя, рвущія повѣствующій мой языкъ отъ гортани! увы, лютаго страха, отъемлющаго отъ ума моего память! Худы затѣи новыя и мрачны зѣло! Но о семъ наименьше.

Азъ. И еще на послѣднее рцы ми, авво, поелику, словеса твои праведныя хочу я, недостойный, предати на тисненіе курантовое, како мыслиши о житіи редакторстѣмъ, тіеже во дніе твоя справщици зовошася?

И абіе отецъ Аввакумъ, встрепетавъ, ороси ликъ свой многими слезы и, главою помавая, брадою покивая, ноздріе носа своего многократно двома персты благолѣпно сморкаяя, тако прискорбне возлепета:

— Егда во справщицѣхъ Крестовыя Палаты сѣдѣхъ, радостей не познахъ, но прииде на мя озноба зѣло люта и зубы мои разбило зъ дрожи. Отъ дрожи тоя нападе на мя мыть, и толико изнемогъ, яко отчаявшуся и жизни сея. Отъ сихъ учитеся и себѣ того же жадайте!

И, тако рекши, отыде, яко стѣнь, и не стало уже быти ему, якоже и не бывшу.

Азъ же, худый книгочей Александръ, кіантійскій счетъ уплативше, шедль въ гостиницу свою и вся реченная и бывшая списахъ моею рукою въ поученіе и укрѣпленіе человѣческое, да вѣдають словеса Аввакумовы людіе вѣка сего. Аще что речено просто и вы, чтущіи и слышащія, не позазрите просторѣчію нашему, понеже люблю свой русской природный языкъ, виршами фило-

софскими не абыкъ рѣчи красить, нѣсмь бо риторъ, ни философъ, дидаскальства и логофетства не искусенъ, простецъ человекъ и зѣло исполненъ невѣдѣнія. Того ради, еже чѣто пиша недописахъ или переписахъ, простите же меня грѣшнаго, а васъ всѣхъ Богъ простить и благословить. Аминь.

Не ври!

Жиль-быль писатель. Писалъ онъ много, вралъ—въ чистосердечіи своемъ—еще больше.

Въ одинъ прекрасный день явилась писателю Совѣсть его и сказала:

— Что ты, писатель, все врешь? Нехорошо, хоть и въ чистосердечіи, а плохо. Надо писать только правду.

Устыдился писатель и пересталъ врать, началъ писать только правду.

Генорарій за правду не весьма великъ получилъ и ко итемонамъ былъ водимъ не однажды, за то Совѣсть его была спокойна.

И писалъ правду писатель, и была спокойна его Совѣсть въ теченіе одиннадцати мѣсяцевъ и двадцати дней, съ 1-го января по 20-е декабря.

Въ двадцатый же день декабря садился писатель къ письменному столу и принимался сочинять святочные рассказы для рождественскихъ номеровъ различныхъ россійскихъ газетъ. Такъ было и 20 декабря 1907 г.

— Вотъ какъ? А гдѣ же честное слово писать только правду?—шепнула писателю Совѣсть.

Но писатель отвѣчалъ:

— Какъ будто въ святочномъ рассказѣ нельзя написать правды?

И застрочилъ. А Совѣсть сомнительно мычала:

— Посмотримъ, голубчикъ, посмотримъ.

Писатель назвалъ рассказъ свой «Рождественская Звѣзда».

— Вотъ уже и совралъ,—остановила Совѣсть.

— Какъ?

— Да такъ. Вѣдь ты же прекрасно знаешь, что никакой специальной рождественской звѣзды на небѣ нѣтъ. Хотя ты и русскій беллетристъ, но настолько-то обязанъ быть знакомымъ съ астрономіей. Не «Къ Звѣздамъ» пишешь! А если даже азы забыть, вонъ у тебя въ книжномъ шкафу стоятъ Брокгаузъ и Эфронъ. Справься — Звѣзда, Созвѣдіе, Планета... Нѣту никакой рождественской звѣзды. Не ври. Не пиши о томъ, чего не бываетъ.

Замаялся писатель.

— Видишь ли, Совѣсть, вѣдь я, собственно говоря, съ точки зрѣнія трогательнаго предразсудка...

— Опять врешь,—сказала Совѣсть.—Трогательный предразсудокъ — бессмыслица. Что-нибудь одно: либо предразсудокъ, либо трогательный. Вѣришь ты въ рождественскую звѣзду?

— Помилуй, сама же ты говоришь: противъ астрономіи.

— А если не вѣришь, какое же право имѣешь ты о ней врать? Или. какъ ты выражаешься, поддерживать трогательный предразсудокъ?

Подумалъ писатель, нашелъ, что Совѣсть права, вздохнулъ и зачеркнулъ «Рождественскую Звѣзду». А, чтобы Совѣсть снова не привязалась, схитрилъ, рѣшилъ писать безъ заглавія—дескать, потомъ придумаю.

И вотъ—сидитъ онъ и строчитъ:

«Въ 753 году отъ основанія города Рима»...

— Не ври!—сказала Совѣсть.

— Ну, матушка, нельзя же такъ придиратся. Это ужъ всему міру извѣстно, что Римъ основанъ за 753 года до Рождества Христова. Хоть по Иловайскому справься.

— По Иловайскому? Неужели ты для того учился въ университетѣ, совершенствовался при каеэдрахъ Моммзена и Германа Шиллера, чтобы, въ концѣ концовъ, писать рассказы по датамъ хронологіи Иловайскаго? Вѣдь ты отлично знаешь, что этотъ 753-й годъ придуманъ въ VI вѣкѣ. Затѣмъ же ты врешь. Опять для трогательнаго предразсудка?

— Ну, хорошо, — съ досадой отозвался писатель, — такъ и быть, можно обойтись и безъ даты... Въ правленіе Августа Кесаря...

— Да ты увѣренъ? — сказала Совѣсть

— М-м-м... Конечно нѣтъ... По талмуду, напримѣръ, оно выходитъ лѣтъ за шестьдесятъ раньше и даже болѣе того... Кто можетъ сказать навѣрное?

— А на какомъ же основаніи ты хочешь вбивать въ мозги человѣческіе то, въ чемъ ты самъ не увѣренъ? Не ври. Если человѣкъ внушаетъ людямъ то, чего онъ самъ не знаетъ и во что онъ самъ не вѣритъ, онъ лжетъ и лжетъ очень скверно. Перестань. Не моги.

— Но воображать-то мнѣ разрѣшается же! — разсердился писатель.

— Да. Въ предѣлахъ твоей собственной вѣры, — холодно возразила Совѣсть.

— То есть?

— Постольку, поскольку ты вѣришь въ реальную возможность того, что ты воображаешь. Дальше — ложь.

— Гмъ... — задумался писатель и устремилъ взглядъ свой на книжный шкафъ. Изъ-за стеколъ сіяли золотыми буквами корешки: Вольтеръ, Штраусъ, Бауръ, Бруно Бауэръ, Реуссъ... Со стѣны насмѣшливо улыбался портретъ Ренана и, казалось, говорилъ писателю:

— А рассказецъ вашъ прочитать мнѣ будетъ очень любопытно! Такъ въ 753 году отъ основанія Рима? Скажите, пожалуйста, какъ вамъ все это точно извѣстно! Очень

пріятно слышать! Дѣлаетъ вамъ честь, а читателямъ удовольствіе.

Писатель, въ раздумьи, зачеркнулъ строку о 753-мъ годѣ толстою-претолстою чертою. Взамѣнъ написалъ:

— Исполнились седмицы, реченныя Данииломъ...

— Не ври!—пискнула заметавшаяся Совѣсть.—Сдѣлай ты мнѣ такое одолженіе... оставь ты исторію въ покоѣ!.. И языкъ этотъ высокаторжественный, протяженно-сложенный... Зачѣмъ? Вѣдь не вѣришь?

— Не вѣрю.

— А врешь!...

— Хорошо,—успоился писатель.—Ты права. Въ самомъ дѣлѣ, обойдемся безъ исторической легенды. Оно и въ цензурномъ отношеніи легче. Лучше возьмемъ современную бытовую обстановку и, примѣнительно къ Рождеству, освѣтимъ ее лучомъ высокой нравственной идеи.

— Охъ!...—крикнула Совѣсть.

— Нечего охать, огрызнулся писатель.—Самъ Диккенсъ такъ писалъ.

— Да ты развѣ Диккенсъ?—спросила Совѣсть.

— Нѣтъ, конечно, я не Диккенсъ, но...

— А ежели ты не Диккенсъ, то нечего тебѣ и оправдываться Диккенсомъ. Диккенсъ—Диккенсъ, а ты—ты. Диккенсъ-то, можетъ быть, и не вралъ, когда сочинялъ святочные рассказы, а ты, душенька, непременно соврешь, не въ состояніи не соврать. Потому что Диккенсъ въ могущество святокъ вѣрилъ, а ты не вѣришь. Да ужъ если всю полную правду до конца говорить, то вѣдь и за Диккенсомъ-то сколько разъ ты зѣвалъ и думалъ про себя: этакая фальшивая, сантиментальная небылица въ лицахъ!

— Нѣтъ, отчего же, я тоже вѣрю... — барахтался писатель.—Бываютъ моменты, когда пережитки... дѣтскія воспоминанія... сапоги въ смятку... котъ безъ хвоста...

Трогательно!.. Дядя Скруджъ, напримѣръ... Я понимаю! Семьдесятъ пять лѣтъ прожилъ безжалостнымъ ростовщикомъ и скрягою, а на семьдесятъ шестое Рождество расчувствовался и бѣдной сосѣдкѣ жаренаго гуся купилъ... Мнѣ это нравится, я понимаю.

Совѣсть возразила:

— А вотъ мнѣ такъ, наоборотъ, совсѣмъ не нравятся всѣ эти исправленія скрягъ, убійцъ, мошенниковъ, жестокихъ отцовъ, невѣрныхъ супруговъ, свирѣпыхъ хозяевъ, пьяныхъ расточителей, падшихъ дѣвицъ, блудныхъ сыновей, деспотовъ-начальниковъ и прочей и прочей чеповѣческой дряни, якобы совершающіяся по сигналу рождественскаго колокола.

— Но почему же, Совѣсть?

— Да потому, что—какое же это, ангелъ мой, выходитъ торжество добродѣтели, ежели она способна торжествовать только разъ въ году на двадцать минутъ, да и то, чтобы пробудить ее, надо, что есть мочи, звонить въ колокола? Не ври, не бываетъ этого, все выдумка,— не ври!

— Нѣтъ, Совѣсть, ты не скажи... Ежели, напримѣръ, такъ... Н-да-съ... Скажемъ, на Рождество черносотенный шефъ этакій, Коновницынъ или Крушеванъ какой-нибудь, что ли, организовалъ погромъ... н-да-съ... Что же ты молчишь?

— Когда ты говоришь возможное, вѣроятное и въ порядкѣ вещей, я не спорю.

— Н-да-съ... И вотъ Коновницынъ или Крушеванъ этотъ, въ сочельникъ, стало быть, ходить, по кабинету своему и потираетъ руки, въ радостномъ предчувствіи, какъ это онъ завтра... понимаешь?

— Понимаю. Н-ну?

— И вдругъ.. н-да-съ... вдругъ, того.. ударъ рождественскаго колокола... Ну, и—умиленіе... И мысль о новорожденномъ Исусѣ... Вспоминаетъ, что Онъ былъ—

маленькое еврейское дитя... Соображаетъ: «А завтра-то что будетъ съ маленькими еврейскими дѣтьми?». Переносится мыслю за девятнадцать вѣковъ назадъ, когда Иродъ въ Виелеемѣ избивалъ младенцевъ...

— Но вѣдь мы, кажется, условились не касаться историческихъ легендъ?

— Погоди! отстань!... не права!—отмахнулся отъ Совѣсти писатель.—Я теперь не отъ себя говорю, воображаю Крушевана или Коновницына. Они-то ужъ все-конечно вѣрятъ въ виелеемское избіеніе младенцевъ, потому что въ этой легендѣ—весь ихъ политическій идеаль... Н-да-съ... Такъ, вотъ, значить—колоколь, виелеемскія мысли, Иисусъ, какъ маленькое еврейское дитя... Коновницынъ потрясенъ! Раскаяніе, слезы... Ну, и... того... телефонируетъ союзникамъ и разнымъ тамъ хулиганскимъ организаціямъ, что погромъ отмѣняютъ...

Совѣсть даже свистнула.

— Держи карманъ шире!.. Это Коновницынъ-то или Крушеванъ погромъ отмѣнять? Какъ ты врешь! О, какъ ты нагло, какъ невѣроятно, невозможно врешь!.. Я, братъ, на этотъ счетъ такъ думаю, что если виелеемское избіеніе младенцевъ не достигло своей Иродовой цѣли, то именно лишь потому, что гг. Коновницынъ, Крушеванъ и Дубровинъ не приглашены были принять въ немъ участіе. Эти и на пути въ Египетъ успѣли бы догнать и распорядиться... Крушеванъ пожалѣетъ маленькихъ еврейскихъ дѣтей за то, что Иисусъ былъ маленькое еврейское дитя! Напротивъ, скорѣе онъ Иисуса не пожалѣетъ именно за то, что Иисусъ былъ еврейское дитя... Ты, душечка, черносотенной печати не читаешь, въ Почаевской лаврѣ не былъ, Иліодора не слушивалъ, Шмакова позабылъ, Меньшиковымъ давно не упивался!

— Слушай,—возразилъ сконфуженный писатель,—ну, оставимъ это... Богъ съ нимъ, съ маленькимъ еврей-

скимъ дитятей. Пусть будетъ лучше такъ. Въ деревню вызванъ карательный отрядъ.

— Такъ.

— И командуетъ имъ Пуришкевичъ.

— Да вѣдь онъ не военный?

— Это ничего. Навѣрное, желалъ бы быть военнымъ, — специально для карательныхъ экспедицій.

— Ну-ну?

— И вдругъ въ деревнѣ оказывается случайно лѣсничій или таксаторъ... не помню уже, кто бишь онъ былъ-то... ну, тотъ, который въ аккерманской земской управѣ рукой, легкою, какъ сонъ, ланить г. Пуришкевича коснулся. Вѣдь можетъ произойти такая встрѣча? а?

— Если въ Бессарабской губерніи, почему же нѣтъ?

— Да. Пуришкевичъ, конечно, обрадовался и сейчасъ же землемѣра этого или доктора — въ нагайки!

— Въ нагайки! — согласилась Совѣсть.

— Ну-съ, жарять лѣсника или техника нагайками, и вдругъ...

— Рождественскій колоколъ?

— Рождественскій колоколъ. Пуришкевичъ трепещетъ. — Какъ! — думаетъ онъ, — родился на свѣтъ Тотъ, Кто заповѣдалъ — если ударять тебя въ лѣвую ланиту, подставь правую, а я запорю челоуѣка, который... Довольно!.. И приказываетъ опустить нагайки, а землемѣру — надѣть штаны и убираться вонъ... «Вы свободны. Надѣюсь, впередъ мы встрѣтимся не иначе, какъ друзьями».

Совѣсть размышляла.

— А до колокола-то много успѣлъ онъ всыпать землемѣру?

— Ну, гдѣ же много... Много — нельзя. Если много всыпать, землемѣръ чувства потеряетъ и штановъ не сможетъ надѣть....

— Въ такомъ случаѣ, все — къ чорту! — рѣшительно

сказала Совѣсть.— Не вѣрю я, чтобы Пуришкевичъ, начавъ драть человѣка, остановился, покуда сѣкомый еще въ состояніи самъ надѣть штаны. И никакой тутъ рождественскій колоколъ не поможетъ. Ты такъ напиши: задралъ до полусмерти и, едва живого, на языкъ рождественскаго колокола повѣсилъ... вотъ это будетъ похоже на дѣло.

— Да... Но гдѣ же мораль?

— Какъ — гдѣ? Не встрѣчайся съ Пуришкевичемъ и ему подобными даже въ канунъ Рождества. Мораль ясная. Какой еще надо?

— Непензурно... Съ привидѣніями, что ли, махнуть что-нибудь? — пробормоталъ писатель.

— Милый мой, да вѣдь и тутъ, если писать по правдѣ, опять-таки не уйдешь дальше Крушевана и его покойниковъ-избирателей. А безъ правды — оставь: тысячами сейчасъ рассказы-то эти сочиняются къ Рождеству... Да и какія теперь привидѣнія? О революціонныхъ привидѣніяхъ «фантастическую правду» напишешь — рассказъ конфискують, издателя оштрафуютъ, а тебя подъ судъ отдадутъ. А остальные привидѣнія — ну, ихъ! — по декадентскому департаменту.

— Бѣса побезпокоить?

— Предоставь это г. Ремизову. «Бѣсовскія дѣйства» — его монополія и специальность. Къ чертямъ, братъ, такъ сразу, безъ подготовки, нельзя. До чертей дойти надо! Это, своего рода, ученая степень.

— Ну, такъ провались вся фантастика! Просто, напишу идиллію, какъ дѣточки рѣзвятся подъ елкою...

— Великолѣпно! — поддакнула Совѣсть съ ядовитѣйшею ироніей. — И знаешь, что? Мѣстомъ дѣйствія избери городъ Орелъ. Тамъ вонъ, — газеты пишутъ, — завелись между дѣтьми — «огарки». Не только въ праздничные дни, а и въ будни-то все подъ елкою сидятъ, и даже самое заведеніе это «подъ елкою», для удобства

огарческаго юношества, рядомъ съ гимназіей устроено...

— Тыфу ты пропасть!—инда плюнулъ писатель.— Вотъ не везетъ въ этомъ году! Въ какой чистый уголъ жизни ни загляни,—милая обывательщина всюду понапакостила!

— Плюйся, не плюйся, а прелестями дѣтской елки умиляться тебѣ наивно и позднеенько... *Vorbei sind Kinderspiele und alles rollt vorbei!*

— Врешь, Совѣсть, есть еще дѣти на свѣтѣ!

— Напримѣръ, въ «Пробужденіи Весны»,—буркнула Совѣсть.—Мельхиоръ, Морицъ, Вендла, Эльза... Хороши будутъ около елки-то. Одинъ, того гляди, застрѣлится, другая, того гляди, родить...

— Если—о проституткахъ чувствительное что-нибудь?—тоскливо метался писатель.

— Да вѣдь ты о проституткахъ въ прошломъ году къ Рождеству писалъ?

— Писать-то писалъ.

— Что же? Лучше отъ твоего чувствительнаго писанія проституткамъ стало?

— М-м-м...

— То-то, не ври!—внушительно предупредила Совѣсть.

— Видишь ли, Совѣсть,—заговорилъ писатель,—ты ужъ слишкомъ придираешься... Мало ли какого обуха плетью не перешибешь, но хлестать по обуху, все-таки надо...

— Хлещи,—вяло сказала Совѣсть,—законами не воспрещается... Только не воображай, пожалуйста, будто дѣло дѣлаешь и пользу приносишь... Это, братъ, все—въ родѣ, какъ о Костюшкиной матери въ пѣснѣ поется,—что «умереть не умерла, только время провела». Обухи требуютъ пилы либо топора, а плетью они только полируются. Хлещи, ужъ если очень приспичило, но лучше—оставь. Потому что не всѣмъ это нравится, чтобы Костюшкина

мать только время проводила, и многіе теперь такъ стали говорить, что канителиться-то нечего, но—либо ты выздоравливай, либо помирай. Слыхала я: намедни въ андреевской «Тъмѣ» одна проститутка чувствительному разговорщику-то въ фізіономію плюнула... Что хорошаго?.. И еще «писателемъ» этого самого разговорщика обозвала—для большей язвительности. Видишь, какъ непріятно. То-то, братъ, лучше не ври!

— Какъ все было проще въ старину! — вздохнулъ писатель.—Подумать только, что двадцать лѣтъ назадъ я самымъ спокойнымъ образомъ писалъ къ Рождеству «Елку у волковъ», и—ничего, на глазахъ слеза дрожала... ты молчала... публикѣ нравилось... критика одобряла, что я хорошо понималъ звѣриную психологію...

— Да,—подхватила Совѣсть,—а вонъ теперь А. И. Купринъ вздумалъ было въ «Изумрудѣ» заняться лошадиною психологіей, такъ влетаетъ ему, бѣдному, отъ критиковъ-то по первое число. Есть намъ время, говорить, тревожиться тревоженіями четвероногихъ скотовъ, когда отъ двуногихъ кругомъ—съ ума сойти можно... Достоевскіе-то, говорятъ, для людей нужны, а для лошади довольно и ветеринара.

— Однако, и Леонидъ Андреевъ въ «Проклятіи звѣря» тоже больше по части моржа проходитъ.

— У него это отъ большой усталости. Записался. Нельзя же работать, какъ паровая машина. Лучше бы отдохнулъ. А ужъ если его морскія животныя очень интересуютъ, такъ котиковымъ промысломъ занялся бы, что ли, покуда что. Говорятъ, еще доходнѣе беллетристики.

— Да, да...—задумчиво говорилъ писатель,—а между тѣмъ какъ было удобно... Знаешь, есть такая католическая легенда, будто въ ночь подъ Рождество животныя получаютъ даръ слова... Красиво!.. Быкъ мычитъ о поклоненіи пастырей и пришествіи волхвовъ, оселъ рассказываетъ, какъ онъ везъ на хребтѣ своемъ

младенца Христа и Мадонну въ Египеть, а пѣтухъ заливается: «Слава въ вышнихъ Богу и на землѣ миръ, и въ человѣцѣхъ благоволеніе!».

— Пѣтуху можно, а тебѣ нельзя,—воспротивилась Совѣсть.

— Ужъ и пѣтушиной-то привилегіи дать мнѣ не хочешь?

— Нельзя. Потому что вонъ—Василій Ивановичъ Немировичъ - Данченко уже отправился осматривать театры будущей войны на Тихомъ океанѣ: какой же, слѣдовательно, на землѣ миръ? Только и ждутъ народы случая, чтобы подраться въ свое скверное удовольствіе. А что касается благоволенія въ человѣкахъ, читай, другъ любезный, въ челѣ газетъ твоихъ, событія дня. Въ Варшавѣ повѣшено столько-то, въ Москвѣ столько-то, въ Кіевѣ столько-то. Не очень-то оно выходитъ—благоволеніе, ежели веревкою за шею.

— Ну, не все же вѣшаютъ!

— Это правда!—согласилась Совѣсть,—иногда разстрѣливаютъ.

— Стой!—воскликнулъ писатель.—Нашелъ! Тутъ уже не къ чему придраться. И правда будетъ, и реализмъ, и идея, и трогательной слезы пушу, сколько требуется,—словомъ, эврика!.. плакать люди будутъ!.. Гдѣ перомое?.. «Сочельникъ въ тайгѣ. Изъ воспоминаній политическаго ссыльнаго».

— Ты за перо, а я за шапку,—сказала Совѣсть.—Прощай, братъ.

— Позволь! Постой! Куда же ты? Безъ тебя неудобно.

— Если ты ужъ даже этакія подоплечныя конфессіи собираешься на базаръ тащить, стало быть, нѣтъ у тебя ничего завѣтнаго. Нечего мнѣ и оставаться съ тобою.

— Послушай, но вѣдь я же... въ самомъ благородномъ смыслѣ! И почему ты воображаешь, будто я собираюсь рассказать что-нибудь личное? Ты же позво-

ляешь воображать въ предѣлахъ вѣроятности,—я воображу. Ну, тамъ, дѣвушку туберкулезную въ юртѣ... Или— «Онъ ушелъ»: пурга... побѣгъ... десять тысячъ верстъ впереди... волки...

— Ныть намѣрень?

— Не веселиться же!.. А развѣ нельзя?

— Не то, что нельзя, а—ни къ чему. Пора перестать. Ныть то, братъ, не хитро: и комаръ умѣть.

— Ну, знаю! знаю! Можешь не продолжать!

Писатель досадливо замахалъ руками.

— Начались попреки нытьемъ—дальше, значить, запоешь: «Безумство храбрыхъ есть мудрость жизни»... Тоже—по расписанію. Слыхалъ! Привыкъ! Новенькое что-нибудь скажи!

— Нѣтъ, я въ этомъ пунктѣ консервативна. Лучше не скажешь.

— Да—ежели «не проходитъ» это? Ну, понимаешь всѣ мои симпатіи... всѣ мои сочувствія... всѣ мои же, ланія... но... но—не проходитъ!

— Не проходитъ, а ты—проведи!

— Какая ты странная! Развѣ я виновата? Просто нѣтъ у насъ чего-то такого, чтобы «проходило»... вотъ—нѣтъ и нѣтъ!

— Да, на нѣтъ, говорятъ, и суда нѣтъ... Поной ужъ, поной, горемыка!

— Ты все издѣваешься!

— Ничуть. Надо же Костюшкиной матери какъ-нибудь время проводить, дабы не замѣчать въ себѣ пренія живота со смертию... Только та бѣда, голубчикъ, что, если ты желаешь быть услышанъ, то даже и ныть-то сейчасъ нужно—ой-ой-ой, какъ громко! Тоже почти до безумства храбрыхъ. Ибо уши-то у русскихъ людей нытьемъ-вытьемъ обмозолило—не то, что изъ каждой книги, черными литерами, стоны несутся, а въ каждой семьѣ ими живыя груди надрываются... Море слезъ

наплакано, море крови налито, режутъ моря-то эти и къ небу вопіють... Перекричишь ли бурунъ-то ихній?.. Смотри, не вышло бы, что кишка тонка.

— Я, Совѣсть, отказываюсь тебя понимать, — ска- залъ писатель по довольно долгомъ и сердитомъ мол- чаніи. — Въ легенду ты не вѣришь, съ исторіей споришь, надъ моральной дидактикой насмѣхаешься, декадентскую фантастику отрицаешь, до чертей не допилась, идилліи не хочешь, съ моржовымъ натурализмомъ несогласна, въ мирныхъ перспективахъ сомнѣваешься, человѣколюбіе измѣряешь статистикою тюрьмы и казней, ударъ по струнамъ гражданской скорби считаешь чуть ли не бросаньемъ въ воду камешковъ безъ наблюденія за кругами, симъ образуемыми, то есть бесполезною заба- вой... Ты стала просто нигилистка какая-то! Направо ли, налѣво ли, въ серединѣ ли, — все не по тебѣ! все нехорошо!

— Хорошаго не вижу, оттого и не хорошо! — пробурчала Совѣсть.

— Съ такимъ отрицательнымъ міровоззрѣніемъ не слѣдовало и браться — святочные рассказы писать!

— Милый мой, да я и не бралась... что ты! Это ты взялся, а у меня въ мысляхъ не было!

— Я?.. — сконфузился писатель, — я... я... Ну, ко- нечно, я. Развѣ я спорю? Но твое дѣло было — помѣ- шать мнѣ, удержать меня...

Совѣсть вздохнула.

— Такъ-то оно такъ, да жалостлива я баба, жаль мнѣ тебя, постылаго, стало...

— Меня?

— Конечно. Человѣкъ ты семейный, дѣтный. Тоже къ празднику надо, поди, окорочекъ запечь, телятинки купить, ребятишкамъ игрушки подарить, прислугу сверхъ жалованья наградить... какъ же тебѣ обернуться-то безъ

святочного разсказа? Не слѣдовало бы, да ужъ нечего дѣлать—пиши!

Писатель даже поблѣднѣлъ.

— Стало быть... экономическій императивъ?

— Экономическій императивъ.

— И—кромѣ—никакой надобности?

— Ни малѣйшей.

Писатель долго молчалъ. Потомъ гордо поднялъ голову.

— Если такъ, то—быть по твоему! Не хочу писать святочного разсказа подъ палкою экономического императива! Вопреки твоему разрѣшенію, на зло окороку, телятинѣ, пусть дѣти безъ игрушекъ ревмя ревутъ, пусть прислуга дуется, грубитъ и разсчета просить,— не хочу... Довольно! Къ чорту перо и бумагу... Не хочу и не напишу!

Онъ смотрѣлъ козыремъ и былъ увѣренъ, что теперь Совѣсть непременно его похвалитъ. Но, къ изумленію, она опять лишь холодно усмѣхнулась:

— Не ври.

— Совѣсть! это, наконецъ, безсовѣстно!

— Не ври.

— Не напишу, клянусь тебѣ своею головою! Не напишу, не напишу и не напишу!

— Не ври,—въ третій разъ сказала Совѣсть и, улыбаясь, dokonчила:

— Ну, какъ же ты, чудакъ этакій, не напишешь, когда ты уже написалъ?

Веселые Черепа.

О, посмотрите на черепа!
Вы—молодой человекъ, вамъ
надо повеселиться! Пожалуй-
ста,—о, посмотрите на черепа!

Вопль пономаря у Джерома
К. Джерома.

Посѣтилъ меня молодой русскій врачъ, практикую-
щій на итальянской Ривьерѣ.

— Вы, кажется, получаете много новинокъ теку-
щей русской беллетристики? Не согласитесь ли вы снаб-
жать книгами одного моего больного въ Нерви? Даю
вамъ слово, что не туберкулезный. У него порокъ
сердца. Сейчас онъ переживаетъ осложненіе, изъ ко-
торого выберется ли, нѣтъ ли, бабушка на двое гово-
рила. Настроеніе—самое подавленное. И мы совершенно
безсильны развлечь его, потому что онъ привыкъ жить
исключительно умственной работою и безъ книгъ увя-
даетъ, какъ цвѣтокъ безъ воды. Это...

Врачъ назвалъ имя, не разъ появлявшееся въ огла-
вленіяхъ русскихъ толстыхъ журналовъ.

— Сколько помнится,—спросилъ я,—труды его бы-
ли по философіи пессимизма.

— Совершенно вѣрно,—сказалъ врачъ. Но, въ на-
стоящемъ своемъ положеніи, онъ этихъ своихъ Шопен-
гауэровъ и Гартмановъ не долженъ даже и нюхать. Я
взялъ съ него слово не читать ничего, кромѣ изящной
литературы. Такъ вотъ, если вы...

— Сдѣлайте одолженіе. Вотъ — послѣдній присылъ моего поставщика. Книги еще даже не разрѣзаны. Пусть вашъ горемыка позабавится и отдохнетъ.

* * *

Такъ я хотѣлъ быть добрымъ.

И такъ я сдѣлался — убійцею!

Потому что больной, котораго я снабжалъ шедеврами новѣйшей русской беллетристики, скончался вчера отъ сердечнаго припадка, при обстоятельствахъ, для меня страшно подозрительныхъ и непріятныхъ. Правда, врачъ старается успокоить мою смущенную совѣсть, но въ глазахъ его я не вижу искренней увѣренности, а въ голосѣ звучать ноты, похожія на крикъ Ивикова журавля.

Однимъ утѣшаюсь: между мною и покойнымъ не было вражды ни личной, ни литературной. Такъ что, если я даже, въ самомъ дѣлѣ, умертвилъ его, то безъ предвзятаго намѣренія и корыстной цѣли.

Врачъ передалъ мнѣ записки, которыя покойный велъ въ послѣдніе дни жизни. Эти кроткія, мягкія строки ужасны для моей преступной совѣсти, но я не въ правѣ скрыть ихъ отъ публики. Да научатся изъ нихъ всѣ, что значитъ развлекать новою русскою беллетристикою больного, страдающаго порокомъ сердца.

* * *

ДНЕВНИКЪ.

«Я тяжело боленъ. Мысли невольно обращаются къ могилѣ. Врачи запретили мнѣ мою постоянную работу, такъ какъ она содѣйствуетъ моему удрученному настроенію. Она, дѣйствительно, не изъ веселыхъ. Переводчикъ Гартмана и Шопенгауэра, я давно уже пишу диссертацию «О тщетѣ всего земного, при нендобности всего

небеснаго». Велятъ развлекаться. Но я слишкомъ привыкъ читать. Отсутствіе чтенія отравляетъ организмъ мой ядовитѣе всякой тщеты и ненадобности. Приходится обманывать механическую привычку къ книгѣ суррогатами. Поэтому чтеніе мнѣ разрѣшено, но—лишь такъ называемое легкое, т. е. исключительно беллетристика.

* * *

Читалъ въ «Новомъ Словѣ» «Проблески утра», драматическую поэмѹ г. Н. Крашенинникова. Дѣйствующихъ лицъ восемь. Изъ нихъ семь сумасшедшихъ, а восьмая горничная. У одного нѣтъ руки. Бесѣдуютъ исключительно о покойникахъ и японской войнѣ. Кажется, я уже читалъ что-то подобное подъ заглавіемъ «Красный смѣхъ»? Кто галлюцинируетъ, кто самъ — какъ галлюцинація. Двое отравились, одинъ умеръ отъ разрыва сердца.

Тотъ, который безъ руки,—офицеръ—сладкій-сладкій, какъ пряникъ. Я даже думаю, что и руку онъ не на войнѣ потерялъ, а крысы отъѣли: была медовая или сахарная. Говорить все о высокомъ и прекрасномъ, оптимистъ такой, Богъ съ нимъ. Обращается къ дамамъ не иначе, какъ съ градомъ чувствительныхъ эпитетовъ:

— Милая, рѣдкая женщина! Славная моя барышня! Нервная моя дѣвушка! Милая! Чудесная! Безконечно хорошая!

Не человѣкъ, а пирогъ съ прилагательными.

Мнѣ этотъ офицеръ подозрителенъ. Какъ будто я уже встрѣчался съ нимъ когда-то у Ант. П. Чехова? Но въ то время его звали Вершининымъ, и онъ былъ уже полковникъ. А сейчасъ онъ Сокольскій и только капитанъ. Разжалованъ, что ли?

Тѣмъ не менѣе, очень пріятное сочиненіе. Подѣйствовало на меня весьма успокоительно. Особенно смерть старика отъ разрыва сердца. Докторъ, вечеромъ, выслушивая меня, нашелъ значительное ухужденіе сердечнаго

перебоя. Велѣлъ принять двойную дозу дигитались. Духо́мъ я очень бодрѣ. Черныхъ мыслей нѣтъ и въ поминѣ. Не забыть бы справиться завтра у доктора, какъ здѣсь совершаются духовныя завѣщанія? Достаточно явки у нотаріуса или нужно еще консульское засвидѣтельствова́ніе?

* * *

Читалъ пьесу г. Сергѣева-Ценскаго «Смерть». Спасибо автору: не пожалѣлъ—досталось ей, курносой!

Герой боленъ порокомъ сердца. Вотъ какъ я. Только я тихій, а онъ ужасная дрянь, злючка, эгоистиска, скрипучее дерево. И что же? При всемъ томъ пережилъ всѣхъ дѣйствующихъ лицъ. А между ними были, право же, очень порядочные люди. Перескрипѣлъ даже свою девяностолѣтнюю бабушку и двухъ ея таковыхъ же котовъ. Всѣмъ надоѣлъ, всѣхъ измучилъ, ажъ кухарка душить его собралась. Онъ кухарки очень испугался, но помереть, все-таки, не померъ. Сблагородили же помереть только тогда, когда пришла пора кончать пьесу. А то жилъ бы и по-сейчасъ. Утѣшительно видѣть столь почтенное долготѣіе въ субъектѣ, страдающемъ одною съ тобою болѣзнью.

Очень доволенъ, что познакомился съ умнымъ и пріятнымъ произведеніемъ г. Сергѣева-Ценскаго. Прочиталъ его залпомъ, всего лишь съ тремя антрактами для обморковъ и двумя для сердечныхъ припадковъ. И откуда они у меня взялись? Уже мѣсяца два не повторялись. А тутъ—какъ у Кирилла сердечный припадокъ, такъ и у меня. Кириллъ—въ обморокъ, и я за нимъ тоже.

Особенно нравится мнѣ въ пьесѣ г. Сергѣева-Ценскаго, что авторъ достигаетъ цѣлей своихъ не только грубыми словами, но и нѣжными звуками. Такъ, въ концѣ перваго акта, послѣ того, какъ дѣйствующія лица проговорили о смерти 42 страницы, на сцену является

военная музыка и, для разнообразія, играет похоронный маршъ. Въ концѣ второго акта, послѣ того, какъ о смерти наговорено еще 35 страницъ, новое разнообразіе: приходятъ пѣвчіе и поютъ погребальное «Святый Боже». Въ третьемъ актѣ—Лидя потонула. Къ концу четвертаго—Алекъ сторѣлъ. Въ пятомъ—бабушка померла и коты подошли. Кириллъ же изъясняетъ намѣреніе лежать еще годъ въ водянкѣ. Однако, авторъ не позволилъ. И правъ: не шестой же актъ писать для этого Коцея Безсмертнаго! Пьеса кончается рѣзко и весело, оживленнымъ смѣхомъ. Какая-то дѣвица Галя прыгаетъ надъ трупомъ Кирилла и кричитъ:

— Надъ смертью смѣяться нужно! Смѣяться нужно! Ха-ха-ха! Цвѣтами ее! Цвѣтами!

Очень утѣшительная дѣвица. И ее, какъ будто, я встрѣчаю уже не въ первый разъ. Помнится, когда одинъ норвежскій архитекторъ, по имени Сольнесъ, свалился съ башни, то подобная же дѣвица прыгала, размахивала шалью и кричала:

— Да здравствуетъ мой строитель!

Впрочемъ, ту, кажется, звали Гильдою, а не Галею.

Ободрительная Галя вызвала во мнѣ такой подъемъ духа, настолько къ жизни обратила мои просвѣтленныя мысли, что я немедленно отправился въ бюро похоронныхъ процессій—узнать цѣны могилкохъ на мѣстномъ кладбищѣ. Дорого. Къ первому разряду приступа нѣтъ. Пожалуй, выгоднѣе похорониться въ Генуѣ, на Стальено. Разрядовъ больше и видъ очень хорошъ.

Странно, что у меня прежде не было стремленій къ подобнымъ развѣдкамъ, и я совсѣмъ не собирался приобрѣтать территорію подъ свое собственное упокоеніе. Докторъ увѣряетъ, будто моя «мнительность»—отрыжка прежнихъ занятій моихъ Гартманомъ и Шопенгауэромъ, и совѣтуетъ, въ противовѣсъ, еще крѣпче налечь на русскихъ беллетристовъ. Хорошо. Налечь, такъ налечь.

* * *

Читалъ въ «Шиповникѣ» «Астму» г. Бунина. Какъ жизнерадостный, хотя и астматичный, землемѣръ испугался бѣлой лошади и оттого померъ, а лавочникъ пришелъ къ вдовѣ его и расшаркался:

— Имѣю честь поздравить съ новопреставленнымъ.

Ужасно смѣшно. Я такъ много смѣялся, что потомъ даже плакать началъ. Истерика... «Имѣю честь поздравить съ новопреставленнымъ»! Вотъ дуракъ!

Сердцебіеніе г. Бунинымъ съ большимъ знаніемъ дѣла описано. Очень похоже. Совсѣмъ такое, какъ у меня сегодня.

Замѣчательно, какъ развлекаетъ меня русская беллетристика! Даже самъ удивляюсь своему праздничному настроенію. Въ душѣ—точно родительская суббота. Мысли тихія, ясныя. Говорить хочется только объ идиллическомъ. Сегодня, напримѣръ, на маринѣ битыхъ два часа бесѣдовалъ съ какимъ-то компатріотомъ о превосходствѣ кремациі труповъ надъ зарываніемъ въ землю.

Въ сумерки вышелъ было погулять, — но, словно нарочно: что ни экипажъ навстрѣчу, то бѣлая лошадь. Конечно, пустяки, но послѣ «Астмы» г. Бунина какъ-то грустно... Раздумался о катафалкѣ...

Ночь провелъ въ бессонницѣ. Лежалъ впотьмахъ и думалъ:

— Вотъ я все читаю, читаю. А кто надо мною будетъ псалтырь читать? Русскаго дьячка здѣсь нѣту.

Заснувъ, видѣлъ во снѣ г. Бунина. Будто пришелъ, рекомендовался и отсальютовалъ:

— Имѣю честь васъ поздравить — новопреставленнымъ!

Конечно, припадокъ. Такого еще и не бывало. Думалъ, что конецъ!..

Да... бѣлая лошадь, бѣлая лошадь... Въ катафалки.

впрочемъ, болѣе принято запрягать черныхъ, либо «пару гнѣдыхъ».

* *

Читаль пьесу «Кольца». На обложкѣ обозначено: напечатано въ количествѣ 600 нумерованныхъ экземпляровъ, постороннимъ для прочтенія просить не давать. Стало быть, изъ 150.000.000 русскаго населенія только на вкусъ 600 человекъ надѣются, что достойны прочитатъ. Мой номеръ 476-й. Лестно.

Очень хорошее сочиненіе. Жаль, что не совсѣмъ понятно, хотя пьесѣ предпослано предисловіе г. Вячеслава Иванова. А, можетъ быть, именно потому и непонятно?

Любви, любви!... Онѣ въ него, онѣ въ нихъ, брать въ сестру, сестра въ брата, свекоръ въ неvěстку, неvěстка въ деверя,—и всѣ стенаютъ и капляють. И плюютъ. Покашляють, поплюютъ—и залюбятъ, зацѣлуются. Полюбятъ, поцѣлуются—и закашляють, заплюютъ. Дѣдъ велитъ плюнуть бабѣ, а баба — внучкѣ, а внучка сучкѣ. Впрочемъ, это, кажется, изъ другой сказки. Одинъ страдалецъ только затѣмъ и въ себя-то приходитъ время отъ времени, чтобы «сдѣлать сестрѣ своей новую жизнь». Уставъ отъ обмѣновъ любви, всѣ эти господа поплыли на какомъ-то кораблѣ въ какую-то страну, гдѣ у нихъ, будто бы, «міръ по новому встанетъ». Болѣе самонадѣянно, чѣмъ вѣроятно. Впрочемъ, гидротерапія теперь чѹдеса дѣлаетъ. На кораблѣ всѣ дуютъ шампанское въ ужасающемъ количествѣ. Я давно бы умеръ отъ разрыва сердца, а имъ ничего. Разговариваютъ преимущественно о сѣрыхъ мѣшкахъ, въ которыхъ опускаютъ покойниковъ въ море. Въ заключеніе рѣзвости,—подъ конецъ пьесы, одни съ аппетитомъ помираютъ и зашиваются матросами въ сѣрые мѣшки, а другіе просто такъ, по домашнему, прыгаютъ въ океанъ, гдѣ и поѣдаются акулами.

Изъ дѣйствующихъ лицъ интересенъ Ваня, онъ же «человѣкъ-фаллусъ», который «истлѣлъ» отъ постоянного внутренняго горѣнія къ женщинамъ. Никогда не спитъ и вождѣлѣтъ 24 часа въ сутки. Кажется, я знавалъ этого Ваню, когда онъ еще служилъ лѣшимъ въ «Потонушемъ Колоколѣ» г. Гауптмана? Дурачекъ манкировалъ признаніемъ. Ему бы въ Москву на Таганку: купчихи его въ золото одѣли бы

Во снѣ видѣлъ, будто меня живымъ зашиваютъ въ мѣшокъ, чтобы швырнуть въ пасть акулѣ. Проснувшись въ припадкѣ, плакалъ при мысли, что жена моя, а будущая вдова, непременно воспользуется моей смертью, чтобы выйти замужъ за ванеподобнаго ротмистра Ослопъ-Разразилова. Несчастныя мои сироты!

* * *

Не слишкомъ ли много я развлекаюсь? Мнѣ не под силу Я лучше поработалъ бы немного. Просилъ доктора возвратить мнѣ Гартмана и Шопенгауэра. И слышать не хочетъ!... Нечего дѣлать, веселюсь.

Читалъ рассказъ Н. Олигера. Названія не помню, потому что на предпоследней страницѣ упалъ въ обморокъ. Изображенъ санаторій для чахоточныхъ, въ Ялтѣ. Смертность — по покойнику на страницу. Въ интервалахъ больные ѣдятъ другъ друга поѣдомъ. Всѣ влюблены въ толстую сидѣлку, но она—нуль вниманія, потому что амурился со здоровымъ докторомъ, а больные, отъ зависти и ревности, умираютъ еще пуще. Какая-то чахоточная Женя торопится срывать послѣдніе цвѣты удовольствія и, нарушая режимъ, отдается кому попало.

Любовь, сплетни, кашель, бациллы, мокроты, кровохарканіе, креозотъ, трупы... Марка высокая! Не выдержалъ: закружилась голова, застучало сердце... припадокъ!

Чахотка написана—конфетка! Гораздо занимательнѣе,

чѣмъ у насъ въ Нерви. Здѣшнимъ уже не до любвей: только подъ солнцемъ лежать, да ротъ разѣвають. Это, должно быть, специально въ Ялтѣ чахоточные—такіе ярливые: особо озорная порода, *phtysicus jalticus furiosus impudicus*.

Спать не могъ. Чуть заведу глаза, кошмаръ: чахоточная Жень лѣзетъ цѣловаться, п — креозотищемъ отъ нея... бррр!... И, при томъ—*pardon, mademoiselle*, мнѣ, по болѣзни сердца, запрещено строжайше. Совсѣмъ не желаю умереть, какъ Скобелевъ,—я же и не генераль.

Если бы я былъ генераломъ, меня хоронили бы съ музыкою.

Кремація въ Генуѣ практикуется. Очень хорошо. Пусть меня подвергнуть кремаціи.

* * *

Читалъ «Пропастъ» г. Михаила Арцыбашева. Надѣялся: что-нибудь насчетъ клубнички,—ахъ, какой-то баринъ, галлюцинируя, интервьюируетъ покойниковъ о загробной жизни.

Теперь боюсь оставаться одинъ въ сумерки. Еще притащится какой-нибудь пріятель съ кладбища.

Да... да... «Умереть—уснуть»...

Скверно проснуться въ могилѣ. Запрещаю хоронить меня до разложенія... Ахъ, впрочемъ, я рѣшилъ вчера, чтобы—кремаціей.

Для успокоенія взялъ январскую книжку «Вѣсовъ». Тутъ нельзя ждать ничего волнующаго. Фирма стойкая, направленіе твердое. Картинки, по обыкновенію, слѣдуетъ держать взаперти отъ дѣтей. А то—ну-ка, растолкуй какому нибудь пискалю, почему это «Ложь» г. Теофилактова носить маску аккуратъ на томъ мѣстѣ, гдѣ онъ, пискаль, застегиваетъ свои панталоны.

Прочиталъ «Исторію Венеры и Тангейзера». Превосходно, только не слѣдуетъ знать французскаго языка,

потому что, иначе, фамиліи дѣйствующихъ лицъ заставить покраснѣть даже сутенера.

Все въ обычномъ порядкѣ милой неблагопристойности. и, ужъ конечно, никакихъ этакихъ смертей. Давно бы такъ-то.

Мы отдохнемъ, дядя Валя, мы отдохнемъ!

* * *

«Вѣсы» погубили меня.

Это—чортъ знаетъ, что! Это—предательство! Это—ударъ ножомъ изъ-за угла!

Не подозрѣвая коварства, я началъ читать «Они почувяли».

«Въ оркестрѣ похоронный маршъ. Глухая барабанная дробь. Короткій церковный мотивъ на органѣ. Многократные и глухіе удары въ дверь. Умиравшая старуха подъ балдахиномъ изъ черной саржи. Дѣвушка выражаетъ ужасъ всѣми движеніями»...

Недурно для начала?

Затѣмъ:

— Тукъ, тукъ!

— Кто вы?

— Я человѣкъ съ водою и губкою, чтобы омыть...

— Тукъ, тукъ!

— Кто вы?

— Я человѣкъ съ саваномъ, чтобы одѣть...

— Тукъ, тукъ!

— Кто вы?

— Я человѣкъ съ гробомъ.

По сценѣ ползетъ тѣнь похоронныхъ дрогъ, а за сценою Смерть устраиваетъ дебошъ, чтобы ворваться въ хижину. Въ это самое время—и ко мнѣ въ номеръ:

— Тукъ, тукъ!

— Кто тамъ?!..

— Я человѣкъ съ кофе.

Но онъ нашель меня уже на полу. Я лежалъ, едва живой, и выражалъ ужасъ всѣми движеніями.

А теперъ я въ постели и врядъ ли встану съ нея. Припадокъ за припадкомъ. Докторъ телеграфировалъ роднымъ. Быть можетъ, это—послѣднія мои строки.

О, ты, кому суждено найти ихъ и огласить! Прими вмѣстѣ съ ними предсмертный совѣтъ опытнаго несчастливца:

— Если у тебя порокъ сердца, и тебѣ вредны мрачныя мысли, плюнь въ глаза тому, кто посовѣтуетъ тебѣ промѣнять Гартмана и Шопенгауэра на нѣжную успокоительность изящной русской литературы.

Хашарать! Ханефешъ!! Рахмимъ!!!

* * *

Послѣднія слова дневника мы съ докторомъ приняли было за предсмертный бредъ умерщвленнаго нами горемыки. Но въ послѣдствіи они оказались дословною цитатою изъ пьесы г. Н. Крашенинникова «Проблески Утра», гдѣ тѣ же самыя слова выкликаеть, въ моментъ кончины своей, нѣкто умирающій отъ разрыва сердца, Степановъ. По объясненію г. Крашенинникова, слова эти древне-еврейскія и обозначаютъ—«вѣчность души, милосердіе». Но когда мы провѣрили цитату у одного, капляющаго здѣсь, сѣдобородаго раввина, онъ покачалъ головою и сказалъ:

— Мистификація. Хашарать ханефешъ рахмимъ, по древне-еврейски, значить просто:—Никогда ни читайте фантазій Крашенинникова.

Другъ-Читатель.

Запись стенографическая!

— Позвольте рекомендоваться: Финиковъ.

— Очень радъ... прошу садиться...

— Да ужъ рады ли, не рады ли—ха-ха-ха!—а принимайте соотечественника—ха-ха-ха!..

— Чѣмъ могу служить?

— Да, ничѣмъ, батенька... ха-ха-ха! чего мнѣ?.. Я—такъ.

— То есть?

— Да, просто, узналъ въ отелѣ, что по сосѣдству русскій писатель пребываніе имѣетъ. Навожу справки: кто такой? Вы. Ну, какъ же мимо компатріота проѣхать, не навѣстивъ? Я же, въ нѣкоторомъ родѣ, читатель и поклонникъ... ха-ха-ха!.. Н-да... Какъ же-съ, какъ же-съ, читалъ «Анну Николаевну» вашу... очень одобряю.

— Виновать, но я никогда не писалъ никакой «Анны Николаевны».

— О? Не писали? Ишь ты! Ну... какъ бишь ее тамъ? «Ольгу Федоровну», что ли...

— И «Ольги Федоровны» не писалъ... Вы, можетъ быть, о «Викторіи Павловнѣ» говорите?

— Павловну, такъ Павловну... не одинъ ли чортъ, собственно говоря?.. Не Петръ, такъ Павелъ, не Павелъ, такъ Петръ... Ха-ха-ха! Такъ вотъ вы тутъ все и сидите?

— Такъ вотъ все тутъ и сию.

- И все пишете?
- Пишу помаленьку.
- Ишь!.. А въ Россію-то вамъ, поди, нельзя?
- Нельзя.
- Ха-ха-ха! Сидѣть-то, стало быть, не въ охоту?
- Большой радости въ томъ не вижу.
- А другіе, бываетъ, ничего, сидятъ.
- Кому какъ нравится.
- И все вы одинъ здѣсь, все одинъ? Ха-ха-ха!
- Чему же вы, собственно, такъ радуетесь?
- Да—такъ... Сидитъ одинъ... въ Италіи... Ха-ха-ха!..
- Кругомъ—дыра... Смѣшно! Ха-ха-ха! Совсѣмъ одинъ?
- Нѣтъ, иногда меня навѣщаютъ.
- Литераторы?
- Да, былъ кое-кто и изъ литераторовъ.
- Напримѣръ?
- М-м-м... извините, но не все ли вамъ равно, кто?
- Да—что вы боитесь? Вы, можетъ быть, думаете, что я сыщикъ какой-нибудь? Такъ я вамъ свой паспортъ покажу... хотите?
- Помилуйте, зачѣмъ мнѣ.
- Финиковъ, надворный совѣтникъ и въ душѣ кадетъ. По мѣсту служенія не могу позволить себѣ большого либерализма, но въ душѣ—ха-ха-ха!—кадетъ. А насчетъ того, кто у васъ бываетъ, спрашивалъ не по какому-либо другому интересу, но исключительно—изъ любопытства къ литературѣ... Люблю литературу, чортъ ее задери! И къ литераторамъ большую склонность имѣю... ха-ха-ха! Хорошіе ребята—литераторы. Вѣдь правда?
- Вамъ лучше судить.
- Хорошіе, хорошіе... Жаль,—жиды больше! А люблю...
- Позвольте, вы, кажется, сказали, что вы—кадетъ?
- Кадетъ, батюшка, кадетъ въ душѣ... Ха-ха-ха! А что?

— Да выражаетесь вы какъ-то... не по-кадетски?

— Я? А-а-а! Ха-ха-ха! Это вы насчетъ жидовъ? Ха-ха-ха? Дворянская привычка проклятая, вѣчно обмолвлюсь... ничего не подѣлаешь! бѣлая кость!.. Но вы, того, вы не бойтесь: я—юдофилъ! Я—за равноправіе! Чтобы, значить, черту осѣдлости—къ чорту, политическія права и все такое, прочее остальное... Не безпокойтесь! Это я—такъ... Съ Боборыкинымъ видаетесь?

— Не выдаюсь и не могу видаться, потому что не знакомъ.

— Да ну? Не знакомы съ Боборыкинымъ? Быть не можетъ.

— Однако, не знакомъ.

— Съ Боборыкинымъ весь свѣтъ знакомъ!

— Очевидно, не весь.

— Удивительно... ха-ха-ха!.. А я думалъ, вы о немъ анекдотикъ мнѣ какой-нибудь новенькій расскажете... Жаль!

— Анекдотикъ?

— Ну, да тамъ—Пьеръ Бобо и что-нибудь еще въ такомъ родѣ...

— Послушайте, а вы не находите, что Боборыкинъ уже слишкомъ старый и заслуженный литераторъ, что бы называть его Пьеромъ Бобо и вообще говорить о немъ «въ такомъ родѣ»?

— Помилуйте! Развѣ я со зла? Вы какъ будто недовольны... Кабы я что-нибудь дурное сказалъ! По мнѣ, пушай его. Я—такъ. Ваську давно видѣли.

— Что такое?

— Говорю: Ваську давно видѣли?

— Какого Ваську?

— Понятно, какого. Одинъ у насъ Васька. Другого не выдумали. Про Немировича спрашиваю. Про Данченко.

— Ахъ, это вы Василія Ивановича такъ изволите...

Вы—что же—давно съ нимъ знакомы? близкій пріятель?

— Кой чортъ—пріятель? Совсѣмъ не знакомъ. Одинъ разъ на улицѣ—въ Миланѣ—встрѣтились. Онъ—этакъ, а я—такъ... мимо шелъ. А, можетъ быть,—въ Венеціи. Нѣтъ, позвольте и не въ Венеціи... вѣрно! въ Женевѣ. А можетъ быть, это даже совсѣмъ не Данченко былъ... чортъ его знаетъ! Мнѣ, собственно говоря, одинъ пріятель показаль... То есть—не то, чтобы пріятель, а познакомились у Ландольта, за однимъ столомъ пиво пили... Улыбаетесь?

— Нахожу что для «Васьки» у васъ съ Василиемъ Ивановичемъ знакомства—какъ будто маловато.

— Э! Мы люди простые, ѣдимъ пряники не писанные. Любимъ попросту: у насъ—не временемъ, а человекомъ.

— Василия Ивановича, если ужъ васъ это интересуеть, я видѣлъ мѣсяца два тому назадъ.

— Вреть?

— Кто?

— Да,—что вы, право, все—кто, да кто... словно не понимаете! Вреть, говорю, поди, Немировичъ-то?

— Послушайте. Василий Ивановичъ Немировичъ-Данченко—мой старый другъ. Я его двадцать пять лѣтъ знаю.

— Такъ что же изъ этого слѣдуетъ?

— То, что поддерживать такой разговоръ о немъ я отказываюсь.

— Ну, вотъ и разсердились. Словно я обидное что сказалъ! Ну,—не хотите, такъ и не надо, не буду... Кабы я со зла, а то вѣдь—такъ. Горькій пишетъ?

— Что пишетъ?

— Пишетъ вамъ Горькій, спрашиваю?

— Нѣтъ, давно не писалъ.

— Онъ на Капри?

— На Капри.

- Это тоже въ Италіи?
- Тоже въ Италіи.
- Поди, тамъ тепло?
- Вѣроятно.
- У, кого грудь не въ порядкѣ, хорошо, чтобы тепло. Правда?
- Правда.
- А вотъ въ Давосѣ холодомъ лечить. Посовѣтуйте-ка Горькому въ Давосъ поѣхать.
- Нѣтъ, не посовѣтую.
- Отчего?
- Оттого, что онъ меня къ чорту пошлетъ. Вы, скажете, не врачъ. Зачѣмъ суетесь не въ свое дѣло?
- Ну, вотъ, будто одни врачи совѣтуютъ? Я не врачъ, а совѣтую же. Надо попросту! Въ сапогахъ?
- Кто?
- Горькій-то, говорю,—въ сапогахъ?
- Вѣроятно, не безъ сапогъ.
- Ха-ха-ха-ха! Уморушка!.. Всю вселенную чело-вѣкъ объѣхалъ, а—въ сапогахъ!.. Удивительно!.. А Потапенко все въ рулетку играть?
- Не знаю.
- Какъ же! Систему изобрѣлъ, да плохо: проигрываетъ.
- И откуда вы всѣхъ этихъ подробностей удивительныхъ набираетесь?
- Вотъ! Слава Богу, въ Петербургѣ живемъ, въ трактирѣ «Вѣна» бываемъ... А Дорошевичъ-то женился!
- Давно уже, года два.
- Да --ну?
- Васъ, кажется, это огорчаетъ?
- Нѣтъ, не то... а какъ же это я раньше не зналъ? Я думалъ: послѣдняя новость.
- Увы, опоздали!
- Красавица, говорятъ?

— Да, Ольга Николаевна очень хороша собою.

— А Леонида Андреева вы любите?

— Не знакомъ.

— Ну, что это, право? О комъ ни спросишь, не знакомъ. Вотъ что значить—въ трущобѣ-то жить... Залѣзли въ берлогу и лапу сосете... да! А правду про васъ рассказываютъ, что у васъ долговъ много?

— Вамъ-то что же?

— Интересно.

— Вы развѣ собираетесь долги мои за меня платить?

— Ха-ха-ха! Шутникъ... Дурака нашли! Нѣтъ, я—такъ, вообще... для разговора...

— Пріятная тема.

— Вотъ у Льва Толстого, поди, долговъ нѣтъ?

— О, несомнѣнно.

— А зачѣмъ онъ печаталъ письмо, что никому взаймы не даетъ?

— Откуда же я могу знать? Поѣзжайте въ Ясную Поляну и спросите у Льва Николаевича.

— Ха-ха-ха! Такъ графиня меня къ нему и пустила!.. Вотъ бы всѣмъ писателямъ такихъ женъ имѣть! Да! Уважаю! Чтобы—какъ стражъ... понимаете?

— Понимаю.

— А то—что? Живете вы, двери распахня, лѣзетъ къ вамъ всякій, словно въ свою собственную квартиру... Развѣ не правда?

— Правда.

— Люди вы всѣ занятые, временемъ должны дорожить, а тутъ вдругъ ни съ того, ни съ сего ввалится какой-нибудь дуракъ, разсядется часа на два, да и трубить вамъ въ уши ерунду всякую... Развѣ не бываетъ?

— Еще какъ бываетъ-то.

— Ему, дураку, что? Онъ—праздный. А у васъ, потомъ—цѣлый рабочий день пропалъ. Не такъ ли?

— Золотыя слова. Сама истина глаголетъ вашими устами.

— То-то! Я понимаю. Потому, что я литераторовъ люблю. Жиды, а люблю! Послушайте, а вы, часомъ, не еврей?

— Нѣтъ, не еврей.

— Скажите!.. А я гдѣ-то читаль... въ «Вѣчѣ» или «Русскомъ Знамени» что ли...

— Источники авторитетные.

— Да, вѣдь, что же? Отъ скуки, знаете, и не то прочтешь... Хи-хи-хи!.. Любопытно, какъ писаки другъ друга и въ ухо, и въ рыло, знаете... Слушайте! А декаденты-то у насъ что дѣлаютъ? декаденты-то? Ха-ха-ха!

— А что?

— Помилуйте! Бальмонтъ—революціи лстить, къ рабочимъ въ дружбу напрашивается... Это—послѣ звуковъ-то сладкихъ и молитвъ... Ну, къ лицу ли? Ха-ха-ха! Рабочій тоже... социалистъ!..

— Простите, но я долженъ васъ предупредить, что этотъ періодъ творческаго прозрѣнія я считаю лучшимъ въ поэтической жизни К. Д. Бальмонта. И никому онъ не льстилъ, и ни въ чьи дружбы не напрашивался, а вырвалось у него изъ сердца подспудное яркое, огромное пламя, смѣяться надъ которымъ, по-моему, прямо-таки грѣшно.

— Да? Вы думаете? Ну, конечно, ежели... Я вѣдь и не думалъ худого чего-нибудь противъ вашего Бальмонта... Я—такъ! Я говорю: дураки наша публика-то... Пониманія въ ней никакого... не можетъ она уразумѣть Бальмонта... Гдѣ ей... Да!.. Гигантъ!.. А зачѣмъ Купринъ жеребьячи рассказы пишетъ?

— Должно быть, такъ ему нравится.

— Ха-ха-ха!.. А это правда, что Арцыбашевъ «Санина» съ себя писалъ?

— Я-то почему знаю?

— Можете,—я думаю,—судить?

— Откуда же? Я совершенно не знаю г. Арцыбашева и не думаю, чтобы какой-либо авторъ пожелалъ разсказать свою автобіографію въ такихъ неприглядныхъ краскахъ, какъ написанъ «Санинъ».

— Господа романисты всегда сами съ себя пишутъ. Если бы я былъ романистомъ, все бы съ себя самого писалъ... Слушайте! А что же это мнѣ про васъ разсказывали, будто вы выпить не дуракъ? а?

— Могу во благовременіи... да вамъ-то что?

— Между тѣмъ—сколько времени я у васъ сижу и вижу: вонъ у васъ на окнѣ бутылка стоитъ,—а вы меня виномъ не угощаете?

— Если угодно,—сдѣлайте одолженіе.

— А сами?

— Пью только за столомъ.

— Н-да... Ну, ваше здоровье... Дай вамъ Богъ—опять въ Сибирь... Ха-ха-ха! Это я шучу.

— И преоригинально шутите.

— Ха-ха-ха! Знаете, какъ охотникамъ желаютъ, чтобы «ни пера, ни шерсти»... А если пожелать счастливой охоты, то никакой удачи не будетъ. Вино, у васъ, между прочимъ и къ слову сказать, дрянъ... кислое!..

— Итальянскія столовые вина всегда кисловаты.

— Да? А я уже думалъ, что у васъ нѣтъ денегъ лучшее вино держать... Вѣдь, теперь вашему брату за границею-то зубы на полку класть приходится... Что вы на меня уставились? Развѣ я... что-нибудь?.. помилуйте! я—ничего, я—такъ... Отъ Володи Тихонова давно извѣстій не имѣли?

— А онъ вамъ какъ «Володею» приходится? Въ такомъ же родствѣ, какъ «Васька» Немировичъ?

— Нѣтъ, я, собственно говоря, такъ... Лично его не знаю, но всѣ зовутъ... почему же мнѣ нельзя? Я—ничего, я—такъ...

— Я вамъ рекомендую съ его братомъ, Луговымъ, увидаться и, для перваго знакомства, его «Алешею» называть...

— А что?

— Да, интересно было бы знать, что изъ этого выйдет. Вы мнѣ потомъ напишите.

— Ха-ха-ха... Съ зубами, должно быть, дяденька-то? Напишу, напишу... А передъ отъѣздомъ за границу видѣлъ я—тоже показали на улицѣ—Щепкину-Куперникъ.

— И что же?

— Ничего. Какая она ростомъ-то маленькая! Отчего?

— Ну, на этотъ вопросъ, я думаю, Татьяна Львовна и сама затруднилась бы вамъ отвѣтить.

— Да, вотъ, подите, какъ странно. Одни рождаются большого роста, а другіе маленького. И ничего противъ не подѣлаешь.

— Рѣшительнаго ничего.

— Вона какъ васъ-то вытянуло... Еще бы полвершка, на ярмаркахъ показывать можно... Ха-ха-ха! А кто толще—вы или Максимъ Ковалевскій?

— Не мѣрялся.

— Экій вы какой! Что бы въ Парижѣ взвѣситься-то? Поди, любопытно... Ну, а что же, попъ Петровъ переходитъ въ старообрядчество или нѣтъ?

— Могу, если васъ интересуеть, запросить его по телеграфу.

— Нѣтъ, что деньги тратить. Я—такъ. А вы бы, на его мѣстѣ, перешли?

— Нѣтъ, не перешелъ бы.

— Отчего?

— Оттого, что вѣроисповѣдный вопросъ для меня давно уже не существуетъ. Кому неоткуда переходить, тому и некуда переходить.

— Стало быть, вы противъ перехода?

— Нѣтъ, не противъ.

— Какъ же это—и не перешли бы, и не противъ?

— Такъ, что я—не священникъ. Психологія священника, который видитъ необходимость уйти въ другую церковь, такое сложное и субъективное дѣло, о которомъ съ вѣтру судить нельзя.

— А вонъ Михаилъ перешель.

— Да, перешель.

— Поди, старообрядцы-то теперь его золотомъ обвѣщаютъ?... «Въ горахъ»... «Въ лѣсахъ»...

— Какіе же горы и лѣса, когда его прочать въ петербургскую епископію?

— Да, вѣдь, это я—такъ!

— Удивительныя, г. Финиковъ, эти два словечка у васъ.

— Какія два словечка?

— А вотъ: «Я—такъ».

— Ха-ха-ха! Вы замѣтили? Поговорка у меня. Да. Да это—ничего! Я—такъ.

— Трудно не замѣтить. Превыразительная поговорка ваша. Вы ее разъ двадцать уже повторили сегодня и всегда—удивительно, какъ кстати. Пустите подъ человѣка... струйку этакую—а, какъ одернешь васъ, вы—сейчасъ же: да, вѣдь я—ничего, я—такъ...

— Ха-ха-ха! Ужъ вы больно придирчивы что-то! Что же я про кого сказалъ? Никому ничего непріятнаго... Просто—такъ. Не понимаю, за что вы на меня вскинулись. А еще говорятъ, будто у васъ мягкій характеръ...

— Ужъ не знаю, какой у меня характеръ, но...

— Да, самый непріятный характеръ. Сразу видно. Сижу я у васъ уже битый часъ, а никакой отъ васъ любезности не вижу. А, кажется, могли бы уважить компатріота. Изъ-за любви къ литературѣ я, можетъ быть, крѣкъ сдѣлалъ, а вы ко мнѣ—медвѣдь медвѣдемъ... Нехорошо... Вотъ, поразскажу въ отечествѣ-то, какъ вы къ своимъ относитесь... пускай васъ коллеги почешутъ!

будеть нехорошо! Вы отчего не въ духѣ-то сегодня? Работали, что ли, а кто-нибудь помѣшалъ?

— Кто-нибудь?!

— Не я, надѣюсь?

— Почему же, однако, вы надѣетесь? Именно вы.

— Такъ я же къ вамъ не надолго. Посижу еще часочка полтора до поѣзда—и уйду. Я знаю, что мѣшать человѣку въ работѣ—неделикатно. Я самъ, ежели мнѣ въ работѣ помѣшаютъ... у-у-у! волкомъ рычу... Ай-ай-ай! Однако—нѣтъ, скажите, пожалуйста, кто же это сочинилъ, что у васъ характеръ мягкій? Долго ли мы съ вами говоримъ, а вы на меня уже три раза окрысились. Да-да-да. Такъ вы говорите: Горькій на Капри? А я читалъ въ газетахъ, будто въ Римѣ?

— Можетъ быть, и въ Римѣ.

— Надо къ нему проѣхать.

— Вотъ какъ?

— Скучаетъ, поди, безъ соотечественниковъ-то? Развлеку... познакомимся... поговоримъ...

— О, конечно, Горькій вамъ очень радъ будетъ. Но—позволите дать вамъ одинъ совѣтъ?

— Ловлю слова ваши.

— Когда вы будете говорить съ Горькимъ, постарайтесь, чтобы свиданіе ваше происходило не выше перваго этажа.

— Ха-ха-ха! А если онъ во второмъ живетъ?

— Постелите предварительно подъ окнами солому, что ли, или еще что-нибудь мягкое.

— Вы думаете?...

— Да, знаете, оно вѣрно.

— Гм!.. Вино у васъ, чертъ его побери, кислое, адопить его, все-таки, надо... Брр! фу, дрянь какая!.. До поѣзда еще уйма времени... вы меня на вокзалъ не проводите?

— Извините, не могу.

— Нечего сказать! любезный хозяинъ! Чего тамъ? Проводили бы компатріота! Успѣете еще строчить-то...

Брр! и гдѣ вы только такую кислятину покупаете? А еще говорятъ, человѣкъ пить умѣетъ!.. Брр... А знаете... все-таки... не найдется-ли у васъ еще бутылочки, чтобы до поѣзда провести время?

— Хоть двѣ, но—съ условіемъ.

— Повелѣвайте.

— Что вы возьмете ихъ съ собою и выпьете гдѣ-нибудь на травкѣ...

— Ха-ха-ха! Экой вы какой!

— А мнѣ ужъ позвольте заняться своими дѣлами...

— Да ладно, ладно... нечего съ вами дѣлать... скучный вы, батенька!.. ухожу. Давно бы сказали, что мѣшаю... Я человѣкъ деликатный, мѣшать никому не люблю, самъ ненавижу, когда мѣшаютъ. Ну, прощайте. А что лишняго сказалъ, на томъ не взыщите. Кабы со зла, а то я—такъ. Знаете, просто—любя литературу...

Ушелъ. Но, нѣсколько минутъ спустя, опять оретъ нодъ окнами, зоветъ.

— Александръ Валентиновичъ! Александръ Валентиновичъ!

— Что угодно?

— Совсѣмъ забылъ: нарочно съ поддороги вернулся... Уфъ!.. Горькому-то отъ васъ кланяться?

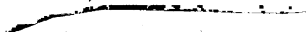
Я поглядѣлъ на г. Финикова съ нескрываемымъ ужасомъ и возопилъ.

— Нѣтъ!

— Но почему же нѣтъ? Развѣ вы въ дурныхъ отношеніяхъ?

— Нѣтъ, боюсь хорошія испортить. Чтобы Горькій думалъ, что это я васъ къ нему послалъ?! Ни за что! Нѣтъ!

— Ну-ну... смѣтется все... Развѣ я—что-нибудь дурное о комъ-нибудь? Я—ничего, я—такъ... просто, любя литературу...





STANFORD UNIVERSITY



3 6105 00025 8629

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

F/S JUN 30 1996

OCT 1 1995

